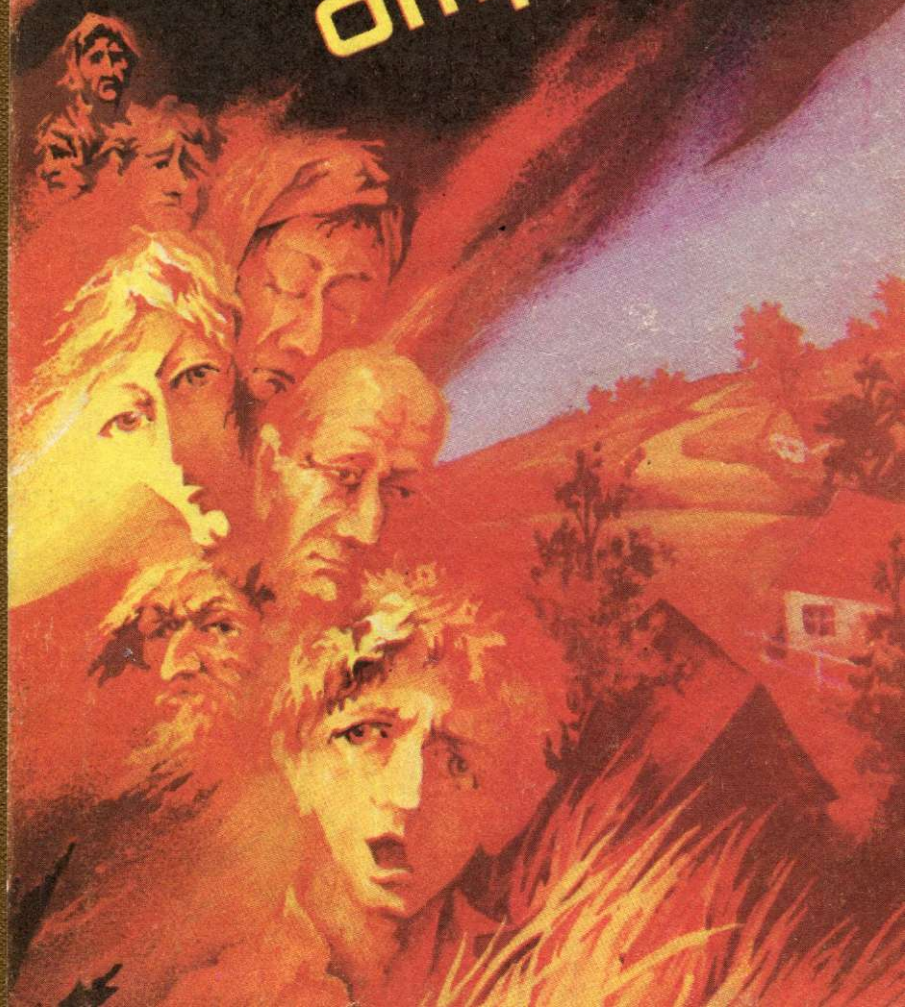


БЧР 7(2P55)-444

Ш 78

РОМАН ШОЙХЕТ

Час печали и час отрады





✓

Биробиджанская областная
научная библиотека
им. Шолом-Алейхема
СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ Л. ТЕРАТУРЫ

ХАБАРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

~~146429~~ 10609

Рецензент *Н. Д. Наволочкин*
Художник *С. А. Чешкин*

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	3
Часть вторая	205

Роман Самуилович Шойхет

ЧАС ПЕЧАЛИ И ЧАС ОТРАДЫ

Роман

Редактор И. В. Жолондзь. Художественный редактор А. Н. Посохов. Технический редактор Т. В. Короткова. Корректоры Л. Я. Денисова, Т. В. Киевская. ИБ 1352. Сдано в набор 11.09.85. Подписано к печати 27.11.85. ВЛ 14700. Формат 84x108/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать высокая. 15,96 усл. печ. л. 17,22 уч.-изд. л. 16,80 усл. кр.-огт. Тираж 15 000 экз. Заказ 3276. Цена 1 р. 20 к. Хабаровское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Краевая типография № 1 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Шойхет Р. С.

Ш 78 Час печали и час отрады. Роман. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. — 304 с.

Автор рассказывает о тяжелых испытаниях, выпавших в суровую пору Великой Отечественной войны на жителей одного из находившихся на территории Украины еврейских поселений.

Ш 4702010200—3 30—86
М160(03)

84.3 Р7

© Хабаровское книжное издательство, 1986

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Илья проснулся мгновенно, будто от толчка. Он поднялся, прошел к окошку, поверх шторки глянул во двор. Занимался рассвет. Из пепельной глубины неба помаргивали бледные звезды. На коньке железной крыши нового, недавно построенного сельмага прикорнул усталый месяц. С улицы в открытую форточку ворвалось сиповатое — слишком раннее — кукареканье петуха. Сладко, до хруста в суставах потягиваясь, Илья подошел к постели младшего брата, тронул его за плечо:

— Данька, а Дань, вставай!

Ожидая, пока тот проснется, Илья достал с этажерки у изголовья кровати пачку «Беломорканала», закурил.

На миг открыв глаза, Данька что-то промычал и, повернувшись на другой бок, тут же вновь уснул.

— Э-э, дружок, так не пойдет! — засмеялся Илья и, подойдя к брату, приподнял его за плечи, крепко встряхнул.

Раскачиваясь, глядя на Илью невидящими глазами, Данька все пытался сообразить, зачем брат разбудил его. Но вдруг, видимо, вспомнив уговор, он резко поднялся, сгреб с табуретки рубашку и штаны и стал торопливо одеваться.

— Мы не опоздали? Какой час? — обеспокоенно спросил он.

— Еще только пятый... Успеется, — струйкой пуская дым в форточку, ответил Илья и усмешливо покачал головой: — Ну и здоров же ты дрыхать. Так можно все на свете проспать.

— Тебе хорошо говорить. В армии привык вставать рано, в одно и то же время. А меня-то этому никто не учил!

— Нашел чему завидовать. Не переживай, это удовольствие от тебя не уйдет. Ну что, готов? Тогда пошли!

Прихватив сумку с едой и остроги, откованные из обычных вил-тройчаток, они осторожно, чтобы никого не разбудить в доме, вышли на улицу и пошагали вниз, к плавням. Оттуда тянуло прохладой, сыростью, и Данька со сна долго еще поеживался.

В то лето шли обильные дожди, и тихий Ингул вышел из берегов. Эта степная речка, вырвавшись теперь на простор, поглотила обширные плавни и уже подбиралась к огородам нижней улицы колонии*. Вслед за водой пошла пастись на затопленные луга и рыба.

Спустившись с бугра, братья остановились. За ночь вода еще прибыла, она затопила весь сенокос и в редющей темени рассвета уже хлюпала у долбленных корыт для скота, врытых у колодца с журавлем. Местами, там, где угадывались скирды сена да заросли куги и камыша, роились белесые космы тумана.

Бродить с острогой было еще рано и, отыскав плоский, как жернов, валун, Илья присел.

— Да-а, зря мы поторопились. Вода еще такая темная, что в ней вряд ли что разглядишь. Но ничего, пождем, верно?

Данька не ответил. Привалился к теплему боку брата, он лишь посапывал. Его снова клонило в сон.

Между тем занимался новый день. На восходе, за косо стесанной макушкой кургана, называемого в колонии Ногайской могилой, все ярче алел небосклон. В холодной вышине угасали последние звезды и все больше тончала луна. Вскоре из-за кургана всплыл красный диск солнца. Прошло еще какое-то время, и его лучи, вызолотив метелки камыша в плавнях, скользнули по чугунной зыби воды и затем — по зелени огородов — зашепили вверх по косогору.

Начала просыпаться и колония. То в одном ее конце, то в другом петухи залиристо горланили побудку. Лай собак мешался с гогом гусей, видно, торопившихся на попас. Уже тонко поскрипывали колодезные журавли и трубно мычали коровы. В плавни долетали и гульки щелчки пастушьего арапника, и перекликающиеся бойкие голоса женщин.

Илье надоело сидеть.

— Ну что, может, побродим? — предложил он.

— Давай... Только начнем с Маньжуровой балки.

— Почему оттуда?

— Пацаны говорили, что в нее зашла рыба.

* Колония — поселение, село.

— Давай начнем с балки...

Братья подошли к широкому оврагу, стекавшему в плавни. Здесь когда-то по-над самым яром стоял дом участника войны с японцами Матвея Матуса, по прозвищу Маньчжур. Оттого и балку так называли. Илья снял туфли, закатал штаны выше колен и, чуть на отлете держа острогу, шагнул в воду. Он постоял секунду-другую, привыкая к холоду, и, стараясь не хлюпать, побрел вдоль берега. Вслед за ним двинулся Данька. Подсвеченная низким солнцем, вода огнисто поблескивала, в глубине ее все еще трудно было что-либо разглядеть, и братья, побродив с полчаса, вернулись к валу. Отжимая вымокшие штанины, Данька недовольно бубнил:

— Приперлись тоже! Смело можно было поспать еще с часок!

Закурив, Илья, посмеиваясь, подбадривал брата:

— Ничего, вот солнце подымется повыше, согреешься, и опять побродим. И обязательно что-нибудь да поймем...

Он вдруг умолк, настороженно вслушиваясь.

— Ты что притих? — Данька взглянул на брата.

— Не пойму: то ли мне почудилось, то ли на самом деле где-то гудит.

— Наверное, показалось.

Но Илье не показалось. До плавней действительно стал доноситься какой-то гул. Вначале он был еле различимый. Но, накатываясь с противоположного берега реки, рокот все нарастал, крепчал и вскоре уже заполнил собою все окрест. От него, как от порыва ветра, зашуршал камыш, заколыхался бурьян на берегу, мелко зарыбила вода. И тут Данька вдруг увидел самолеты. Распахивая заголубевшее небо, они целой армадой наплывали на колонию с моря, со стороны Одессы. Никогда в жизни Данька не видел столько самолетов сразу — даже в День Воздушного Флота два года тому назад, когда ему с отцом довелось побывать на одесском аэродроме. Возбужденно подняв лицо, он громко считал:

— Один, два... пять... двенадцать... шестнадцать... двадцать четыре... Ого! Илья, двадцать четыре! Здорово, а? Откуда они тут взялись?

— Не знаю... Возможно, что с каких-то маневров...

Илья тоже неотрывно смотрел на самолеты. Они летели не очень высоко и забирали все влево и влево, утя-

гивая за собою слитный, заунывный гул. В противоположность Данькиному восторгу, Илья стал ощущать какую-то тревогу. Он уже больше года служил на западной границе, за это время его рота дважды участвовала в окружных учениях, но и тогда ему тоже не доводилось видеть одновременно такое число самолетов.

А тем временем солнце поднялось над курганом, стало припекать спины; туман совсем рассеялся, и братья несколько раз прошлись вдоль кромки воды. А рыба все не попадалась. Посидев, решили пройтись последний раз и — домой. Теперь впереди шел Данька. Илья — следом. Острогу он тоже держал на отлете, но по его отсутствующему взгляду можно было судить о том, что он вряд ли думает в эти минуты о рыбалке. Его не оставляло смутное беспокойство...

Между тем Даньке повезло. Шага за два не доходя до затопленного куста краснотала, он вдруг замер, пристально вглядываясь в воду. Затем, гибко изогнувшись и медленно отведя назад руку с крепко зажатой острогой, он резко метнул ее вперед, метра на полтора от себя. Сверкнув зубьями, острога стремительно вошла в воду. Илья кинулся к брату. Но Данька справился сам. Зажав черенок остроги, он с силой прижимал ее ко дну. Потом, напрягшись, слегка приподнял острогу и хорошо рассчитанным толчком выбросил в траву здорового сазана.

— Ну как? — выскочив из воды, повернул он к Илье счастливое лицо.

— Во, на ять! — поднял тот большой палец.

Выйдя на берег, Илья нагнулся было над крутолобым, отливающим червонным золотом трепыхающимся сазаном, но в этот миг со стороны колонии раздался звон колокола. Илья выпрямился, замер. По смуглым щекам его разлилась бледнота. А звон все наплывал, давил медной тяжестью, обволакивал, проникал во все поры тела, жал на виски и сердце. Казалось, от него некуда деться. Внезапно звон стих, и братья, понемногу приходя в себя от сковывавшего их оцепенения, переглянулись. Оба знали: звонит колокол — жди беду.

В колокол, с давних пор висевший за оградой ветхой Белой синагоги, звонили редко. Случалось это при пожаре или другом бедствии. Бывало, что он молчал годами, во время покрываясь черновато-зеленым налетом. В последний раз в колокол ударили лет двадцать назад, когда одна из разгромленных красноармейцами

банд Махно, мимоходом пограбив богатых немецких колонистов из близлежащего хутора Карлсдорфа, бессарабским шляхом уносила ноги в Румынию.

И вот он снова взбудоражил всю округу.

— Сазана возьмем? — спросил Данька брата, задумчиво сосавшего папиросу.

— Что? — как бы очнувшись, переспросил Илья. — Сазана? Ну конечно! Не пропадать же ему. Дай мне острогу, а его насади на кукан и неси.

Выломав хворостину, Данька продел ее сквозь блекнувшие, слабо подымающиеся жабы сазана, взвалил рыбину на спину, и братья заторопились домой.

В переулках — тишина. Пустынно было и в средней улице, куда они свернули. У палисадников не видно стариков, обычно гревшихся ближе к полудню на солнышке.

— Странно, куда все подевались? — с трудом поспевая за широко шагавшим братом, с запинкой проговорил Данька.

Илья промолчал, лишь ускорил шаг. Только выйдя на свою, центральную улицу, они увидели у сельсовета большую толпу. Казалось, там сейчас вся колония.

Подойдя к собравшимся, Илья легонько тронул локоть стоявшего с краю пожилого мужчины.

— Что такое? Дядя Шая, что случилось?

— Ша, дай послушать! — досадливо отмахнулся тот, но, повернувшись и увидев Илью, он глазами показал на распахнутое окно сельсовета, где на подоконнике стоял единственный на все село радиоприемник. — Ты оглох или что? Или спишь до обеда? Слухай, то Молотов говорит. Война, брат...

2

Если летом подойти к Трехкутной со стороны железнодорожной ветки, проложенной в балластный карьер, и подняться на курган, называемый Казачьей могилой, то с лысой верхушки его видны все улицы колонии, километра на четыре разметавшейся по южному склону косогора.

Трехкутная — большое село. Без малого пять сотен ее домов, сложенных из бледно-розового и желтоватого ракушечника, добываемого тоже неподалеку, в другом карьере за косогором, укрываются в густой тени садов и левад. Крыши домов — сплошной разлив красной и

темновато-желтой черепицы. Но есть и крытые оцинкованным железом и камышом. Под солнечными лучами слепят глаз и гофрированные крыши новых построек: зданий МТС и электростанции. На широких улицах колонии, поросших муравой, подорожником и пахучей ромашкой, в жаркий полдень ни души. Все живое прячется в холодок. Высунув языки, сапно дышат собаки в тени. Раскрылатясь под крылечками или у заборов, жадно хватают знойный воздух куры. Мирно и покойно живет колония.

Трехкутной много лет. Теперь никто уже не помнит, кем и когда на этом косогоре была поставлена первая хата. Одни колонисты горячо уверяли, что первыми, еще во времена князя Потемкина, тут поселились несколько отставных екатерининских солдат. Другие не менее эмоционально доказывали, будто село берет свое начало от землянок трех кантонистов, после царской службы вернувшихся к вере Моисея и к земле. Отсюда, мол, и название — Три кута. Самый старый житель села дед Мойша Рабинский, поглаживая позеленевшую от ветхости бороду, говорил, что уже в те времена, когда его отец был еще ребенком, на том месте, где теперь колония, была уже целая улица. А деду Рабинскому как-никак пошел сто четвертый год. Это подтверждала запись в книге местного раввина, после революции хранившейся в сельсовете.

Да, Трехкутной действительно много лет. Говорили, что ее начало относится к концу восемнадцатого века, когда, после освобождения Таврии от турок, русское государство, вышедшее к берегам Черного моря, вплотную занялось освоением и охраной бескрайних, дотоле почти пустовавших степей.

Неограниченным хозяином новых земель был в то время фаворит императрицы Екатерины Второй князь Потемкин-Таврический. Будучи дальновидным и деятельным политиком, князь принялся рьяно заселять этот край. Он насильно пригнал в причерноморские степи десятки тысяч казенных крестьян из глубинных районов России, Малороссии, Белоруссии и заставил их селиться на пустынных, гиблых местах. Наряду с убогими деревеньками этих бедолаг на огромной территории от реки Кальмиус на востоке и до Днестра на западе стали повсеместно появляться поселения не менее обездоленных болгар, армян, крымских греков, гагаузов и молдаван. Несколько позже, в самом начале девятнадцатого сто-

летия, не без старания очередного правителя Новороссии генерал-губернатора Ришелье Дю Плесси в южных степях появились новые переселенцы — немцы и евреи. Последние, выходцы из белорусских местечек, основали в Таврии первые десять колоний. Одной из них и была Трехкутная.

Дудинские — коренные колонисты. Дом младшего из братьев, Наума, стоит в самом центре Трехкутной. Слегка подсиненные стены его едва проглядывают сквозь зеленую гущу вишен, яблонь, груш и абрикосов. Даже с фасада хату закрывают акации и кусты сирени между ними, вымахавшие под самую стреху. В конце обширного, поросшего реденькою травой двора, слева от каменного погреба, — добротная клуня, сарай, а за ними освещенная, крытая прокопченной черепицей кузница. Подворье Наума Дудинского по-хозяйски обжитое, крепкое, во всем чувствуется давний достаток. А все от кузницы. Это она приносила в дом прибыль в урожайные годы и спасала хозяев от голодной смерти в недород. Дудинские очень ценили свое ремесло и бережно передавали его от отца к сыну.

Наученный отцом, Наум Дудинский сизмальства стучал молотком о наковальню, сначала чиня и перековывая нехитрый инвентарь колонистов и окрестных сельчан, а после — ремонтируя уже сельскохозяйственные колхоза, организованного в Трехкутной. Он знал свое дело, любил его, к тому же был безотказным человеком. Люди не упомнят случая, чтобы кузница была закрыта по его прихоти. С утра и до позднего вечера ее дверь, почерневшая от копоти и времени, была распахнута: есть нужда — приходи и чини свой букер или лобогрейку, подковывай коня. Только в один из дней конца июня сорок первого года Наум Дудинский закрыл кузницу, воткнув в пробой на ее двери ржавый шкворень. В тот день он вынужден был прервать работу, потому что уходил на войну.

Перед полуднем, прямо в кузнице получив повестку, Наум, не вполне еще осознавая всей тяжести беды, свалившейся на него и его семью, встал на пороге и как-то отрешенно взглядывал то на эту бумажку, непривычно белевшую в его большой бугристой ладони, то на удалявшуюся фигуру колченогого сельсоветского рассыльного Лёвы Шустера, принесшего ее.

Остывая, у колоды с наковальней сизо темнела как-то сразу ставшая ненужной лапка парового культиватора, которую он до этого оттягивал. В горне, схватываясь золой, начал затухать уголь, а Наум все стоял, тупо глядя в одну точку. Раздумья его, понемногу сливавшиеся с понятием «война», невольно потянулись к другим лихим временам, к другой войне. Воспоминания эти были словно лоскутное рядно, в котором темные тона преобладали над светлыми. Но так уж устроен человек, что все плохое в своей жизни он старается предать забвению, в то время как хорошее, пусть его было и мало, бережно хранит в памяти...

Когда-то, а точнее, так три долгих года, начиная с осени пятнадцатого, Науму пришлось испытать австрийский плен. Австрия очень красивая страна. Она — как одобренный специями пуш, подаваемый к рождественскому столу тирольцев. Но это он увидел и узнал позже, а сначала Науму, как и тысячам других военнопленных, в муках прокладывавшим железнодорожный тоннель у города Клагенфурта, было не до прелестей природы. Их кормили ржавой селедкой, почти не давали хлеба, и Наума свалила жесточайшая дизентерия. Его отправили в госпиталь, и тут неожиданно над ним сжался какой-то раввин в чине поручика австро-венгерской армии, накануне еврейской пасхи посетивший больных соплеменников. Уехав, он, вероятно, где-то похода тайствовал, предпринял какие-то меры, и вскорости Наум уже работал подручным у клагенфуртского кузнеца Йозефа Шварцкастена.

Работа в кузнице была хоть и изнурительной, но привычной. Йозеф Шварцкастен, пользуясь представившейся возможностью, выжимал из своего кригсфагена все соки.

— Ты, — бывало, говорил Науму этот старый сквалыга, — теперь ешь каждый день. А хлеб надо отрабатывать.

И Наум отрабатывал этот горький хлеб до седьмого пота. Но и в том, казалось бы, беспросветном существовании у него появилась светлая отдушина. Ею стала вдовья дочь кузнеца Сабина, крупная, совсем еще молодая женщина, с сильными руками и круглым улыбчивым лицом, с которого летом и зимой не сходил крепкий загар. Пренебрегая всеми бюргерскими условностями и предрассудками, Сабина пригнала симпатичного работающего парня. И кто знает, как сложилась бы дальней-

шая судьба Наума, не произойди событие, порушившее все устои лоскутной цезальпийской империи.

В один из воскресных дней — было это уже глубокой осенью — Сабина и получивший передышку Наум втайне от старого Шварцкастена отправились в горы. День был серый, слякотный, почти не переставая сыпал мелкий холодный дождь. Но Науму было легко и радостно даже в эту мерзкую погоду. Сразу за городом он положил руку Сабине на плечо, она обняла его за талию, и так, чувствуя близость друг друга, они медленно поднимались вверх по горной дороге. Навстречу им изредка попадались тяжелые, кованые крестьянские фуры, но влюбленная парочка не вызывала праздного любопытства занятых своими заботами местных жителей. Когда дождь переставал сеять и ненадолго показывалось скупо греющее солнце, взору открывалась почти вся дорога, петлявшая по крутому горному склону, и далекие заснеженные вершины Альп. Тогда становились видны и расположенные террасами пустующие виноградники, и полосы пашен в обрамлении низкой, уже по-зимнему бурой травы.

Почти весь день Наум и Сабина провели в заброшенной пастушьей хижине на опушке смешанного буково-соснового леса, подступавшего к самой долине. Эта долина скорее напоминала широкое ущелье, на дне которого протекала речка. Время от времени на хижину накатывался холодный ветер, и гул раскачиваемых им деревьев заглушал шум речушки, скакавшей внизу по острым скользким камням, поцелуи да жаркий шепот влюбленных.

Под вечер, когда они уже собрались в обратный путь, на узкой тропинке, ведущей к хижине, внезапно показался бегущий Бруно, младший брат Сабины. Видно, он знал, где искать сестру. Ноги парнишки разбегались по раскисшей земле, он мог упасть в любую минуту и больно ушибиться о камни, тут и там выступавшие из-под скудной почвы, но Бруно так спешил, что ничего не замечал. Казалось, будто он не бежит, а летит. Когда парнишка приблизился, Наум и Сабина по блестящим глазам его на покрасневшемся круглом, как у сестры, лице поняли, что он чем-то очень сильно возбужден.

— Сабина, Наум! — крикнул он. — Вы тут сидите и ничего не знаете! Пойдемте быстрее домой! Что на улицах творится!..

— Что, что творится? — в один голос воскликнули Сабина и Наум.

— Толпы народа!.. Шумят, поют, обнимаются... Говорят, императора скинули!..

— Правда? Ты не обманываешь? — схватив за плечи подростка, спросил Наум.

— Правда, правда! В городе сейчас народу больше, чем в карнавал!

Какую-то минуту Наум стоял растерянный, огушенный известием. Мысль о том, что плен теперь побоку и он будет свободен, будто хмелем ударила в голову. Подхватив Бруно под мышки, он приподнял его и от избытка чувств весело с ним закружился. Но когда он выпустил парнишку и обернулся к Сабине, возбужденность его стала быстро угасать. Она стояла, прислонясь спиной к исхлестанной дождем мокрой стене хижины, большие руки ее бессильно опустились, лицо побледнело. Нетрудно было догадаться, что расстроило молодую женщину. Глядя на нее, Наум в эти мгновения чувствовал себя так, словно бы в чем-то обокрал ее или смертельно обидел. Но что он мог поделать, если всего его переполнила радость. Он обнял Сабину и, заглядывая ей в глаза, ласково, тихо спросил:

— Дорогая, разве ты этому не рада?

— Рада, — тускло ответила она и, отворачивая лицо, избегая его взгляда, беззвучно заплакала.

Слезы катились по ее тугим щекам, полные крепкие плечи мелко вздрагивали. Но Сабина умела брать себя в руки. Вскоре она успокоилась и, совсем не смущаясь братишки, сказала каким-то уставшим, бесцветным голосом:

— Поцелуй меня крепко-крепко. И обними... Обними, потому что таких дней у нас уже не будет...

— Что ты выдумываешь? Почему не будет? Наоборот, теперь я свободен!

С вымученной улыбкой глядя на его худое смуглое лицо, Сабина промолвила:

— Вот поэтому-то и не будет. Потому, что ты уже не мой. Я чувствую, я знаю, что теперь ты уедешь к себе домой, в Россию...

— Вероятно. Но я об этом еще даже и не думал.

— Об этом не думают. Этим живут.

Она осторожно приблизила к нему мокрое от слез и дождя лицо, подставила для поцелуя обмякшие холодные губы...

...Отключившись наконец от воспоминаний, Наум снял прожженный во многих местах кожаный, еще дедовский, фартук, кинул его на верстак и вышел из кузницы. На миг он зажмурился от яркого солнца и, словно бы от непосильного груза сутуля спину, побрел к дому. Когда он проходил мимо погребов, то запнулся о ржавый кусок железа, выглядывавший из-под осевшей кучки давно перепревшего и высохшего навоза. Наум нагнулся и, чуть поднатужась, выволок из спрессованной трухи покрытый ржавчиной букер. Наморщив лоб, он силился определить, чей это плужок и как мог оказаться под навозом. Однако мысли его были в таком хаотичном состоянии, что он ничего не мог припомнить. Досадливо сплюнув, Наум понес букер в кузницу, молотком частично сбил с него ржавчину и, срезав болты, снял изъеденный коррозией лемех. Машинально сунув лемех в горн, он уже взялся было за свисающую с меха проволочную петлю, но, вспомнив про повестку, махнул рукой, вышел из кузницы и закрыл за собою дверь.

На крыльце дома Наум столкнулся со своей женой Лией, вышедшей во двор с тазом выстиранного белья. Он подумал жалостливо: «До чего же она у меня слабенькая. И как же она тут будет одна?»

Лия на самом деле была худенькой, даже хрупкой. Мужу она едва доставала до плеча.

Увидев зажатую в руке Наума бумагу, Лия спросила:

— Что это такое?

— А-а, повестка, — как можно спокойнее ответил Наум.

— Повестка? Уже? — внутренне вся холодея, только и выговорила она.

— Да, повестка... А что поделаешь? — словно извиняясь, тихо, раздумчиво произнес Наум и поспешил уйти в дом.

Заслышав скрип половиц под тяжелыми шагами отца, в сени выскочила Люська, длинноногая угловатая девочка лет десяти. Обхватив Наума, она прижалась к нему белокурой головой.

— Ну, ну... Что ты как маленькая, — рассеянно поглаживая мягкие волосы своей любимицы, с ласковой суровостью приговаривал Наум. — Лучше бы побегала, погуляла...

— Не хочу, — еще крепче прижимаясь к отцу, Люська прошла с ним на кухню.

Наспех развешав белье, со двора вернулась Лия.

— Люська, — прикрикнула она на дочь. — Чем досаждаешь отцу, протерла бы пол.

— Оставь ее, — сказал Наум жене и, улыбнувшись дочери, попросил: — Не хочешь гулять, тогда сбегай, позови дядю Мотю. Пусть приходит вместе с тетей Ривой. Да и Даньку найди. Слышишь? Ну, беги.

Наум ласково шлепнул дочку и, когда она юркнула в дверь, присел к столу, за руку привлек Лию, посадил рядом и глубоко задумался.

3

На широкой площади колонии колготно и шумно, как в дни многолюдных осенних ярмарок. Давя колесами землю, кое-где поросшую чахлым подорожником и муравой, передок к передку тесно стоят до двух десятков бричек, тарантасов и колымаг. На телегах навалены мешки, рундучки, самодельные фанерные чемоданы. Катают жвачку разналыганные быки, распряженные и повернутые к телегам кони роются в сене, хрустко жуют насыпанный в торбы овес. Между телегами толкуются трехкутновцы. Их много уже собралось на площади, а из переулков и улиц подходят все новые группы людей. Тут и мужья с женами, и старики-родители, и детишки. В то тихое солнечное утро там не видно было одиночек. Каждого уходящего на фронт кто-то да провожал, и, пожалуй, не было семьи колонистов, из которой в тот день не отправлялись бы на войну. Между телегами, задевая и толкая взрослых, шныряют мальчишки. Беспечные шалуны, им еще невдомек суть происходящего. Пока рядом мать, отец, родственники и просто односельчане, можно было и порезвиться, поиграть в свою, мальчишечью войну.

Да, в то июньское утро трехкутновская площадь выглядела пестро, красочно, взбудораженно. Шумная разноликая толпа была, наверное, такой же, как и в иные годы, во время проводов на другие войны. Так же, как и тогда, рядом с разудалой песней, пьяной пляской и бахвальством в небо рвался бабий плач, задорная частушка соседствовала с горькими стенаниями...

Но вот над площадью взмыли нестройные медные звуки. То подвыпившие музыканты, больше привыкшие играть на веселых еврейских свадьбах и гулянках, затрубили какой-то марш. Это был как бы сигнал. Возницы,

пожилые колонисты, кинулись цеплять постромки лошадей, стали налыгать быков. Толпа на площади еще больше загомонила, заколготилась, мешая телегам выбраться из толчеи. Наконец на дорогу выехала первая бричка. Следом потянулись другие повозки. Неистовее стали рыдания женщин, громче, сумбурнее зазвучали песни. Все потихоньку двинулись за телегами.

Звуки труб подхлестнули и Дудинских. Вперед всех из дома вышел статный, плечистый Наум. За ним — Лия, Люська и Данька. За оградой Наум одной рукой привлек к себе обессиленную расставанием жену, другой — взял за руку дочку. Данька шел за родителями, неся на одном плече тяжелый вещмешок. Этот вещмешок, по краям обшитый кожей, с несколькими наружными карманами на молниях, Илья подарил ему специально для рыбалки. И кто бы мог предположить, что он совсем для другого понадобится отцу. Замыкали шествие старший брат Наума Мотя со своей женой Ривой и многочисленная семья Гершвиных, доводившихся Дудинским какой-то дальней родней.

Провожających собралось в несколько раз больше, чем уходящих на войну, и невеселое это шествие, растянувшееся, наверное, на добрый километр, Данька запомнил на всю жизнь. Поправляя сползающие с плеча ремни вещмешка, он недоуменно поглядывал на понуро бредущих колонистов: «И чего они плачут? Ведь каждому ясно, что наши быстро разобьют фашистов и вернутся домой. Чего же так убиваться?»

Данька, как, впрочем, все его сверстники, да и не только они, в первые дни войны непоколебимо верил в скорую победу могучей Красной Армии. А как же иначе! В его сознании прочно укоренились навеянные книгами и особенно кинофильмами образы лихого Чапаева и неггибаемого Щорса, нещадно громивших врагов. Любимые командиры виделись ему так явственно, что порою казалось, будто они живы и только ждут своего часа, чтобы на этот раз уже на гитлеровцев повести свои не знавшие поражений отряды...

Не доходя до Казачьей могилы, толпа провожающих понемногу поредела. Первыми начали отставать старики, которым трудно было поспешать за молодыми, потом стали поворачивать назад и другие колонисты. Настало время прощаться и Дудинским. Провожай час, провожай хоть целый день, а все равно надо расставаться. Наум мягко высвободился из цепких рук жены и подо-

шел к Моте. Несколько секунд братья молча смотрели в глаза друг другу, затем, словно бы предчувствуя, что больше им уже не свидеться, крепко обнялись. У Даньки, глядевшего на них, защипало глаза. Потом Наум попрощался с женой, с Ривой, Люськой и Гершвинами, а напоследок поцеловал сына...

4

К исходу третьего дня войны, кое-как добравшись до маленького затемненного бессарабского села Мариены, Илья Дудинский заспешил в свою часть. «Если этой шоссейкой, идущей на Котовск, двигаться дальше, — размышлял он, уже за околицей села шагая обочиной автострады, — то от этих самых Мариен до нашего летнего лагеря будет километров тридцать пять. А напрямик я сокращу примерно треть пути. Да, так будет вернее...»

Метрах в двухстах от села, сразу за истолоченным скотиной выгоном, в степь убегала чуть приметная тропа, и, дойдя до нее, Илья решительно свернул с дороги. Прошагав примерно с полчаса, он разулся, за ушки голенищ связал сапоги, кинул их через плечо и, ощущая уставшими ногами приятную прохладу травы, заспешил вперед.

На юге сумерки наступают быстро. Не успел еще Илья дошагать до небольших зарослей шиповника и терна — километрах в четырех от Мариен, — как на землю спустилась мягкая теплая ночь. По всей степи, растрепавшейся в густых потемках, сыто засвистали перепела и, то ли где-то у невидимой теперь речки, то ли у пруда, предвещая жаркий день, дружно заквакали лягушки. Отстрекотавшие свое кузнечики передали вахту цикадам, и те, словно бы наверстывая упущенное, трещали без передышки. Тропинка петляла среди колхозных полей, баштанов и виноградников, пересекала неглубокие сухие балки, и, хоть ветра не было и в помине, Илья слышал, как шуршат огрузневшие колосья дозревающих хлебов да что-то нашептывают густые травы. В черных глубинах неба загорались все новые и новые крупные звезды. И такая вокруг была благодать, что о войне не хотелось и думать. Но не думать было нельзя. Тут она уже давала о себе знать. С запада, куда держал путь Илья, все явственнее слышался гул, времена-

ми напоминавший раскаты грома, местами там багровел небосклон...

Илья перешел вброд неширокую речку. Ему помнилось, что от нее до расположения роты было уже, что называется, рукой подать. От речки до большого яра километра полтора. Потом примерно еще столько же до грабового леса. Оттуда — с полчаса ходу до развалин старинного помещичьего фольварка, а там и лагерь почти что рядышком...

Как ни близко было уже до роты и как ни спешил Илья, добраться до нее ему не довелось. Когда он, цепляясь в темени за обламывающиеся хворостинки кустов, выбрался из очередной балки, к нему бесшумно, словно призраки, подошли три человека. Яркий луч карманного фонарика, ослепляя, неподвижно застыл на его лице. Все произошло так неожиданно, что Илья вздрогнул. Этот мимолетный испуг не ускользнул от остановивших его людей, и один из них с усмешкой в голосе проговорил по-украински мягко:

— Що, злякався? Ну-ка, прэднявы докумэнты!

За прошедшие трое суток Илья на вокзалах, в переполненных поездах и на дорогах порядком уже насыщался всяких быстро распространившихся рассказней о заброшенных в наш тыл немецких лазутчиках и диверсантах, переодетых якобы в форму бойцов и командиров Красной Армии. Но он не верил этим паническим слухам, ибо подобные байки рассказывали те, кто в глаза не видел ни лазутчиков, ни диверсантов.

Однако же чем черт не шутит? Ладонью прикрывая глаза от луча фонарика и доставая удостоверение личности, Илья внутренне весь подобрался. Он решил, что в случае необходимости применит приемы самбо, которыми неплохо овладел еще в училище. Но мужчина, стоявший за спиной Ильи, будто разгадав его намерение, ткнул ему под лопатку ствол винтовки и недвусмысленно передернул затвор.

Между тем тот, что разглядывал удостоверение Ильи, произнес как-то неуверенно:

— Шут его знает, кажись, свой... Политрук... И дивизия наша... Так вроде бы все верно, но капитан говорил, что немцы ловко подделывают документы... От настоящих не сразу отличишь... Ну, вот что... Журавлев, Дзю! — негромко приказал он, — ведите его до ротного. Он быстро во всем разберется. Отведете и — назад.

Минут через пятнадцать Илью привели в расположение какого-то подразделения. Капитан, о котором упомянул старший дозора, сгорбленно сидел на ящике из-под патронов под старым искривленным буком и, ладонями подпирая лицо, о чем-то думал. Сбоку, на большом фанерном ящике из-под махорки, лежал нераскрытый планшет и белела надорванная пачка папирос. Фонарь «летучая мышь», стоявший у ног капитана, выхватывал из темноты лишь утопанный клочок земли и до середины голенища серый от пыли сапог сидевшего. Капитан как бы очнулся только тогда, когда коренастый красноармеец, все время державший под прицелом Илью, негромко кашлянул.

— Что еще такое? — недовольно подняв голову, сурово спросил ротный.

— Разрешите доложить, товарищ капитан? Вот, задержали в расположении роты. Политрук какой-то... Сержант Диденко направил к вам.

— Политрук? Очень интересно! — Капитан взял фонарь и, поднявшись, поднес к Илье. На миг свет как бы вылепил и его лицо: деревенски широковатое, белесое и уже немолодое.

— Политрук? — переспросил он низким голосом и зачастил: — Ваша фамилия? Какой части? Кто командир? Как оказались тут? Где документы?

Шагнув к капитану, второй конвоир, мелкорослый, но подбористый и, вероятно, очень ловкий, протянул ему удостоверение Дудинского. Внимательно рассматривая удостоверение, слушая Илью, капитан время от времени взглядывал на него. Затем скупно улыбнулся и, снова опустившись на ящик, приказал бойцам:

— Отправляйтесь обратно к Диденко. Минутку... Журавлев, скажите старшине, пусть принесет политруку поест. Все, ступайте! — и Илье: — Садитесь, политрук. В ногах правды нет.

Спрятав в карман отданное капитаном удостоверение, Илья опустился на землю и стал обуваться. Натягивая сапоги, он искоса, насколько позволял свет фонаря, старался разглядеть капитана. Ротный был крупнотел, массивен и почему-то производил впечатление медлительного человека. Правую щеку его от уха и до подбородка рассекал глубокий шрам. Возможно, то был след осколка или давнишнего удара саблей.

— Значит, возвращаетесь из отпуска? — поблескивая глазами, спросил капитан, и в голосе его вроде бы

уже не сквозил прежний недоверчивый тон. — Направляетесь в свою часть, в Корниены? Нет, дорогой товарищ, вам уже нет резона идти туда. По моим данным, там уже немцы. Так что вы можете угодить прямо им в лапы.

Выбитый из колеи, Илья неопределенно пожал плечами.

— Знаете что? — помолчав, снова заговорил ротный. — Оставайтесь у нас. Мы здесь поджидаем противника, будете вместе с нами. Перед закатом к нам вышла группа пограничников. Их командир, лейтенант, подтвердил данные моих разведчиков. Немцы отсюда не далее, чем в десяти километрах. Вероятно, их продвижение остановила ночь. Вот такое положение.

— Значит, пограничники тоже у вас?

— Да. Так что решайте.

— Что ж, вероятно, вы правы, товарищ капитан, — поразмыслив, сказал Илья. — Хорошо, я остаюсь у вас. Думаю, что главное сейчас — это бить врага. А бить его можно и здесь...

Ночь щедро расшила темное небо бисером звезд. Изредка какая-нибудь из них срывалась, сгорала, нырнув в черную глубину, а там, где она проскользнула, несколько мгновений еще светлел ее распушенный след.

Где-то фыркала лошадь, слышался негромкий говор. Слабо пахло дымом. Возможно, неподалеку тлели угли потухшего костра или топились походная кухня.

Оказавшись в привычной войсковой обстановке, ощущая тепло ночной степи, Илья расслабился. И почти тотчас же на него навалилась усталость. С трудом разлепляя веки, ладонью прикрывая зевоту, он чувствовал, что засыпает. Его состояние заметил капитан. Поднявшись, он сходил куда-то и вернулся с шинелью.

— Возьмите, — протянул он ее Илье, — и ложитесь спать. А утром все обговорим.

Улегшись на расстеленную по другую сторону бука шинель, Илья сунул под голову свою сумку и спустя минуту уже крепко спал. А капитан, прислонясь спиной к дереву, снова погрузился в раздумья.

Когда Илья проснулся, короткая ночь уже истаявала. На востоке, окрашивая небосклон в нежные желто-зеленые и розовые тона, все ярче и красочнее разгора-

лась заря. Откуда-то доносилось радостное чириканье пробудившихся птиц. Позевывая, взглядывая на ползущие ввысь и вширь зоревые разводья, Илья взгрустнул, подумав о колонии, о своих близких. «Что они там поделявают, как они?»

Неподалеку кто-то негромко заговорил. Повернувшись на бок, Илья увидел на прежнем месте капитана, что-то обсуждавшего с тремя командирами. По правую руку ротного, перед развернутой на фанерном ящике картой, присел тугощекий черноволосый лейтенант, а по левую — худощавый, интеллигентного вида старший политрук лет тридцати, с тонко очерченным обветренным лицом. Напротив капитана, по-татарски скрестив ноги, сидел на земле лейтенант-пограничник с перебинтованной головой. Этот был, пожалуй, моложе других командиров.

Илья поднялся, потер занемевший бок. Подняв шинель, он отряхнул ее, подошел к командирам.

— Доброе утро!

— А-а, политрук, — поднял голову капитан. — Здравствуйте! Ну как, выспались?

— Спасибо, отдохнул, — смущенно улыбаясь, ответил Илья и протянул шинель капитану. — Возьмите, благодарю вас!

— Повесьте ее во-он на сучок, — небрежно отмахнулся тот и, обращаясь к командирам, представил им Илью: — Знакомьтесь, товарищи, это тот самый политрук Дудинский, о котором я вам уже говорил. Теперь он будет служить с нами.

Поднявшись и слегка отряхнув сзади галифе, первым протянул руку старший политрук. Он был Илье по плечо и, снизу вверх взглядывая ему в лицо, назвался неожиданно для его комплекции густым баском:

— Глебов. Очень рад.

Тугощекий лейтенант, вызвав ответную улыбку Ильи, пожал ему руку церемонно, с полупоклоном:

— Будем знакомы, Кутумов.

— Фокин, — козырнув, кратко отрекомендовался пограничник.

Был он широкоплечий, крепкий, но с сухим, даже костлявым лицом и слегка косоватым взглядом внимательных серых глаз.

— Ну, а я, — завершая знакомство, сказал ротный, — капитан Букарев. Дмитрий Андрианович. Извините, вчера не назвался...

Когда все снова расселись кружком, Букарев взял с ящика карту, расстелил ее у своих ног и, стремясь ввести в курс дела также и Илью, негромко сказал:

— Итак, товарищи, за ночь обстановка ничуть не прояснилась. Что же мы имеем в итоге? Прискорбный факт, но, по моим данным, мы имеем оголенные фланги. Как левый, так и правый. Впереди нас немцы, а кто за нами — я тоже затрудняюсь сказать. Еще вчера штаб нашего полка был в Страшенах, а где он сейчас — не знаю. Связь с ним потеряна. Таким образом, во всей своей обнаженности, перед нами встал вопрос: как быть? Идти в Страшены на соединение с полком или здесь, на этом рубеже, ждать противника? В том, что скоро немцы припожалуют и сюда, я нисколько не сомневаюсь. Это аккуратный народ: побреются, попьют кофе и припожалуют. Я это знаю еще по прошлой войне. Что же нам делать? Каково ваше мнение, товарищи командиры?

Он поднял голову, сдвинул со лба пилотку и глазами, полными какой-то тяжеловесной пытливости, оглядел подчиненных. Вопрос был не из легких, и потому, обдумывая ответ, все молчали. Однако Букарев не стал долго ждать. Раздельно выговаривая каждое слово, очевидно, давно уже обдуманного решения, он сказал:

— Полагаю и, надеюсь, все вы со мной согласитесь, что просто так отходить мы не станем. Нет у нас на то приказа. Здесь примем бой. Взвод лейтенанта Бочкарева, находящегося в отпуске, пока примет Глебов. Вы, товарищ Дудинский, идите под его начало. Оба вы коммисары, поладите. Все, ступайте.

По пути во взвод, приминая сапогами траву, Глебов временами с каким-то ребячьим азартом сбивал с нее росу. Изредка, щуря карие глаза, он неторопливо говорил Илье:

— Я вас понимаю: в бой хорошо идти с людьми, которых знаешь как самого себя. Это истина, не требующая доказательств. Но что поделаешь, если уж так сложились обстоятельства? Тем не менее смею вас уверить, что бойцы во взводе надежные. Есть коммунисты, много комсомольцев. — Глебов достал из кармашка галифе часы, щелкнул крышкой и, как бы сверяя их, взглянул на солнце, изрядно уже оторвавшееся от горизонта. — Еще только шесть. Так что у вас есть какое-то время бегло оглядеться на местности, познакомиться с бойцами.

Глебов неспешным шагом вел Илью вдоль самой бровки глубокой, извилистой, с аккуратными стрелковыми ячейками и ходами сообщений траншеи. Илья видел, что большинство красноармейцев, уже пробудившихся от сна и занятых предбоевыми делами — кто чистил оружие, кто подправлял и без того безукоризненные ниши для гранат, кто просто курил, — с любопытством смотрят на него. Не замечал он у бойцов какой-либо суетливости, хотя в движениях некоторых из них все-таки проскальзывала чуть приметная возбужденность.

Не дойдя до конца траншеи, Глебов остановился, поднес руку к выгоревшей на солнце, но опрятной пилотке и, пообещав вскоре навеститься, пошагал назад, на правый фланг взвода. А Илья, поглядев вслед ему и немного поколебавшись по поводу того, что надлежит сделать прежде всего, направился к своим ночным знакомцам, которых заприметил еще издали. Оба красноармейца сидели на самом краю траншеи, в передней крутости которой было оборудовано пулеметное гнездо, и о чем-то беседовали. Журавлев, тот, что вчера вечером стволом винтовки все время упирался ему в лопатку, с насунутой на самые глаза пилоткой и заведенными за голову сцепленными руками, спиной подпирал стенку окопа. Во рту, гоняя ее языком, он держал сухую былку. Второй боец, по обличью кавказец, перематывал обмотку. Он увидел подходившего Илью, толкнул товарища, и оба они поднялись.

Илья спрыгнул в окоп, поздоровался и разрешил им сесть. Заметив, что бойцы подвинулись, тем самым приглашая сесть и его, он, улыбаясь, опустился рядом.

— Вот, задержали меня, теперь будем вместе.

Улыбкой отвечая на улыбку, Дзю, быстро довернув обмотку, сказал с заметным акцентом:

— Говорят, что ни делается — все к лучшему. Не обижайтесь, товарищ политрук.

— На такое не обижаются. Вы хорошо несли службу.

— По случаю знакомства, — шутливо заметил Дзю, — у нас на Кавказе полагается выпить полный рог вина. Но вина у меня нет, поэтому можете воспользоваться другим нашим обычаем: все наше — ваше! Словом, все, что в этом окопе, — ваше.

И, широко поведя рукой, он показал на пулемет, по-хозяйски уложенные в нише гранаты, на винтовки.

— Непременно воспользуюсь, — отозвался Илья. — Да, а где тот сержант, что вчера был с вами?

— Диденко? — вступил в разговор до этого молчавший Журавлев. — Так он из другого взвода.

— Ну, ясно...

Илья снял фуражку, положил ее на бруствер, поерошил волосы, расстегнул теснивший шею воротник гимнастерки и облегченно вздохнул. Угостив Дзю папиросой из подаренной ему Букаревым пачки (Журавлев оказался некурящим), он тоже закурил и сказал:

— Кажется, я помешал вашей беседе. О чем говорили, если не секрет?

— Ва! Какой секрет! — воскликнул Дзю и, усмешливо взглянув на товарища, с жадностью затянулся раз за разом. — Мы с ним толковали каждый о своем крае. И знаете, что он сказал? Сказал, что лучше его Дальнего Востока на всей земле больше места нет. Дорогой, если бы ты хоть одним глазом увидел наш Кавказ, то...

— Так вы дальневосточник? — Илья живо повернулся к Журавлеву.

— Оттуда, — сухо, словно бы нехотя, ответил боец.

— Случайно не с Амура? — взглядывая на его смуглое, монгольского склада лицо, спросил Илья.

— С Амура. А вы что, бывали у нас?

— Не довелось. А вот родня у меня там есть. Тетка живет.

— Где? — уже с явным интересом спросил Журавлев.

— Знаю, что в Биробиджанской области. А где именно, затрудняюсь сказать. С ней одна мать связь поддерживает.

— Жаль, товарищ политрук. А вдруг она живет рядом с моими стариками? Эх, знать бы село.

— Не помню... Значит, хороший у вас край?

— Еще бы! — заключил разговор Журавлев и, снова привалившись к стенке окопа, закрыл глаза.

И он тотчас же увидел отчий дом на высоком амурском берегу и кудрявый купол старой черемухи, роняющей свой белый цвет на темно-серые, взявшиеся мохом тесины крыши. Журавлев даже вздрогнул, до того отчетливо он ощутил такой знакомый ему медовый аромат. Он открыл глаза, но... то пахла вянущая, истолоченная солдатскими ногами трава. Журавлев лишь разочарованно вздохнул.

Между тем Илья, попыхивая папиросным дымком, начал разглядывать местность. Здесь, у шоссеной дороги, связывавшей Кишинев с Котовском и румынским местечком Хуши, кончался участок обороны, занятой ротой капитана Букарева. По другую сторону автострады, метрах в полста от нее, начинался извилистый, постепенно расширяющийся овраг, конец которого терялся где-то далеко в степи. Таким образом, уяснил себе Илья, рота была в состоянии оборонять лишь небольшую частицу этой самой степи, а остальную неоглядную ширь, кроме них, здесь сторожили, должно быть, одни только суслики...

Вскоре принесли завтрак, и бойцы не мешкая принялись за еду. Несмотря на тревожную обстановку, они, будто косари на колхозном луговом стане, расположились небольшими группками и задорно шутили, смеялись. Завтракая с красноармейцами, присматриваясь к ним, Илья непроизвольно задержал взгляд на старшине роты. Опустив в траншею крепкие толстые ноги в обмотках, он сидел на бруствере неподалеку от пулеметного гнезда и удовлетворенно поглядывал вокруг. Улыбка не сходила с его чисто выбритого, загорелого лица. Видно, старшина был рад и веселому настроению бойцов, и тому, что они со вкусом поедают приправленную маслом, но уже изрядно надоевшую за время пребывания в летнем лагере пшеничную кашу.

Позавтракав, красноармейцы закурили и быстро разошлись по своим местам. Илья тоже вернулся в окоп, и вновь его взору открылся зеленовато-шафранный разлив степи. Его внимание привлекла лиловая полоска леса, зыбившаяся у горизонта. Он почему-то был уверен, что противника надо ждать скорее всего оттуда, из прохладной чащи деревьев. Такого же мнения был и старший политрук Глебов, вскоре после завтрака ненадолго наведавшийся к Илье.

Рота уже немало времени ждала немцев, и все же они появились как-то внезапно, перед полуднем. Сначала из лесных зарослей в серебристые переливы степного марева выползли танки, издали смахивающие на неуклюжих жуков, а за ними на громоздких, крытых брезентом грузовиках следовали гитлеровские солдаты. Сухой ветерок, пахнувший солнцем и пылью, донес до траншеи рокот моторов.

Пройдя километра два, танки съехали с шоссе, раз-

делились. Волоча за собою рыжие шлейфы пыли, на ходу рассредоточиваясь, они стали надвигаться широким полукольцом. В разрывы между танками втянулись грузовики. Вскоре с них начали выпрыгивать солдаты, рассыпаясь в ломаную цепь. Немцы шли в атаку во весь рост, с широко распахнутыми воротниками легких френчей и по локоть закатанными рукавами, с небрежно заткнутыми за левый погон пилотками. От преднамеренной бравадной парадности гитлеровцев отдавало лихостью, бесшабашностью. Но больше всего это смахивало на доселе безнаказанную наглость.

Илья заметил, что настороженные серые глаза Дзю, почти не мигая, смотрели на немцев из-под низко на сунувшейся каски, как из-под щитка. По впалым щекам его, поросшим густой рыже-бронзовой щетиной, прокатывался нервный тик. Губы крепко сжаты в тонкий шнурок. Посеревшим, каменно-хмурым от напряжения было и смуглое лицо Журавлева. В густой щеточке жестких черных ресниц — узкие щелки глаз. Рука, сжимавшая затыльник пулемета, слегка подрагивала...

Илья дотронулся до плеча Дзю. Тот от неожиданности вздрогнул, поднял на него глаза.

— Страшно? — спросил Илья.

Дзю на миг смежил веки и, снова разлепив их, сказал каким-то пересохшим шепотком:

— Страшно, товарищ политрук. — И поспешно добавил: — Не совсем, конечно, но страшно.

Спустя секунду, сдвинув каску на затылок, вытирая со лба проступившую испарину, Дзю пробормотал:

— Красиво идут, сволочи. Как те, белые, ну что в «Чапаеве»...

— Ничего, пусть идут. Они, как и те, тоже красиво лягут, — зло сплюнул Журавлев.

Поблизости вдруг ухнул разрыв. Илья присел, инстинктивно втянув голову в плечи. А вскоре впереди и позади траншеи один за другим уже рвались снаряды. Воздух будто лопался от громовых раскатов, рыжевато-черными всплесками дыбилась земля, клубами катился смрадный дым.

Подавив приступ накатившегося страха, Илья слегка высунулся за бруствер и затаился. Он увидел, что из идущей справа вражеской колонны, не прерывая

орудийную стрельбу, вырвался танк и покатиł прямо на их ячейку. Во всяком случае, так ему казалось. Илья сполз вниз и безотчетно глянул вдоль траншеи, над которой уже кудрявились сизоватые дымки винтовочных выстрелов, хотя команды открыть огонь никто еще не подавал. Видно, у некоторых бойцов стали сдавать нервы. Да, ситуация действительно критическая, и ему, политруку, надо немедленно что-то предпринять, как-то поднять дух красноармейцев. «Танк... Хорошо бы остановить хоть один танк...» — мелькнула мысль.

Илья потянулся к заранее приготовленной связке гранат. Но его опередил Дзю. Схватив связку, он ловко кинул через бруствер свое подбористое тело и быстро пополз навстречу атакующим. Немцы засекли смельчака. Один из танков, шедший на несколько метров впереди других машин, повода покачивающимся стволом, принял чуть влево и покатиł прямо на Дзю. Тот перестал ползти и секунду другую лежал неподвижно. Затем Илья увидел, что Дзю чуть приподнял голову. Вероятно, он чего-то ждал.

А танк по-прежнему двигался на него. Вот он уже совсем близко — тяжелый, слегка приплюснутый, непроницаемый. Слепо тыкаясь, подрагивает длинный, с набалдашником, ствол его пушки, и, словно бы что-то вынюхивая, ходят из стороны в сторону пулеметы; с гусениц, взвизгиваясь, стекает пыль. Илье даже помешалось, что траншеею окатило идущей от танка горячей волной, пахнущей металлом, краской и отработанным газом.

Внезапно Дзю резко привстал на колено, одной рукой оперся о землю и, чуть откинув назад корпус, сильно швырнул связку. Раздался взрыв. Задрал ствол, танк вздрогнул, затем застыл, словно пригвожденный. Ствол пушки начал медленно опускаться, пока тоже не замер. Танк окутало черным дымом. Взрывной волной откинуло крышку люка, и из него вырвался сноп огня.

Илья схватил винтовку Дзю и выстрелил в немецкого солдата, метнувшегося в сторону от горящего танка. На миг он увидел сумку противогаса, мелькнувшую на боку падающего гитлеровца, со злорадным торжеством передернул затвор и взял на мушку другого солдата.

В далеком от фронта Приамурье война оторвала от земли и от семей многих работников. К концу июня сильно обезлюдело и это старинное село. Молодых мужчин, в основном трактористов и комбайнеров, оставленных по брони, можно было пересчитать по пальцам.

В душный солнечный полдень начала июля наезженной дорогой в районный центр резвой рысью пылил одинокий всадник. В белом зное перекипала степь. Словно бы приподнятые водянистым маревом, над землей колыхались в мгlistой дали громадины дремотных сопок. Солнце, ярившееся в белесой наволочи неба, накалило подушку седла, стремяна, будто приварило рубашку к спине верхового. Пот ручейками тек по его побуревшему скуластому лицу. Всадник ладонью машинально смахивал солоноватые капли и, рукояткой плети подгоняя коня, все нетерпеливее подергивал поводья.

В центре поселка, у продолговатого строения, срубленного в лапу, всадник спешился, торопливо привязал коня к ошкуренному стойку ограды и, на ходу разминая ноги, через двор, сквозь негустую толпу очередных мобилизованных и их родичей, прятавшихся от палящего солнца в низком притемненном коридоре, решительно потопал прямо к военному.

Военком, высокий поджарый капитан в тонкой суконой гимнастерке, плотно облегающей его приподнятые плечи, грудь и прямую спину, один сидел в прохладном кабинете. Он был чем-то озабочен, хмур. Не отрывая стриженную ежиком голову от лежащих перед ним бумаг, он спросил слегка осипшим голосом:

— Что у вас, товарищ?

— А то же, что и у всяких прочих. Отправляй меня на фронт, Георгий Иванович! — этаким напористым басом сказал вошедший и вдруг вспылil: — Да ты хоть голову-то подыми, когда с тобой люди говорят!

Военком поднял голову. Тусклое, невыспавшееся лицо его недовольно поморщилось. Он на мгновение коснулся его узкой белой рукой, затем помял пальцами припухлые желтоватые веки, неторопливо выудил папиросу из лежащей на столе пачки «Беломорканала» и закурил. Пододвинув пачку и спичечный коробок поближе к стоявшему напротив мужчине, капитан вяло произнес:

— А-а, это ты, Журавлев. Садись, Филипп Африканыч, кури.

— Спасибо! С детства этим не занимаюсь.

— И хорошо делаешь. Чертово зелье...

Прикрыв ладонью тонкогубый рот, военком неслышно зевнул и блаженно откинулся на спинку стула. Но со двора, в щель между неплотно прикрытыми ставнями, на лицо его упала яркая полоска солнечного света, и он, болезненно щурясь, вместе со стулом вплотную придвинулся к столу. Облокотясь, положил широкий костистый подбородок на подставленные ладони и уставил на собеседника слегка выпуклые серые глаза.

— Так зачем, говоришь, явился? Опять проситься на фронт?

— Опять.

Военком шумно поднялся, прошел в угол кабинета, вернулся к столу и с маху сел на заскрипевший под ним стул. Сердито выпустив струю дыма в низкий потолок, он взглянул на мужчину уже посуровевшими глазами.

— Ха, он хочет на фронт! — с издевкой мотнул головой военком. — Скажите, пожалуйста, какой прыткий выискался! Не выйдет, товарищ Журавлев! Тебе бронь дали, значит, ты здесь нужен!

Присевший было на краешек стула Журавлев слегка привстал и просяще прижал ладони к груди. С запястья правой руки его, распрямляясь, повисла плеть.

— Бронь, бронь. Да пойми ты, Георгий Иванович, ведь я старый солдат! С немцами сражался еще в ту мировую... Я даже в плену у них побывал, да сбежал, — он виновато улыбнулся. — И здесь я партизанил против белогвардейцев и японцев. У меня же опыт.

— К чему ты мне все это говоришь? Я и так все про тебя знаю.

— А к тому, что такие, как я, больше на фронте нужны.

Окинув беглым взглядом крепкую, ладную еще фигуру Журавлева, военком в душе согласился с его доводами. Но что-либо решать в отношении его он был не волен.

— Филипп Африканыч, я уже сказал, что на тебя бронь. Кто, по-твоему, будет убирать хлеб? Я? Я бы, может, с удовольствием это делал, но не умею. А мно-

го ли в МТС таких опытных бригадиров, как ты? Нет! Чего же ты, грубо говоря, пудришь мне мозги? Поезжай домой и занимайся своим делом. А мне, извини, некогда вести пустые разговоры.

— Выходит, моя просьба — пустые разговоры? — опять вспылил Журавлев. Лицо его пошло багровыми пятнами. — Как ты можешь такое говорить! У меня сын, Павлуха, сейчас там сражается, так должен я ему подсобить или нет? Короче, Георгий Иванович, я отсюда никуда не пойду! Отправляй меня на фронт, и весь разговор!

Военком сердито ткнул недокуренную папиросу в пепельницу и, ладонями бесцельно разглаживая бумагу на столе, вновь принялся урезонивать упирающегося бригадира:

— Слушай, Филипп Африканыч! Ты не дитя, и я не намерен тебя уговаривать! Понял? Тебе еще в прошлый раз было отказано, и по этому вопросу нам нечего больше дискутировать! А будешь упрямиться, поговорим иначе и в другом месте! Тебе известно, что я член бюро райкома? Так вот, если ты сию же минуту не отправишься домой и не примешься за работу, которую тебе, коммунисту, доверила партия, я поставлю вопрос на бюро и буду настаивать на самом строгом для тебя наказании. Должен заметить, что ты недопустимо, даже безответственно и вредно ведешь себя в такое тяжелое время.

Разволновавшись, военком торопливо закурил новую папиросу.

— Кто-нибудь уже пришел в твою бригаду вместо мобилизованных механизаторов? — сглаживая неловкую паузу, спустя минуту спросил он.

— Три молодухи да двое парнишек, — глядя в пол, буркнул Журавлев недовольным, упавшим голосом.

— Вот и обучай их! — подхватил военком. — Сделай их хорошими трактористами и комбайнерами. Это и будет твоя наилучшая помощь сыну. Так-то, уважаемый Филипп Африканыч. Ступай домой и работай себе на здоровье. А меня люди ждут. Видел небось?

— Да видел...

— Вот так. Кого надо — отправляем на фронт, а тебя сочли необходимым оставить в тылу. Ясно? Ну, все.

Крайне недовольный капитаном, Журавлев вышел от него, не попрощавшись. Уже усевшись в седло, разо-

брав поводья и направляя коня в улицу, ведущую не к МТС, где у него всегда находилось дело, а к выезду из поселка, он, доказывая свою правоту, мысленно все еще спорил с военкомом...

Выбравшись из райцентра, Журавлев пустил коня рысью. По-прежнему нещадно жарило солнце. Небо серело, крылось мерлушковой хмарью, млело в тяжелой истоме. Желтым налетом схватывались хлеба на супесчаных участках полей, и над ними, трепыхаясь, плясали жаворонки. Но далеко у горизонта, над голубыми зарослями тальника, густо росшими вдоль Амура, грузно вставало округлое, дымчато-белесое облако, и уже ощутимо запахло близким дождем.

Проехав половину пути, Журавлев успокоился и перевел коня на размеренный шаг. Плавнo покачиваясь в седле, нет-нет да и возвращаясь к разговору с военкомом, он и воспринимать его начал иначе, и оценивать трезвее. «Должно быть, прав Георгий Иванович, — рассудил он. — Действительно, война загребла почти всех мужиков, а хлеб-то надо убирать. Одной пшеницы восемьсот гектаров. Это не шутки! Выходит, никуда не денешься. Ну да ладно. Зато уж после уборочной я, дорогой ты мой Георгий Иванович, с тебя не слезу!»

Журавлев перестал хмуриться и снова пустил коня рысью, словно бы и впрямь торопясь немедленно приступить к обучению пришедших в бригаду женщин и подростков.

Ненадолго завернув домой, он первым делом зачерпнул из стоявшей в прохладных сенях кадушки полный ковш воды и, не переводя дух, осушил его. Лишь затем повернулся к вставшей на пороге жене.

— От Павлухи есть что? — спросил он.

Не разжимая тонкие поблекшие губы, жена в ответ отрицательно качнула головой.

— Ну, что ж. Стало быть, еще не подошло письмо. Павлуха-то далеко отсюда воюет. Я бывал в тех краях, знаю, — щури глаза, избегая смотреть на жену, бодро сказал Журавлев. — Путь долгий, письмо может и задержаться. Однако ты, мать, того... шибко-то не вздыхай. Обойдется. Лучше собери мне в сумку чего поесть.

— Соберу. Обедать-то будешь?

— Некогда, ехать надо.

— Куда ехать? Вот-вот дождь припустит.

- Не сахарный, не растаю.
- А ужинать?
- На стане поем. Я, должно, там и заночую.

Наступивший день принес Журавлеву непредвиденные огорчения. Деловито и даже благодушно настроенный, он, как только проснулся и умылся, тотчас же пошел к «челябинцу», одиноко стоявшему с краю полевого стана, за вкопанными в землю цистернами с горючим. Трактор этот был почти что новый, ушедший в армию Серега Вологин поработал на нем всего-то ничего, недельки две с небольшим, и Журавлев надумал обучать новичков механизаторскому делу именно на «челябинце».

Оставшиеся в бригаде трактористы, добывая ночную смену, еще пахали пары; в вагончике возилась одна стряпуха; на стане было тихо. Поджидая «пополнение», Журавлев неторопливо счистил с «челябинца» грязь, куском мешковины обмел с цилиндров мотора, с головок и магнето махры маслянистой пыли, а затем, присев на башмак гусеницы, от продолжительного стояния схваченного кое-где пятнами ржавчины, принялся вывертывать и продувать свечи.

За этим занятием его и застал Поляковский, директор МТС. Незаметно вывернувшись из-за цистерн, он гулко прокашлялся и сунул соскочившему с гусеницы Журавлеву большую мясистую руку.

— Здорово, Африканыч! Уже готовишься? Молодец!

— Ага. Думаю, что на этом тракторе бабы быстро научатся понимать что к чему.

Поляковский закурил, глубоко затянулся дымом и, глядя мимо Журавлева, досадливо усмехнулся:

— Ты меня не понял, Филипп. Должен тебя разочаровать. Дело в том, что на этом тракторе никого учить уже не придется.

— Что так, Абрам Яковлевич? — странно поперхнувшись, Журавлев поднял на директора настороженно-недоумевающие глаза.

— А потому, что и этот «челябинец» и еще один новый «сталинец» из твоей бригады надо передать армии. Сегодня же.

— Да вы что! — вскрикнул Журавлев. Гнев мгновенно испятнал его лицо. Швырнув свечной ключ, он кругами, как заводной, заходил около директора. —

Чем же я буду работать, а? Уж ежели на то пошло — забирайте все, с потрохами, всю бригаду!

— Погоди, Филипп, не ерепенсья. Фронту требуется, значит — все! Не у тебя же одного берут тракторы. С каждой бригады отдаем технику, по две машины.

— Я понимаю, что нашей армии теперь нужна дополнительная техника. Но разве же хлеб ей не нужен? — остывая, спросил Журавлев и сам решительно ответил: — Нужен! Вот и растолкуй мне, товарищ директор, чем жатву-то проводить?

— Трудно будет, что и говорить. Ну, снова примемся за лошадей. А что делать? Раньше ведь вовсе обходились без тракторов, а теперь у нас кое-что из техники все-таки остается. Выдюжим... Ладно, иди вон, встречай. Кажется, едут твои будущие механизаторы.

Журавлев медленно, как бы нехотя, повернул голову: из ближнего лога на взгорок поднималась пароконная телега заправщика бригады. На телеге сидело несколько женщин. Почесав небритую щеку, чертыхнувшись, Журавлев направился было к вагончику. Но Поляковский, посмеиваясь, кинул ему вдогонку:

— Эй, Африканыч, ключ-то свечной подбери. Сейчас особенно грешно разбрасываться инструментом.

Журавлев раздраженно взглянул на директора, однако вернулся, подобрал ключ и пошел навстречу подъезжающей телеге...

7

Роза Рабинская подошла к Трехкутной уже под вечер. Все двадцать километров от станции Яворное она прошагала пешком, в самую жару, и, изрядно притомившись, решила немного передохнуть. Неподалеку от колонии на небольшом возвышении она присела на отполированный временем валун, непонятно кем и для какой надобности доставленный сюда. Вытянув крепкие загорелые ноги, легонько потирая их, Роза загляделась на село.

Она не была дома два года и полагала, что не узнает Трехкутную. Во всяком случае, такое мнение у нее сложилось после писем матери. Ибо в каждом из них та чем-нибудь да хвалилась: то недавно построенным домом, то новыми мастерскими МТС, то каким-либо другим сооружением. Но сколько бы Роза ни вгля-

дивалась, она не видела существенных перемен. Село было таким же, каким она знала его с детства. Все те же улицы, широко разметнувшиеся по склону косогора, те же стройные, высокие тополя. И все-таки в облике колонии угадывалось что-то непривычное, разнившее село с той Трехкутной, какую помнила она. Роза отыскивала и упомянутые в письмах матери новые постройки, видела проглядывавшие сквозь зелень листвы грязновато-серые, как и повсюду теперь в целях маскировки, вымазанные сажей стены хат. Но не это делало колонию схожей с подворьем, где вроде бы и огорода цела, и стекла окон на месте, и дымок вьется над трубой, а настоящего тепла людского жилья в нем все же не ощущается. Это новое, непривычное состояние села не выпирало, не лезло на глаза, но оно, несомненно, было, и Роза старалась уловить его. Медленным взором скользя по дворам, по улицам и окрестностям, она видела, как, взбивая пыль, розово просвечивавшую в лучах заходящего солнца, с пояса лениво бредет стадо, как низом Маньчжуровой балки, очерченными смахивающей на раскрытый клюв ястреба, из плавней в нижнюю улицу прокрадывается вечерний туман.

Она глядела на колонию, гадала, что же все-таки изменилось, и внезапно ее осенило — люди! На улицах почти не видно было людей. Роза помнила, что в былые годы, да и перед тем, как она поступила в Николаевский судостроительный институт, улицы Трехкутной, особенно под вечер, всегда были оживленными. Они тогда наполнились усталыми голосами возвращавшихся с полей колонистов и радостным гомоном соскучившихся по своим близким детей. В те часы на лавочках у палисадников появлялись и степенные седобородые деды, и охочие до всяческих пересудов говорливые старухи.

Роза не забыла, как пять лет тому назад на центральной улице Трехкутной быстро поднялось высокое кирпичное строение с глазастыми окнами и глубоким цементированным бассейном в огороженном дворе. И как от него, неся на себе провода, по всем улицам и переулкам разбежались пахнущие смолой янтарные столбы. То была первая колхозная электростанция на весь Батаншевский район. Ей запомнилось, что в один чудесный вечер вся колония озарилась непривычным ярко-белым светом. Свет этот был повсюду: на ули-

цах и хозяйственных дворах колхоза, в школе, в домах. Он отражался в тихой глади реки и, казалось, проникал даже в самую гущу плавней. В тот вечер и дети, и словно бы впавшие в детство взрослые возбужденно бегали из комнаты в комнату, из дома в дом и все щелкали выключателями и никак не могли надивиться и нарадоваться рукотворному чуду.

Людам свойственно быстро привыкать к любым новшествам. Для трехкутновцев вскоре стало обыденным и электричество. Но обычай в теплые летние вечера допоздна засиживаться у освещенных палисадников крепко прижился у них с той памятной поры. А теперь, хоть и надвигались уже плотные сумерки, ни на одном столбе не загорались электрические фонари, ни в одном окошке не вспыхивал яркий свет. И не будь возвращавшихся с погоса коров, можно было бы подумать, что в колонии вообще все вымерло.

Отдохнув, Роза вскоре уже входила на родное подворье. Она взбежала на крыльцо, как и большинство строений и пристроек в колонии, сложенное из пиленого ракушечника, и тихонько открыла входную дверь. Девушка на цыпочках прошла неосвещенным коридором, незаметно прошмыгнула на кухню. И тотчас же на нее пахнуло привычным с детства духовитым ароматом хлеба и терпким запахом мяты, которой мать посыпала пол круглый год.

На кухне не было никого, и, догадавшись, что мать еще не пришла с работы, Роза у порога скинула пыльные парусиновые туфли, намереваясь так же неслышно пробраться в свою комнату. Но из темноты вдруг донесся дребезжащий старческий тенорок:

— Маня, это ты?

«Надо же, услышал», — подумала Роза и негромко ответила:

— Дедуня, это я — Роза.

— Кто, кто? Розэлэ, это ты заявила? Так что же ты молчишь?

— А что делать? Трубить на всю колонию, что я приехала? — со смехом спросила она и тут же всхлинула, услышав, как громыхнул второпях дедов костыль. «Обрадовался мне дед Мойша», — подумала она и поспешила навстречу шаркающим шагам. В полутемноте обняв деда, Роза головой припала к его сухопарой груди.

— Стало быть, соскучилась за своим дряхлым де-

дом, а? Ну-ну, коза, успокойся, не плачь. Главное — это видеть друг друга живыми и здоровыми, — шмыгая носом, бормотал расчувствовавшийся старик и ладонью вытирал мокрое лицо правнучки.

Своих слез, частых и холодных, как капли осеннего дождя, он не замечал.

— Давай присядем, — успокоившись, сказала Роза и повела деда Мойшу к стоявшей в горнице ивовой кушетке.

— Что у вас со светом приключилось? — спросила она, когда старик, покряхтывая, присел около нее. — Везде темно, как в преисподней.

— Я знаю? — ответил он. — Не включают, наверное, потому, что опасаются немецких аэропланов. Можно подумать, что, кроме нашей колонии, швабам больше нечего бомбить.

— Напрасно ты так думаешь, дедуня. Эти швабы, как ты их называешь, теперь гоняются в степи чуть не за каждым сусликом. Я насмотрелась, когда рыла окопы под Вознесенском.

— Ты рыла там окопы?

— Да. А что?

— Ничего. У нас тоже помешались на этих окопах. Роют уже несколько дней. Все думают, что они что-то дадут.

— А что, не дадут?

— А-а... — старик махнул рукой.

Роза подождала немного, думая, что дед скажет, почему он не видит надобности в рытье окопов. Но тот молчал, и тогда она пошла на кухню. Нашарила спички на загнетке печи, засветила лампу и вернулась с ней в горницу. Поставила лампу на стол, подправила занавесившие окна чистые рядна, снова под села к старику и крепко обняла его.

— Дедуня, ну как вы тут живете? Что нового в колонии?

Неторопливо вертя костыль между сухими, как былки, коленами, дед Мойша уклончиво ответил:

— Э-э, какие новости могут быть в такой дыре, как наша Трехкутная? Это же тебе не Одесса и даже не твой Николаев. Живем, как предписано богом, и все. Но чем расспрашивать меня про какие-то новости, ты бы лучше повечеряла. Ты же голодная, а?

— Есть немножко.

— Так иди и покушай. А поговорить — успеешь.

Пока Роза сходила в сени и вернулась на кухню с крынкой молока и с глиняной чашкой, полной спелых пунцовых помидоров, дед уже перенес туда лампу, поставил ее на край стола и, поближе подсев к свету, усталился в свой Талмуд.

Роза нарезала помидоры, посолила их, перетряхнула и вместе с хлебом пододвинула чашку к старику.

— Дедунь, оставь на часок свой молитвенник и поешь со мной.

Но дед Мойша сидел, словно бы не слыша ее. Низко склонив голову в потертой плюшевой ермолке над Талмудом, он, шевеля губами, медленно водил согнутым, будто бы пергаментным пальцем по пожелтевшим страницам.

Вскоре пришла с работы и Маня Рабинская. Она до того устала, что внешне даже не выказала особой радости при виде дочери, неожиданно заявившейся домой. Едва коснувшись губами Розиной щеки, она тут же тяжело опустилась на стул и, закрыв глаза, просидела недвижно несколько минут. Лишь немного отдохнув, Маня оперлась о край стола, с трудом поднялась.

— Что же ты кушаешь одни помидоры? — произнесла она обыденным голосом, словно бы Роза никогда и не уезжала из дому. — На загнетке стоит чугунок, там жаркое из молоденькой картошки. Взяла бы еще малосольных огурчиков. А вы, папаша, не могли ей подсказать?

— Что? — дед Мойша поверх очков недоумевающе взглянул на Маню. — Подсказать ей? Что она, маленькая или гость? Захочет, так сама все найдет.

— А-а, с вами говорить, все равно что в ступе воду толочь, — досадливо махнула рукой Маня и пошла было к печи.

Но Роза удержала ее:

— Мама, сядь. Что ты огорчаешься, мне вполне хватит помидоров.

Маня снова присела на стул. Потирая веки, она из-под пальцев взглянула на дочь:

— Надолго домой?

— Трудно сказать, — пожала плечами Роза. — Во всяком случае, с полмесяца побуду. А там посмотрим. В общем, как обстановка подскажет.

Рано овдовев, Маня, можно сказать, ради дочери тянула из себя последние жилы. И как же она горди-

лась, когда ее Роза в числе немногих девушек колонии поступила в институт. Разумеется, она ревниво следила за учебной дочерью. И сейчас беспокойство охватило ее.

— Что значит обстановка, что значит посмотрим? Институт что, распустил вас?

— Там теперь ничего не поймешь. Мы ведь почти месяц рыли окопы, а когда вернулись в город, то оказалось, что наши парни ушли в армию, а институт уже эвакуировался. Ну что нам оставалось делать? Часть девчат подалась вслед за институтом, некоторым удалось поступить на курсы медсестер, ну а остальные студентки, как и я, разъехались по домам.

— Если институт это... эвакуировался, зачем же ты приехала сюда? Поехала бы и ты...

— Мама, ну что ты говоришь! Как я могла куда-то поехать без тебя и деда!

— Э-э, дуреха ты, хоть и грамотная! — по-прежнему пристально поглядывая на дочь, словно изучая ее, сожалеюще вздохнула Маня.

С тех пор, как они не виделись, Роза сильно изменилась. Она похудела, загорела до черноты, но все равно была хороша, и красота ее очень беспокоила Маню. Ведь она пережила уже одну войну, помнила, как издевались над людьми, особенно над женщинами, германские оккупанты, деникинцы, петлюровцы и прочий бандитский сброд.

— Тебе обязательно надо было поехать вслед за институтом. Эх ты! — подавив вздох, снова укорила она дочь. — Ты вон какая выросла, студенткой стала, а умом — все равно что твой любимый дед. Ну да что теперь об этом говорить. Давайте спать. Я сегодня так намаялась, что даже есть не хочется. Завтра обо всем поговорим.

...Когда Роза проснулась, был уже день и в щели между слегка раздвинутыми рядами роился пыльный солнечный луч. Взглянув на ходики, мерно тикавшие на противоположной стене горницы, она сладко потянулась, засмеялась, чувствуя бодрящую легкость в отдохнувшем теле, и быстро встала с постели. Наспех проделала несколько гимнастических упражнений, оделась и прошла на кухню. Там, прикрытый вышитым рушником, на столе ее ждал завтрак. Роза умылась, убрала с тарелки рушник, поковыряла вилкой подрумяненную, теплую еще картошку, взглянула на мало-

сольные огурцы, но есть не стала. Взяла лишь большое красное яблоко, ломоть хлеба и вышла из дома. На крыльце, за обе щеки уплетая яблоко с хлебом, она постояла, неторопливо оглядела двор, палисадник, лоскут огорода, видневшийся между поросшим чертополохом погребом и клуней. «Все понемногу рушится, зарастает травой», — с щемящим сожалением подумала она.

Действительно, без мужского догляда подворье Рабинских заметно хирело. Местами уже изрядно обвалялся и без того низкий забор палисадника, на крыше клуни не хватало черепиц. Непомерно разрослись акация и вишневый. Их упрямые побеги не только густо подпирали ветви старых деревьев, но даже шагнули из сада далеко в огород. За погребом буйной чашей встали лопухи, бузина, крапива и паслен. Вырубить весь этот бурьян у матери, видно, не доходили руки.

Мать спозаранку ушла на работу, а деда Роза нашла за клуней. Надвинув ермолку на самые глаза, он сидел на перевернутом вверх дном старом ведре и грелся на солнце. На худых коленях, поверх замусоленного Талмуда, лежали его сухие подрагивающие руки. Отсутствующим взглядом уставясь на курицу, которая деловито рылась неподалеку в кучке перепревшего навоза, старик о чем-то глубоко задумался. Он даже не заметил подошедшую к нему Розу.

— Дедуня, когда мама придет с фермы? — спросила она, коснувшись его руки.

— Какая ферма? — повернул к ней голову дед Мойша и пожевал губами. — С фермы твоя мама уже давно пришла, но сразу и ушла. Она сейчас на окопах у Ногайской могилы. Все колонисты сейчас там... роют. С ума посходили вместе с этим заполошным Раскиным. Хэ, думают, что окопы спасут...

Он поерзал, покашлял и, подняв лежавший у ног костыль, стал концом его ковырять землю. Роза заметила, что за последнее время старик как-то особенно сильно усох, стал совсем маленьким. И, если бы не мочалистая борода, белым ручейком стекавшая с костистого, усыпанного крупными коричневыми веснушками лица, издали его можно было бы принять за мальчишку. Жалость к деду охватила Розу. «И телогрейка на нем, и валенки, а руки все равно что ледышки. Господи, он совсем одряхлел», — подумала она и, нагнувшись, ласково погладила его щеку, поцеловала руку.

Дед Мойша удивленно вскинул на нее выцветшие глаза, но ничего не сказал.

— Дедуня, я сбегая к маме, а? Ты не обидишься?

Старик помолчал, почмокал губами, словно бы что-то смакуя.

— Конечно, коза, беги. Что тебе сидеть со мной? Еще заскучаешь. Хотя окопы рыть тоже не очень-то веселое дело, но все-таки там люди. Тебе там будет интереснее. Беги, беги...

Роза направилась в дом, нашла поношенное платье матери, быстро переделась и, прихватив из клуни лопату, торопливо пошла со двора.

С восточной стороны Трехкутной, примерно в полукилометре от нее, Ингул вдруг круто виляет вправо, разрезая там плавни почти на две равные половины. У деревни Бирзалово, расположенной на другом берегу, река немного распрямляется, образуя широкий плес, а дальше к югу, к Днепровско-Бугскому лиману, снова будто бы испуганно шархается из стороны в сторону. Возле колонии, у самого кривуна, с давнишних времен через Ингул переброшен неширокий каменный мост. Он один на всю ближайшую округу, и к нему отовсюду сбегаются немеренные степные дороги: с Кировограда и Николаева, Одессы и даже из далекой Бессарабии. Трехкутновский косогор нависает над этим мостом и над плавнями шишковатым лбом и с военной точки зрения имеет весьма важное значение. Во всяком случае, такого мнения были и командир созданного в Батаншевском районе истребительного батальона по борьбе с диверсантами, начальник райотдела милиции Шибко, и командир истребительного отряда колонии, бывший буденовец Файвл Раскин, и председатель Трехкутновского сельсовета Степан Костюченко. Это по их настоянию колонисты стали рыть через весь косогор противотанковый ров трехметровой ширины.

Роза прошла большой, весь в овечьих оческах и гусятых перьях выгон, затем обогнула приткнувшееся на краю его старое кладбище и тотчас же увидела бугрившуюся невдалеке желтоватую свежую песчаную насыпь. Она начиналась у плавней около моста и пролегла через весь косогор, перпендикулярно лежавшей по другую его сторону железнодорожной колее. Очевидно, колонисты копались здесь уже не первый день, ибо ров

на всем своем протяжении был вырыт в глубину больше чем на метр.

Отыскивая мать, Роза неторопливо шла вдоль осыпающейся бровки рва. Она приглядывалась к работающим односельчанам, останавливалась, чтобы коротко поболтать с одними или поздороваться с другими. Некоторых девушка с трудом узнавала. И неудивительно. Время бежало, детишки становились подростками, а недавние подростки вступали в юность. Были здесь также беженцы из Бессарабии и немало своих же колонистов, в разное время подавшихся на жительство в Херсон, Николаев, Кировоград, а теперь решивших почему-то вернуться в родное село.

Мать Роза отыскивала в дальнем конце рва, неподалеку от железнодорожного полотна. Почти не нажимая на лопату, легко вонзавшуюся в песчаный грунт, она, как заведенная, копала рядом с худенькой женщиной и рослым крепким подростком. То были их соседка Лия Дудинская и ее младший сын Данька.

— Доброе утро, тетя Лия! Данька, здравствуй! Ух, какой ты вымахал, прямо жених! — опираясь на черенок лопаты, улыбалась Роза. — Ну что, мне найдется место?

— Здесь всем хватит места, — распрямляясь и потирая занемевшую поясницу, невесело усмехнулась Лия, не подозревая даже, что ее случайно сказанные слова окажутся зловеще-пророческими. — Сигай сюда, все какая-то помощь будет. А то мы уже замучились с этой проклятой канавой. Хэ, придумали рыть какую-то яму. Кому она нужна! Вот, может быть, только затем, чтобы зарыть в ней Гитлера вместе со всей его гоп-компанией.

Лия присела, стянула косынку с головы и, встряхнув ее, вытерла покрасневшее потное лицо. Устало прислонилась разгоряченной спиной к откосу рва и Маня. Лишь Данька, хмуря тонкие брови, продолжал усердно копать.

Роза прыгнула в ров и, переговариваясь с Лией и матерью, исподтишка все поглядывала на Даньку. Он действительно сильно порос за последние два-три года: вытянулся, стал шире в плечах. Высокий, смуглолицый в отца и синеглазый в мать, Данька и удлиненным красивым лицом, и гибкой фигурой был теперь очень похож на Илью, с которым Роза десять лет проучилась, сидя за одной партой, и с которым у нее уже

с девятого класса были не просто приятельские отношения...

Немного передохнув, женщины снова принялись за работу. Роза встала около Даньки.

— Ну-ка, молодой человек, подвинься, — слегка поддав парня плечом и тем немало смутив его, сказала она. — Вот так... Ну, поехали!

8

После ускоренной трехнедельной подготовки вновь сформированный стрелковый полк, в который попало большинство мобилизованных трехкутновцев и в их числе Наум Дудинский, темной июльской ночью спешно погрузили в вагоны, и лишь перед рассветом длинный эшелон, для маскировки обвешанный полусохшими ветвями акаций и кленов, покинул станцию Водопой близ Николаева. Колонисты по-землячески кучно заняли три теплушки. В вагоне, где находился Наум, не смолкал гомон. Разговор, словно костер из сырых полешек, то почти угасал, то разгорался с новой силой. А будоражил всех щуплый сутуловатый Хаим Геллер, отец семерых детей. Подтянув острые коленки к худому, плохо выбритому подбородку, он сидел у края свеженастанных нар и, будто китайский божок, медленно и методично раскачиваясь из стороны в сторону, громко стонал:

— Ой-вей, как там моя Дора с детишками! Господи боже мой, что же теперь с ними будет!

— Ну что ты скулишь, как собака на хмарный месяц! Что ты за клятый человек такой! — тотчас же за вздохами Геллера раздавался сердитый голос Ефима Шустера.

Шустер и Геллер — закадычные друзья с детства. Они даже в жены взяли двух сестер. Но теперь, когда собственная душа переполнена горечью, нытье шурина раздражало Ефима.

— Уснул бы, — стараясь не злиться, уговаривает он Геллера. — Что ты заладил: Дора да Дора! Хочешь знать, что с ней сейчас, так я тебе поясню. Дора сейчас в колхозе за себя и за тебя отдувается, вот что она делает, понял? И, пожалуйста, замолчи.

Геллер ненадолго стихает, молча покачивается, потом все начинается сначала.

А от раскрытой двери вагона слышится мягкий украинский говорок долговязого Микиты Яхника:

— Интересно бы знать, наши остановили немца у Днестра чи отступили дальше? Я слышал, будто сам Тимошенко командует там войсками. Это правда, чи люди брешут?

Яхнику никто не ответил, ибо про обстановку на фронте другие колонисты знали не больше его. Покурив, Микита уже молча полез на нары...

Не спалось и Науму. Слушая вздохи и стечения Геллера, он припоминал его непоседливую, шумливую ребячью ораву и сочувственно размышлял: «Мда-а, если это дело затянется, то кому-кому, а его Доре действительно достанется на орехи. Да и моей Лие тоже придется несладко. Война — препоганая штука».

Тревожно на сердце у Наума. Думы о семье, о мыкающемся где-то старшем сыне напрочь гонят сон. Поворочавшись с боку на бок, он слез с нар, сел у двери, свесил ноги, туго спеленутые новыми обмотками, и, рукой придерживаясь за косячный брус, слегка высунулся наружу. Паровоза не было видно. Он угадывался лишь по искристым брызгам, выдыхаемым впереди состава в чернильную темень. А мимо все текла и текла уснувшая степь. Временами назад уносились станции, разъезды, путевые строения, и вскоре их проглатывала ночная мгла.

На какой-то станции эшелон внезапно притормозил. Наум тотчас же спрыгнул на землю, глянул в сторону паровоза. По чуть видимой тени человека, завозившегося на еле освещаемом тендере, он догадался, что машинист решил пополнить запасы воды. Значит, можно несколько минут походить, поразмять ноги. Наум закурил, прошелся взад-вперед у вагона, пытаясь определить станцию, на которой они теперь стояли. В какой-то момент ему показалось, будто он опознал в черной наволочи очертания массивного яворновского элеватора. От мысли, что до дому всего-то пару часов ходу, у него перехватило дыхание. Но он тут же усомнился в своем предположении, ибо подобные элеваторы стоят и на других станциях, а по времени их эшелон должен был уже промахнуть Яворное.

Состав тронулся тихо, без гудка. Наум забрался в вагон и снова присел у двери. И опять потянулась степь. Она по-прежнему была скрыта ночной мглой, но он ощущал ее по теплему духу земли, по горьковатому

привкусу полыни на губах. Разморенная дневным зноем, степь теперь крепко спала. И глядя в пахучую темень, Наум не хотел верить, что где-то мир может быть уже иным, что, как и в четырнадцатом году, землю распинаят полчища солдат, что она обожжена, перепахана снарядами.

Но еще раз увидеть истерзанную войной землю Науму не довелось. На восходе солнца, когда он уже уснул, у большого железнодорожного узла Вознесенск их эшелон попал под бомбежку.

На утренней зорьке сон особенно глубок. Крепко спали в вагонах и колонисты. Наум проснулся от мощного толчка, сбросившего его с нар. Оглушенный и растерянный, он еще увидел ослепительную вспышку у самой двери вагона. И все. Страшная сила поставила теплушку торчком, расколола ее и швырнула с насыпи в росную траву...

9

Капитан Букарев уводил на восток остатки роты и приставших к ней бойцов, по разным причинам отбившихся от своих подразделений. Избегая оживленных дорог и открытой местности, большей частью двигались ночами. Уносили с собой раненых товарищей, кое-какое снаряжение, боеприпасы и поэтому передвигались медленно. После боя с немецкими танками и автоматчиками вблизи границы рота уже вторые сутки не встречала своих частей и не сталкивалась с противником. Шли будто по ничейной земле, охваченные тревогой и горечью потерь.

За час до рассвета, когда на пути встретилась безымянная степная речушка с негустыми кустами тальника по более высокому правому берегу, Букарев разрешил устроить привал, намереваясь с восходом солнца перебраться в ближний лесок и там переждать день.

Ноги у капитана гудели от усталости, в голове стоял непроходящий звон, а глаза пощипывало так крепко, словно бы в них насыпали по доброй щепоти песка. Но, пересилив утомленность, он присел, достал карманные часы и щелкнул крышкой. Стрелки показывали половину пятого. Надо было поднимать бойцов. Однако Букарев еще посидел, помял припухшие веки, поглядел на спящих. Уткнув лицо в волглую, потемневшую от

росы пилотку, в нескольких шагах от него лежал на животике политрук Дудинский. По-детски свернувшись калачиком, прикорнул лейтенант Кутумов. Спина к спине спали сержант Демиденко и пулеметчик Журавлев. В ногах у них сидя дремал старшина. Дальше, как шли колонной по трое, так и повалились в траву остальные бойцы и командиры. Сон сморил всех. Лишь изредка чуть слышно постанывал кто-то из раненых.

Неукоснительно придерживаясь правила при любых обстоятельствах свежо и бодро выглядеть в глазах подчиненных, Букарев, тихонько покряхтывая, поднялся и пошел к речке. Подвернув воротник гимнастерки, он успел помыть шею и раза два плеснуть себе в лицо теплой, как парное молоко, водой. И тут его окликнули:

— Товарищ капитан, надо играть побудку!

Букарев живо обернулся. На том месте, где он только что отдыхал, стоял прибежавший с охранения сержант Аболин.

— В чем дело? — обтершись носовым платком и на ходу застегиваясь, поднялся к нему Букарев.

— Танки, товарищ капитан! Уже близко отсюда, — все еще не отдышавшись после бега, сообщил Аболин и ткнул рукой в сторону холмистого гребня, чуть синеего сквозь прозрачную кисею тумана. — Они вон там, за увалом.

— Много? — не теряя выдержки, спросил Букарев, переводя взгляд с оставленной Аболиным росной тропки в логу на спящих бойцов.

— Определенно трудно сказать, товарищ капитан, — опуская глаза, ответил Аболин. — Из-за тумана трудно подсчитать. Но колонна большая. И похоже, идет этим летником.

— Где Фаткулин?

— Следом бежит.

— Добро.

Но было явно не до добра. Неожидавшее появление немецких танков здесь, казалось бы, в глухой степи, сводило на нет его задумку, все его старания выйти к своим. Букарев сожалел, что, поддавшись слабости, он разрешил устроить привал у речки. «Надо было все же подналечь и дотянуть до лесочка, — мгновенно взвесив все свои шансы на успех предстоящего боя, по сути, ничтожные, сказал себе ротный. — Но упущенное не вернешь, и, значит, так тому и быть. Значит, сделаем и тут все, что в наших силах».

— Ну что же, сержант, — затянув потуже ремень, он поднял с земли фуражку, надел ее и за козырек натянул на самые брови. — Давай поднимать роту. Быстро!

Короткий, хлесткий выкрик Аболина: «Подъем! Немцы!» — моментом вскинул бойцов.

— Занять оборону! Раненых вниз, под берег! — энергично скомандовал Букарев.

Страхивая остатки сна, бойцы стали укрываться за бугорками, располагались в неглубоких буераках, по весне оставленных бурливыми ручьями, торопливо расширяли саперными лопатками заброшенные сурчиные ямы, благо песчаная почва на берегу была податливой. Старшина и несколько красноармейцев уносили под берег тяжелораненых.

Туман, уже прошитый первыми лучами солнца, начал подниматься и постепенно таять, и вскоре стало видно, как из-за размытого расстоянием увала неспешно вывернулись два легких танка. Прошло еще несколько минут, а полевую дорогу, вихлявшую в разливе трав, по-прежнему утюжили только эти две вражеские машины, и бойцы уже облегченно вздохнули. Кое-кто даже прошелся ершистым словом по адресу находившихся в охранении Аболина и Фаткулина. Но надежда легко отдалаться оказалась преждевременной: из-за увала в ложину скатывалась колонна тяжелых танков, бронетранспортеров, грузовиков, и количество их действительно было трудно подсчитать.

Разглядывая в бинокль походный порядок противника, Букарев негромко говорил прилегшему рядом Илье:

— Мне думается, немцы неспроста избрали именно эту полевую дорогу, хотя в нескольких километрах отсюда есть прекрасная бетонка. За этим что-то кроется. Но что? Возможно, это маневр с последующей целью обхода Кишинева? Во всяком случае, для нас самое важное теперь — задержать колонну. Пусть не надолго, но задержать.

Илья согласно кивнул. Давно заприметив окоп Журавлева, он поднялся и, низко пригибаясь, руками почти касаясь земли, перебежал к нему. В промоине, слегка расширенной и углубленной, Журавлев спешно готовил связку гранат и поглядывал на приближающиеся танки. Он видел их отполированные траки, покачивающиеся от тряски стволы пушек и, как и в первом бою, ду-

мал с бессильной горечью: «Сволочи! Идут, как по собственной земле».

Илья приготовил вторую связку, отвел от лица ключие ветки разросшегося здесь шиповника и чуть высунулся из промоины. И тотчас же на отлете, в нескольких саженях от их укрытия, в землю с легким фуфыканьем врезались пули.

— Поберегитесь, товарищ политрук! — вскрикнул Журавлев и за рукав сильно потянул вниз Илью.

Но тот и сам уже поспешно пригнулся.

— Засекли, гады! — хрипло сказал он.

— Ага! Во-он, из переднего танка по вас сыпанули, — подтвердил Журавлев и, спокойно нажав на гашетку пулемета, дал очередь.

— Разве пулями прошибешь этикие махины? — повернувшись к Журавлеву, укоризненно промолвил Илья. — Не трать попусту патроны!

Когда же Илья снова взглянул на ложину, сердце его радостно екнуло: один из средних танков, очевидно, шедший вначале дозором, а теперь двигавшийся сбоку тяжелой головной машины, вдруг замер. Можно было подумать, что он с ходу наткнулся на какую-то невидимую преграду. Спустя минуту танк рванулся, прокатился еще несколько метров и, окутываясь клубами черного дыма, остановился уже окончательно. Значит, пули, выпущенные Журавлевым, угодили в топливный бак вражеской машины и сделали свое дело.

Улыбаясь, Илья взглянул на обветренное, покрывшееся мелким потом лицо Журавлева. Оно было какое-то удивленное. Видно, ему самому еще не верилось в редкую удачу. Тыльной стороной руки вытирая пот, Журавлев хотел было что-то сказать, но в этот миг рядом чудовищно загрохотало. Они едва успели пригнуть головы, как взрывной волной огромной силы их буквально притиснуло к дну окопа. Сверху на спины им посыпались комки земли, песок, листья шиповника, с корнями выдернутая трава.

— Журавлев, живой?

— Живой покуда, — мотнув головой, отозвался боец, чуть приподнялся и поставил на место сдвинутый взрывной волной пулемет.

Отряхнувшись, преодолевая легкое головокружение, Илья поглубже натянул пилотку и снова чуть высунулся из промоины. Увиденное словно бы обручем сдавило грудь. Непостижимо быстро рассредоточившись, тан-

ки уже на полной скорости неслись к речке. Между ними и позади, в поднятой гусеницами легкой пыли, мелькали серо-зеленые фигуры бегущих автоматчиков.

— Вот теперь только начнется! — сползая вниз, произнес Илья и мысленно соизмерил расстояние до немцев и время, за которое они докатятся до речки.

Какой-то танк, шедший позади остальных машин, снова пальнул из пушки. Скрежет низко пронесшегося снаряда сотряс воздух. И хотя он взорвался где-то далеко за промоиной, земля так задрожала, словно бы ее намеренно раскачали. Следом лопнул еще взрыв и еще... Видно, немцы пустили в ход минометы, и весь берег, распушившись черными султанами, загудел, будто огромный колокол.

На правом фланге, у лейтенанта Кутумова, наши бойцы одну за другой кинули дымовые шашки, и по стонущей от разрывов земле забурилась, растекаясь, сизо-черная завеса. Невесть откуда сорвавшимся ветерком на промоину нанесло дым, и он на какое-то время скрыл немцев. А когда дым начало относить к речке, Илья скорее почувствовал, чем увидел наползающую на их окоп стальную махину.

Этот танк тоже подбил Журавлев. Привстав на колесо, он спокойно, даже расчетливо, как, впрочем, поступал всегда, сильно и точно швырнул вторую связку гранат. Она угодила под гусеницу. Раздался взрыв, вроде бы и не сильный, но трак, расшиваясь, пополз по земле блестящей змеей.

— Ага, в бога... в душу мать! — хрипло матернулся Журавлев. — Рассупонился, гад!

Но радоваться было некогда. Из-за подбитого танка медленно, словно бы принохиваясь, вывернулась другая машина, потом еще одна, между ними, чуть сгибаясь, бежали автоматчики, и Журавлев припал к пулемету.

— Давай, брат, крой их! — одну за другой швырнув в совсем уже близких автоматчиков гранаты, закричал Илья и тут же почувствовал тяжелый удар в плечо.

«Черт, зацепило!» — прикусил он губу.

Пулемет вдруг перестал татакать, и Илья тревожно крикнул:

— Журавлев, почему не стреляешь?

Но тот, сноровисто заправив ленту, уже нажал на гашетку, длинной очередью прошивая набегающих нем-

цев. Схватив гранату, Илья зубами выдернул предохранитель и швырнул ее в танк, прямо в желтый крест на его корпусе. Взметнулся черно-рыжий сноп огня и дыма, у замершего танка с грохотом откинулась крышка люка, и в нем показался немец в черной пилотке. Илья вновь нагнулся за гранатой, и в эту секунду перед промоиной вскинулась земля, от страшного взрыва куст шиповника подскочил, затем будто прыгнул на него и тут же куда-то провалился.

10

Первое, что почувствовал Илья, когда очнулся, было яркое, слепящее глаза солнце. Он попытался было отвернуть от него лицо, но голова не повиновалась ему. Илья прикрыл веки и, пробуя присесть, слегка оперся на руку. Резкая боль огненной нитью прошла левое плечо и затылок, и он снова потерял сознание. Вскоре, однако, придя в себя, Илья неимоверным усилием оторвал спину от земли. Голова казалась ему ужасно тяжелой и ходила кругом. Было такое ощущение, что кто-то уселся ему на плечи и ударом молота раскалывает голову на части. Жгучая боль теперь была и повыше пояса. Там словно бы торчал огромный гвоздь.

Когда шум в голове немного поутих и земля перестала кружиться, Илья, с трудом поворачивая шею, огляделся. Уже не рвались мины, не свистели осколки, не вздрагивала земля. Рассосались, истаяли и аспидно-черные лохмы смрадного дыма. Берег вблизи был изрыт воронками и изжеван гусеницами. Над неподвижными, обгорелыми немецкими танками тонкими цевками вилюжился чадный парок. Подальше, почти у самой воды, тоже обгоревшие, стояли два грузовика. И всюду, между танками и вокруг них, лежали трупы. Куда только достигал взгляд Ильи, виднелись тела убитых, своих и немцев. И стояла знойная тишина. Тишина до звона в ушах.

Еще не целиком очнувшись, Илья все же сообразил, что бой давно уже закончился и он, наверное, один оставшийся в живых в этом большом знойном пространстве. Да, он был жив, и это побуждало его думать о том, как ему быть дальше. Решение могло быть только одно: незамедлительно двигаться на восток. Илья попытался было встать на ноги, но удушающая тошно-

та, подступившая к горлу, кинула его на землю лицом вниз. Он еще полежал несколько долгих минут, затем, больше уже не пытаясь подняться во весь рост, встал на четвереньки и пополз.

Речушка была неглубокой, но дно ее оказалось илистым, сплошь в отмерших острых ракушках, и пока Илья перебрался через нее, он в кровь порезал пальцы и ободрал колени. Но нет худа без добра. Вода, хоть и теплая, все же освежила его, и Илья почувствовал себя намного лучше. Голова уже не кружилась так сильно, и исчезла муть, временами застилавшая глаза: Ослаб и звон в ушах. Даже боль в плече и позвоночнике, казалось, слегка поухнула. Ощупав себя и убедившись, что документы на месте, а пистолет как был, так и лежит в кармане брюк, Илья снова двинулся за своей медленно ползущей тенью.

Он долго тащился на четвереньках. Полз, пока не выбился из сил. У мелкого оврага, заросшего редким жестким полынком, Илья прилёг отдохнуть. Вытер с лица зернистый пот, из-под ладони взглянул на солнце. Будто оплавленное от своего собственного жара, оно уже клонилось к закату.

Отдохнув, почувствовав себя чуть получше, он снова попытался подняться. Сначала Илья присел, затем, здоровой рукой опираясь о землю, встал. Постоял, покачиваясь, и спотыкающимся шагом побрел дальше в степь. Временами, широко расставляя ноги, чтобы не упасть, он оглядывался назад. Илья понимал, что немцы сейчас не только позади него, но и впереди. Однако ему все мерещилось, что только оттуда, откуда он уходил, его может настигнуть вражеская пуля.

Время близилось уже к полуночи, когда Илья неожиданно выбрался к какому-то селению. К этой поре небо очистилось от дневной наволочи, посветлело, украсилось искрящимися жемчужинами звезд. Показался пологий месяц, и в поредевшей зеленоватой мгле Илья разглядел долину и на другой стороне косогора, во всю его длину, графитно-четкие силуэты тополей и хат. Понимая, что где-то поблизости к селу наверняка пролегла дорога, он, резко приняв в сторону, примерно через полчаса начал осторожно спускаться к крайним дворам.

Еще через несколько минут, из-за ивового плетня понаблюдав за погруженной в крепкий сон улочкой, Илья рискнул постучать в синюшное окошко некази-

стой саманной хатенки, стоявшей немного на отшибе от других домов. Дверь долго не отпирали, и притаившийся за углом Илья подумал было, что хата покинута хозяевами. Но вдруг, тихо заскрипев, дверь отворилась, и в черном проеме ее размывчато забелела невысокая женская фигура. Привалась к косяку, вытянув шею, женщина вроде бы безбоязненно вглядывалась в темень. Она подождала немного и, никого не увидев, повернулась, чтобы закрыть дверь. Тогда Илья негромко окликнул ее:

— Подождите, не уходите, пожалуйста! Вы можете выпустить меня в дом хоть на пару часов?

— Ой, лышенько! — услышав мужской голос, вскрикнула она и стыдливо укрылась за косяком. — Кто вы?

— Не бойтесь, свой. — Илья подошел к низкому крыльцу. — Раненый я.

— Раненый? Червоноармиець? — быстро переспросила женщина и, снова выглянув из-за двери, опасливо посмотрела по сторонам. — Заходите у хату. Швыдче! Швыдче!

Она торопливо втянула Илью в сени, еще разглянула во двор, закрыла дверь, задвинула засов и, взяв неожиданного пришельца за руку, повела в дом. Женщина усадила его на лавку в темной кухне, не зажигая света, прошлепала босыми ногами в другую комнату, там расторопно надела юбку и, вернувшись, шепотом спросила, куда он ранен. Потом сказала, чтоб он снял гимнастерку, достала из печи чугунок еще теплой воды, на ощупь ловко обмыла и перевязала ему рану в плече. По-прежнему в потемках увела Илью в горницу, стянула с него сапоги и уложила на кровать.

Забывшись Илья ненадолго, сон его был тревожным. В чуть забрезжившем за окном свете контуры комнаты проступали еще слабо, и все же он разглядел, когда проснулся, круглый столик, две большие рамки с фотографиями на стене, а между ними, убранный рушником, портрет пожилой крестьянки. Нависая над столиком, темным суровым ликом хмурился в углу горницы иконописный угодник. Возле кровати на табурете, аккуратно свернутая, лежала гимнастерка Ильи.

Голова у него уже не гудела, утих звон в ушах, но болевая рана в плече и так сильно ныло все тело, словно бы на нем долго и старательно молотили горох. И все же Илья встал, обулся, морщась, натянул гимнастер-

ку и, пройдя к окошку, стал разглядывать заросший травой двор, сизевший бисерным налетом росы.

Хозяйка, вероятно, тоже уже поднялась или вовсе не ложилась. Услышав шаги Ильи, она вошла в горницу.

— Доброго вам утречка! — поздоровалась она негромко, со свойственной украинской речи певучестью. — Ну, как спалось? Полегчало немного?

Голос у нее был грудной, низкий и мягкий — первый признак кроткого характера. Заплетая конец толстой темно-каштановой косы, она приветливо смотрела на Илью большими черными глазами.

— Спасибо! — поспешно и отчего-то смутившись, ответил он. — Не знаю, как вас отблагодарить.

— Ну что вы! Мы же свои люди! — отмахнулась она как от чего-то нестоящего, мелочного и, тоже смущаясь, слегка опустила голову. — Теперь надо подумать, как нам быть дальше, бо в селе полно немцев, хай им грець!

Про себя Илья с удовлетворением отметил это «нам», вольно или невольно произнесенное молодой женщиной. Это могло означать, что до какой-то определенной поры он будет под ее опекой. Но тут же перед ним встал вопрос: а вправе ли он злоупотреблять ее добротой? «Мне уже гораздо легче, — подумал он, — так что надо двигать дальше».

— Тут и гадать нечего, — придя к такому решению, сказал он, присев на край кровати. — Вы разрешите мне только переждать до вечера. А как стемнеет, я сразу же уйду.

Женщина усмехнулась:

— Куда же вы такой слабый пойдете? Нет, вам надо еще передохнуть, набраться сил. Когда трошки поздоровеете, вот тогда и пойдете дальше. А пока живите у меня..

— А если немцы сюда нагрянут? — спросил Илья.

— Тю-ю! — искренне удивилась хозяйка дома. — А что им делать у меня? Не-е, бог милостив, как-нибудь обойдется. Но на всякий случай мы вот что сделаем: вы сейчас же снимите свою армейскую одежду, особенно сапоги и рубашку с от этими кубиками, и надейте нашу, деревенскую. Тогда, если придется, мы скажем, что вы это... мой муж. — Она вдруг покраснела и поспешно добавила: — Будете Михайлою Датюком. Запомните? Ну, а меня зовите Ганною... Так я сейчас

принесу одежду. Переоденетесь, потом позавтракаем. Хорошо?

Вскоре, надев узкую, жмущую под мышками линялую сатиновую рубашку и коротковатые штаны, заправленные в изрядно разбитые юфтовые сапоги, Илья уже сидел за столом на кухне, боком к окошку, рдеющему ярким светом всходящего солнца. На желтой выскобленной столешнице лежал нарезанный большими ломтями хлеб, стояла глиняная чашка с картошкой, миска со сметаной и крынка молока. Илья сильно проголодался, и ему не терпелось начать есть. Но хозяйка зачем-то вышла во двор, и он ждал ее.

— Ваших погна! — неслышно встав на пороге, громким шепотом сообщила она.

— Наши, пленные? — резко поднялся Илья. — Откуда они тут взялись? Куда их?

— Хиба ж я знаю? — из-под пушистых ресниц глядя на него встревоженными глазами, ответила она. — Куда-то погна!.

Илья кинулся к двери, остановился, круто развернулся, подошел к окну. Про еду он забыл. Он вдруг почувствовал себя так скверно, так неприкаянно, словно бы сорванный с ветки и гонимый пронизывающим осенним ветром лист...

11

Прошла неделя. Как-то Илья забрался по приставной лестнице на чердак хаты, приник там к небольшому овальному оконцу фронтона и долго неотрывно глядел в мглистую дымку, окутавшую далекий оком. За раздумьями он не замечал тихой прелести опускавшегося на землю вечера — ласкового и полного какой-то умиротворенной грусти. Солнце медленно опускалось за размытую синеву горизонта. Последние лучи его, застряв в купе облаков, окрасили их в причудливые тона. Ближе к земле облака бархатно рдели, а поверху они липли к зеленоватому небосклону нежно-бордовыми краями. С улицы, освобождающейся от дневной суеты, на чердак проникали смешанные горьковато-пресные запахи пыли, вянущей полыни и сгоравшего в топках кизяка. Долетал туда и приглушенный расстоянием гул немецких машин и другой техники, проходившей через село, и со всем этим отдаленным шумом как-то стран-

Из хаты они вышли, когда уже перевалило за полночь. Было тихо и тепло. Село, казалось, спало глубоким сном. Собаки и те уже не брехали, не стерегли по обыкновению разбойную темень. Вокруг все безмолвствовало. Только в саманном сараюшке, вероятно, с вечера плохо пристроившись на насесте, возилась, испуганно вскудахтывая, курица да ветерком наносило урчание автомашины, работавшей на холостых оборотах где-то в центре села, у немцев. Крутые потемки затопили долину, и лишь на востоке, на противоположном склоне косогора, мерцал слабый зеленоватый полусвет.

Несильные дуновения предутреннего ветра ласково перешептывались с кустами сирени в палисаднике да шебуршали уцелевшим прошлым годом бурьяном по другую сторону низкого ивового плетня.

Привыкая к темноте, прислушиваясь, Илья с Ганной постояли у двери. Не заметив ничего подозрительного, они, то и дело натываясь на вымахавшие уже по плечи крепкие стебли кукурузы и подсолнуха, огородом спустились в лощину, перебрались через неглубокую сухую балку и, торопясь, поднялись на противоположную сторону косогора. Переводя дух, постояли. Ганна повернулась к селу, незаметно перекрестила грудь, вздохнула:

— Вот и все... Ну, пошли. Вот этою стежкой и пошаем.

В основном они шли ночами. Ориентируясь по звездам и каким-то одной лишь Ганне известным приметам, они двигались на восток — от леса к плавням, от плавней к балкам, даже в темени избегая дорог и населенных пунктов. За несколько дней пути Илья убедился, что Ганне действительно хорошо знакомы эти степные места.

В детстве, оставшись круглой сиротой, она из милости жила в семье троюродного брата своей матери, богатого и скарёдного бессарабского скотопромышленника Лукреция Бостанику. Отрабатывая горький свой хлеб, Ганна уже с десяти лет помогала его гуртоправам и чабанам перегонять большие стада яловок и быков, отары овец, по ничтожным ценам закупленных у крестьян глухих степных сел и хуторов. За годы батрачества у дяди она побывала на ярмарках и скотобойнях захолустного тогда Елисаветграда* и шумной Одессы,

* Елисаветград — теперь Кировоград.

рабочего Николаева и утопающей в садах Винницы. Знала она и тихий Тирасполь, и по-деревенски застроенный Херсон, и дымный, набирающий промышленную силу Днепропетровск. Когда окрепшая Советская власть прижала дядьку и его компаньонов по грабительским сделкам, перекрыла все лазейки их нечестных барышей, Бостанику сумел перебраться в правобережную Бессарабию, в то время находившуюся под властью королевской Румынии. Осел он с семьей в селе Христиновка. Там он и поспешил спихнуть с рук ставшую ненужной ему Ганну — выдал ее замуж за великовозрастного сына своего давнишнего приятеля и партнера Гната Дятюка. Потом в правобережную Молдавию пришла Советская власть и вновь спугнула Лукреция Бостанику. Он с семьей, муж Ганны Михайло Дятюк, ее свекор и еще несколько христиновских богатеев бежали за кордон. А Ганна осталась одна. Ей не к чему было ехать за кордон...

В дороге Илье и Ганне приходилось туго. Они питались лишь солоноватой брынзой да сухарями, прихваченными Ганной из дому. Зачастую у них не было воды. Правда, изредка они отваживались заглянуть на колхозные баштаны или сады. Но те в большинстве случаев уже до них были опустошены немцами.

Несмотря на тяготы пути, Илья окреп, заметно набрал силы. У него прекратились головокружения и тошнота, исчезла боль повыше поясницы, понемногу зарубцовывалась рана в плече.

Как-то к вечеру собралась гроза. Мучнисто-дымчатая тучка, вначале крохотным мазком возникшая на горизонте, начала непостижимо быстро разрастаться, лохматиться. Вскоре она уже затянула весь небосклон. Ее причудливые контуры, меняющиеся на глазах, злое еще пламенели в лучах закатного солнца. Сразу куда-то подевались незадолго до этого пластавшиеся над самой землей шустрые короткохвостые полевые ласточки. Скрылись воробьи, голосистые жаворонки и крикливые галки. Попрятались суслики и ящерицы. Степь опустела, притаилась. Стало быстро темнеть. Предвестник надвигающейся грозы — легкий ветер спешно подметал все окрест. Под его суетливыми порывами гнулись отцветающий ковыль и грубеющий овсюг, таился по балкам прошлым годом курай. Ветер ненадолго споткнулся на широкой лесополосе. Ударившись о нее, он закачал кроны деревьев, ободрал с ветвей усыхающие

листья. Но сокрушить какое-либо дерево или обломить хотя бы ветвь ему, легковесному, было не под силу, и тогда он сорвал зло на подвернувшейся копешке соломы. Штопором взвихрив ее в погрузневшее низкое небо, ветер отнес копешку на другой конец поля и там швырнул на бурьянистую межу.

Наступающая гроза спугнула и Илью с Ганной, весь день хоронившихся в лесополосе. Подхватив свои отошавшие торбы, они через сжатое поле и тянувшийся за ним нетронутый целик побежали в густеющую темень, туда, где еще днем приметили скраденные далью размывчатые контуры каких-то пятен: не то купы деревьев, не то скирды соломы, не то строения на гумне или полевом стане.

Ветер умчался, и исчезнувшая было духота снова придавила землю парной тяжестью. Стало немогоду идти даже неторопким шагом. И вдруг степь словно бы оцепенела в мгновенном мертвенно-синем озарении. Из конца в конец низкое небо лизнула гигантская зелено-ватобледная молния, и следом, ахнув, над степью покатился оглушающий гром. Казалось, будто срезанная молнией очугуневшая туча начала падать, увлекая за собой и часть неба. Вскоре опять потянуло прохладой, пресно запахло землей и совсем рядом зашумел ливень.

— Ну, Ганна, держись! — все убыстряя шаг, инстинктивно оглядываясь на гудящую позади них завесу дождя и совсем не опасаясь, что кто-то может их здесь услышать, весело крикнул Илья. — Сейчас он нас пополощет!

— Ой, не могу больше! — рукой хватаясь за бурно вздымающуюся грудь, с придыхом, но тоже весело ответила она. — Все, сейчас упаду! Сил больше нет... бежать...

А Илья все поторапливал ее. В очередной вспышке молнии он опять увидел давешние пятна. Только теперь они проступили угольно-четко, совсем уже близко.

— Ганна, ну еще немного! Давай, поднажми! Может, успеем добежать до этих чертовых скирд!

Но Ганна, выбившись из сил, уже еле плелась. И тогда Илья, схватив ее за руку, увлек вперед.

Увиденные ими пятна оказались овечьими кошарами. Между ними серела небольшая мазанка чабанов. Добежав до нее и толкнув дверь в пристроенный дощатый тамбур, Илья едва успел втащить в него Ганну, как тотчас же по стенкам и соломенной крыше их убе-

жища крупной дробью забарабанил дождь. Через минуту он уже лил сплошным шумным потоком.

Отдышавшись, они прошли из тамбура в мазанку. В частых сполохах, изнутри освещавших хибару, они разглядели небольшую плиту, трое нар вдоль стен, стол, для устойчивости врытый в земляной пол, да несколько табуреток. На одних нарах, должно быть, забытая впопыхах, лежала толстая валяная полсть*. На столе, попахивая пролитым керосином, валялся опрокинутый фонарь «летучая мышь». Тут и там по полу были разбросаны помятый жестяной чайник, поломанная гырлыга**, какое-то тряпье. Чабаны, ясное дело, ушли отсюда поспешно...

Илья с Ганной уселись по разным нарам. При каждой вспышке молнии Ганна испуганно вздрагивала, обмахивалась мелкими крестиками и что-то шептала. Но когда мазанка вдруг озарилась неестественно ослепительным светом и следом где-то рядом лопнул гром, да так гулко, что задребезжали стекла окошка и со стола со стуком скатился фонарь, Ганна, громко ойкнув, сжалась в комочек. Тогда Илья подошел к ней, секунду постоял, колеблясь, потом сел рядом и крепко прижал ее к себе. Она его не оттолкнула...

Гроза между тем утихала. Удаляясь, все больше блекли синеватые сполохи и глуше, дробнее погромыхивал гром. В раскрытую дверь тянуло свежестью, и было слышно, как, срываясь со стрехи, о промокшую землю у тамбура звучно шлепались тяжелые капли воды. С умытого посветлевшего неба, заглядывая в окошко мазанки, игриво помаргивали две крупные звезды.

12

Чем больше сокращалось расстояние до Днестра, тем все явственнее ощущалась близость фронта. Правда, на всем их пути Илье и Ганне еще ни разу не попадались подбитые танки или орудия, сгоревшие машины, не видели они и других следов сражений, ибо по-прежнему продвигались вперед глухой степной глубинкой. Однако на подступах к реке, которая вырва-

* Полсть — кошма.

** Гырлыга — средней длины посох с крюком на конце для поимки овец.

лась из теснин Подольской возвышенности и текла уже по широкой низине, чувствовалось, что враг упорно накапливает силы для нового броска на восток.

За Каушанами немецко-румынские войска наводняли не только шоссейные дороги, но и мало-мальски пригодные для продвижения проселки. Казалось, вся приднестровская степь наводнена скрежещущей, грохочущей ордой.

Свой последний день на захваченной оккупантами территории Илья и Ганна просидели в глубокой степной балке, густо поросшей кустарником и чертополохом. Бурливые веснами потоки воды, шумно низвергаясь в балку, в течение многих лет размывали ее крутые бока, выворачивали из них глыбы земли и, измельчая, уносили в тихую степную речушку, а может, и дальше, в самый Днестр. В одной из промоин, схожей с небольшой пещерой, Илья с Ганной и хоронились до наступления вечера.

Цепляясь за уступы отвесного склона и за ломкие ветки хвороста, Илья днем несколько раз выбирался на верх яра и, прячась в бурьяне, подолгу разглядывал размытый далью оком и неподвижно застывшие у горизонта огромные, белые, как снег, кучевые облака. Где-то у этих облаков отдаленной грозой погромыхивала орудийная канонада. Вероятно, там проходила линия фронта, и Илья, мысленно намечая дальнейший путь, вслушивался в неумолчный гул, как в прекрасную музыку.

Когда он спускался и заползал в тесную промоину, Ганна тотчас же прижималась к нему, неслышно вздыхала. Захватившая ее любовь к Илье и опасение потерять его лихорадили ее думы, сушили, как суховея землю. Она понимала, сердцем чуяла, что скоро расстанется с ним и, возможно, никогда больше не увидит его. Это лишало молодую женщину покоя. И все-таки Ганна была счастлива тем, что судьба и ее одарила большим и светлым чувством.

Под вечер, в очередной раз спустившись с гребня балки, Илья подсел к Ганне, обнял ее и, словно бы им не предстояло перейти через линию огня, сказал нарочито бодрым тоном:

— Ну, дорогая женушка, скоро тронемся. Кругом вроде бы тишь да гладь, и если нам повезет, то мы не сегодня-завтра будем у своих. Теперь фронт уже не далеко, весь день слышно канонаду.

— Дай-то бог!

Он притянул голову Ганны к себе, поцеловал в сухие обветренные губы, о чем-то спросил. Ганна промолчала, хотя ей было что сказать ему. Она уже поняла, что забеременела, но не знала, как Илья воспримет это. Потому и колебалась. Наконец решилась:

— Илюша, слушай, что я скажу... Только ты не волнуйся... Знаешь, у нас будет ребенок...

Некоторое время он сидел не шелохнувшись. Потом как-то растерянно и счастливо улыбнулся и еще крепче обнял Ганну...

И вот пришел час прощания. Илья оставался в стрелковой роте, в расположение которой они вышли ночью, а Ганна уже одна уходила дальше. За линией окопов они долго молча стояли у посеревшего от времени геодезического столба с поблекшей маркировкой. Между ними все уже было обсуждено и обговорено. Илья наказал Ганне, чтобы она непременно отыскала его мать и вместе с ребенком жила у нее до конца войны. Прижимая к себе Ганну, Илья чувствовал, как от скрытых рыданий вздрагивают ее плечи и сильными толчками колотится сердце. Он вытер ладонью ее глаза, крепко расцеловал, и она, понурясь, зашагала к кудрявившемуся легкой пылью шляху. Она уходила, и свежий утренний ветерок, гнавший на восток табунок легких перистых облаков, трепал подол ее юбки и концы стянутого под подбородком белого платка.

Илья вернулся в роту...

К вечеру того же дня, переправившись через Днестр, Ганна уже была в Тирасполе. Тирасполь, до недавнего времени столица Бессарабии, небольшой городишко с мелкими предприятиями местной промышленности, спешно эвакуировался. И чем ближе Ганна подходила к центру города, тем явственнее открывалась ей вся тревожная, хаотичная сутолока, вызванная и этой эвакуацией, и частыми бомбежками. Узкий проулок, которым она с толпой беженцев пробиралась к железнодорожной станции от самой пристани, был запружен целыми и разбитыми телегами, бочками, ящиками, мебелью, с корнями вывороченными деревьями. Около разбомбленной водонапорной башни, боком завалась в огромную

воронку, лежал исковерканный «челябинец». Вокруг трактора маслянистым пятном жирно чернела впитавшая в себя горячее земля. Тут же, тесно прижимаясь к низкому изломанному штакетнику, грязновато-серой кучкой стоял, вероятно, брошенный хозяевами, гурт овец. В привокзальном скверике и на перроне, усеянном обрывками каких-то бумаг, битым стеклом и штукатуркой, подсолнечной лузгой, арбузными корками, истолченной в прах просыпанной мукой, — негде яблоку упасть: группы военных и милиционеры, раненые красноармейцы и усталые, задерганные медсестры, ребяташки из какого-то детского дома, испуганным выводком лепящиеся вокруг двух пожилых уже воспитательниц, снующие туда-сюда рабочие команды, деловитые железнодорожники. И толпы осатаневших беженцев, с гвалтом и бранью штурмующие уходящие со станции составы. В жарком парном воздухе безмолчным гулом смешались крики и плач людей, рев загоняемых в товарные вагоны животных, свист паровозов, шипение тормозов, скрежет и стук сталкивающихся тарелок буферов, гудки автомашин. Над всей этой лихорадочной, почти неуправляемой толчеей висел тяжелый дух жженого угля и отработанного пара, пота и испражнений животных, разогретого битума, сладковато-смордный угар еще чадающих нефтеналивных цистерн, после бомбежки вывернутых наизнанку, как разварившиеся сардельки.

С огромным трудом Ганне наконец удалось пристроиться в эшелон, собранный из нескольких пассажирских и товарных вагонов и доброй полсотни больших и малых платформ, тесно уставленных комбайнами, тракторами, станками. Ганне повезло. Над ней неожиданно сжалился щуплый, седенький и безмерно замотанный старичок, распорядившийся погрузкой этого состава. Сердито поводя острым носиком, испещренным склеротическими жилками, он, то и дело поправляя шлеи нового, необмятого комбинезона, сползающие с костлявых плеч, и поверх очков в простенькой железной оправе заглядывая в какой-то перечень, видно, сверяясь по нему, наконец буркнул осевшим голоском:

— Ладно. Коли ты и вправду идешь пеши от самой границы, тогда садись в любой вагон. Если не будут пускать, скажешь, Назарыч, мол, разрешил.

Со станции Тирасполь эшелон двинулся вечером. Ветерок по-прежнему лениво раскачивал пыльные ветви

пристанционных акаций и кленов. На востоке, громясь над железнодорожными путями, набухла влагой грозовая туча. Казалось, то не туча, а гора вставала на пути эшелона, и глаза невольно отыскивали вход в нее.

13

Истый хлебоборб, Журавлев каждое лето ждал уборку нетерпеливо, взволнованно. И страда пролетала для него словно праздник. Но так бывало до войны. А жатва сорок первого года, изматывая Журавлева, казалось, будет тянуться вечно. Он понимал, что с уходом на фронт большей части мужиков труднее будет убирать не только хлеб, а и вообще вести все сельскохозяйственные работы. Но таких забот, что свалились на него, да еще с самого начала страды, он не предполагал. А случилось худшее. С первых дней работы в бригаде женщин и подростков дотоле вроде бы исправные тракторы и комбайны начали простаивать, а нередко и ломаться. Словно бы кто сглазил и сами машины, и работавших на них механизаторов. Журавлев понимал, что простои и поломки происходят из-за того, что новоиспеченные трактористы и комбайнеры еще плохо знают технику, они не уверены ни в ней, ни в себе. И, выбиваясь из сил, не зная ни сна, ни отдыха, он мотался от агрегата к агрегату.

В первую августовскую ночь над полями прошеле-стел скоротечный дождь, но хлеба все же изрядно отсырели, и Журавлев, пользуясь негаданным просветом, подался на дальние пашни бригады, уже освободившиеся из-под зерновых. Там поднимала зябь Клава Баранова, студентка областного педучилища, на время войны решившая прервать учебу. Утро было тихое, нежарко грело солнце, и земля, подсыхая, баюкалась в мягкой дымке. Чавкая по грязи, конь неторопко плелся полевой дорогой, и Журавлев, отдыхая, расслабленно покачивался в седле. Но блаженствовал он недолго. Когда конь, осклизаясь, свернул с летника и поднял его на высокую, поросшую орешником релку и он глянул вниз, на лежавшие вдоль правого берега речки поля, дремотное благодущие с него как ветром сдуло. У недопаханного участка, где-то на середине гона, недвижно чернел Клавин «челябинец».

Чертыхнувшись, Журавлев погнал коня. Когда он

подъехал к трактору, Клава потерянно сидела у борозды, свесив тонкие загорелые руки между колен. По ее худенькому, в крапинках масла и грязи лицу текли бесильные слезы. Увидев бригадира, невесть как появившегося здесь, она вскочила и, не стыдясь, размазывая по лицу грязь, заплакала уже навзрыд.

— Что стряслось-то? — спешиваясь, спросил Журавлев.

Клава продолжала плакать, и Журавлев прикрикнул на нее:

— Да цыц ты! Ну чего ревешь-то?

— Не заводится он, дядя Филипп! — шмыгая носом, ответила Клава. — Все время работал нормально, а тут — как бес в него вселился. С час назад я, дура такая, решила перекусить. Ну, заглушила двигатель, поела, а когда стала заводить, он, проклятый, ни в какую! Плюется дымом, и все! Ломиком даже чуть было руку себе не перешибла!

Она неторопливо закатила рукав выгоревшей ситцевой кофты и показала синевший выше локтя припухлый рубец.

— Ну, девонька! Если только так, тогда дело поправимое, — закинув поводья на шею коню, облегченно вздохнул Журавлев. — Я было подумал, с трактором что-нибудь похуже. А это мы с тобой мигом наладим! Ну-ка, возьми ломик да начни помаленьку проворачивать маховик!

Он присел на гусеницу трактора, ладонью смахнул густой налет пыли с магнето, снял заднюю крышку, чуть сместил подвижной контакт.

— Вот. Теперь заводи своего коня да паши на здоровье.

Клава быстро забралась на трактор, взяла ломик и только раза четыре повернула на себя маховик, как он крутнулся в обратном направлении, из выхлопной трубы его вырвалось несколько синих колец дыма, и, чихнув, двигатель ровно зататакал.

— А ты ревешь! — сорванным пучком травы вытирая руки, произнес Журавлев, и по скуластому, прожаренному солнцем лицу его поползла довольная улыбка.

— Ага, — снова шмыгнув носом, повеселевшим голосом отозвалась Клава, — вам хорошо говорить! Вы все знаете и можете сразу определить, где какая неполадка. А каково мне?

— Ничего, девонька. Помаленьку и ты начнешь лепить эти горшки.

— Это когда еще будет...

— Будет. Какие твои годы.

Разговаривая, Клава уселась на сиденье, перевела рычажок газа, но прежде чем отпустить педаль сцепления, спросила:

— Дядя Филипп, ну что с фронта слышно? Как там наши? Ведь я тут пропадаю чуть ли не целую неделю и ничегошеньки не знаю.

— Неужто целую неделю? Вот деньки-то бегут, — переспросил Журавлев удивленно и, посмурнев, нехотя добавил: — Пока, девонька, наши дела неважные. Жмут немцы. Местами уже к Днепру подходят.

— Дядя Филипп, — помолчав, опять спросила Клава и слегка зарделась. — А от Павла вашего есть что-нибудь?

— Нету, Клавушка... — И тут же попросил: — Ты еще пару деньков поработай тут одна. А кончим убирать пшеницу, я подошлю Груню Гаршину. Вдвоем вам будет веселее пахать-то. Ладно?

Клава вздохнула, потуже стянула концы платка на затылке и, молча кивнув, тронула «челябинец». Журавлев немного прошел за трактором, в нескольких местах прощупал глубину вспашки, постоял еще и, удовлетворенный работой девушки, пошагал к коню. Тот, изгибая шею (ему мешали зацепившиеся за луку поводья), тянулся к завитушкам вязиля*.

И снова, покачиваясь в седле, Журавлев ехал по степи. Гулял по ней шаловливый ветерок. Он клонил долу плоские, вызревшие колоски овсюга, ласково обдувал сосредоточенное лицо бригадира, накладывал на потрескавшиеся губы его привкус полыни. И был тот привкус такой же вязкий и горьковатый, как раздумья Журавлева.

В тот же день он изрядно понервничал, когда спустя какой-то час завернул на Демьянову елань. Здесь вместе с Цилей Кривошеевой убирал пшеницу дошлый механизатор, хромой Аркадий Крамер. Солнце и ветер уже обдули хлеб, и, по наметкам бригадира, этот агрегат должен был уже дожать оставшийся с вечера клин пшеницы. Но комбайн как будто еще и не трогался с места.

Стерня и рыхлая почва скрадывали шаги коня, и

* Вязиль — полевой горошек.

Журавлев незаметно подъехал к комбайну. Спешившись, ведя коня в поводу, он зашел со стороны соломокопнителя и, смущенно крикнув, остановился. Аркадий Крамер, обхватив руками Цилю, тянулся к ее губам. А она, отворачивая покрасневшее лицо, в то же время тихо, уступчиво смеялась.

— Аркадий, отстань! — Все еще не замечая Журавлева, Циля, скорее раззадоривая тракториста, чем сопротивляясь, осыпала его несильными шлепками. — Ну отпусти, бессовестный!..

Журавлев помял ноздри коня. Стригнув ушами, тот звучно фыркнул. Циля и Крамер отскочили друг от друга. Журавлев подошел к ним. Да, конечно, Циля есть Циля. Хоть ей уже перевалило за тридцать и родила троих детей, была она все еще очень пригожа. Высокая, белокожая, с легким румянцем на щеках и копной рыже-золотистых волос на гордо посаженной голове, она еще сохранила в себе много неистраченного женского обаяния, и это бросалось в глаза. Притягивало к ней мужиков и ее раскованное, смелое обхождение с ними, легковерно принимаемое некоторыми за доступность.

— Почему не ждете? — недобро щуря на Крамера и без того узкие глаза, негромко спросил Журавлев.

Поправляя косынку, заталкивая под нее рассыпавшиеся волосы, Циля встала к Журавлеву спиной, словно бы вопрос бригадира ее не касался. За нее ответил Крамер, уже оправившийся от минутной растерянности. Прохромав к трактору, он присел на краешек прицепной скобы, закурил и, выдыхая дым через выпяченную нижнюю губу, снизу вверх вызывающе взглянул на Журавлева.

— Почему не жнем, интересуешься? — раздельно выговаривая каждое слово, переспросил он. — А потому, что у комбайна полетело полотно.

— Как так?

— Очень просто. Попался корч дубняка, Циля его не заметила, и он будто ножом срезал шестнадцать планок.

— Так давно бы уже наклепали другие.

— А у Циля их нету.

— Как нету? А куда вы их подевали?

— Куда, куда... Израсходовали, вот куда!

Комбайнером на агрегате была Циля, и с нее надо было бы спрашивать. Но Журавлев знал, что, как человек более опытный, всеми делами тут заворачивает

Крамер. К тому же именно он сейчас больше всего раздражал бригадира.

— Если так, то надо было утром прихватить со станна планки. Циля простительно, она тут без году неделя, но ты-то должен думать своей башкой!

— Между прочим, я имел в виду взять их, да позабыл, — вроде бы смиренно сказал Крамер.

— А коль забыл, давно уж сбежали бы на стан. А то занимаетесь тут... — Журавлев вдруг круто повернулся к Циле, у хедера все еще смущенно оправлявшей то юбку, то кофту, и сердито крикнул ей: — Чего стоишь? Ну-ка, марш за планками! Залазь на коня и шибко мне!

Когда Циля отъехала довольно далеко, Журавлев присел на прицеп комбайна напротив Крамера.

— Что ты хмуришься, бригадир? — сказал Крамер и с бездумной легкостью пообещал: — Не переживай! Сейчас Циля привезет планки, я быстро наклепаю их на полотно, и мы еще сегодня дождем этот клин!

— Конечно, дождешь. Куда ты денешься, — мимо-летно взглядывая на исчерна-смуглое лицо тракториста и его вьющиеся, давно нестриженные лохмы на голове с застрявшей в них мякиной, сказал: — Вот что, Аркадий, ты брось Цилю-то замать. У нее муж на фронте. Да трое детишек. И ты не холостой.

— Ты все верно говоришь, бригадир. Но Иоська-то Кривошеев теперь далеко.

— Стало быть, по твоему разумению, можно с его бабой баловаться?

— А почему бы и нет? — ухватив лежавший у ног колосок и растирая его на грязной бугристой ладони, ухмыльнулся Крамер. Он как будто нарочно поддразнивал Журавлева. — С нее не убудет. Вернется Иоська, ему тоже достанется.

— Ты это... серьезно?

— Серьезно, не серьезно... Чего ты допытываешься? — вспыхнув, как порох, Крамер в свою очередь пристально поглядел на бригадира. — А если я, допустим, не шучу. Ну так что?

— Да я, грешным делом, подумал было, что у тебя совесть есть. Ан, выходит, ошибся, — проговорил Журавлев. — Ну, а если так, то слушай, что я скажу. Иосиф Кривошеев мне товарищ, понял? И я, паря, не допущу...

— Что ты не допустишь? — сдув ости с ладони и

кинув зерна себе в рот, как-то шамкаяще перебил его Крамер. — И вообще, что ты за заступник такой выискался? Какое твое собачье дело до всего этого?

— Ну и сволота же ты, Аркадий! — покачал головой Журавлев. — Тебе, оказывается, все до фени. Тогда слушай другой сказ. Я хотел по-дружески предупредить тебя, но...

— Все мы друзья, пока варимся в одном котле.

— Ладно, я надеялся, что ты поймешь, — не слушая, продолжал Журавлев. — Жаль... Однако ухаживания свои брось. Не замай Цию.

— Ну что ты всюду встречаешься! — вдруг сорвался на фальцет Крамер. Серые глаза его потемнели, налились злостью. — Твое дело следить за работой, бригадир. Вот с планками, тут ты прав! А что до остального — не суй свой нос, где тебя не просят! Ты что, слепой, не видишь? Бабонька пищит, вот к ней и лезут. И я тоже! Подожди, а может, ты сам того?.. Ха-ха-ха! И как это я сразу не допер? Оказывается, ты сам не против! Ну, так бы сразу и сказал! А то темнишь, ходишь вокруг да около. Конечно, как начальству, я тебе уступлю.

Цинизм Крамера доконал Журавлева. Чувствуя, как от клочущей ярости каменеют руки, он поднялся, вплотную подошел к Крамеру и вымолвил как-то неестественно тихо, раздельно:

— Ну-ка, ты, сволочь хромая, встань!

Бледнея, Аркадий вскочил на ноги. Мелкий пот покрыл его ставшее землистым лицо. Он инстинктивно выставил вперед руки, но тут же рухнул на землю от сильного удара, Крамер живо поднялся и в слепой ярости кинулся на Журавлева, но новый удар опять вырвал землю у него из-под ног. Из расквашенного носа тракториста потекла кровь.

— Вот так-то, паря, учат уму-разуму таких, как ты, — снова оседлав прицеп, отплеываясь и трудно дыша, сказал Журавлев. — Это тебе вроде бы задатка. А если еще раз засеку тебя около Цили, прибью, как цуцика! Заруби себе. Теперь оботрись, и чтоб к вечеру дожали эту пшеницу. А с завтрашнего дня будешь косить в паре с Изотом Драгуновым. Вот так.

Наступил август. Плотные туманы, неохотно исчезающие по утрам, дымчатой росой серебрили тяжелые гроздья винограда, лапчатые листья подсолнухов и лопу-

хов, испариной оседали на стеклах окошек, крест-накрест заклеенных бумажными полосками. И когда солнце даже отмахивало половину пути к зениту, на теневых сторонах трехкутновских крыш все еще лежал си-зый налет водянистой пыли. Дожди редко выпадали в то лето. Но обильная роса и тепло тем не менее гнали в рост всякую растительность. Урожайным выдалось лето сорок первого года. Земля щедро одаривала хлеборобов, и огрузнели добром колхозные склады да личные закрома крестьян, богатыми были, несмотря на войну, сельские базары и ярмарки.

В Трехкутной местом шумных торжищ издавна была небольшая площадь в центре села. Колонисты всю свою жизнь обрабатывали землю. Но многие из них знали различные ремесла и в зимнее время занимались также отхожим промыслом или приработывали дома: сапожничали и варили мыло, изготавливали глиняную посуду, держали крупорушку, шили одежду и выделяли кожи. «У явреев завжды е гроши», — говорили окрестные жители. И такое мнение, что у евреев всегда есть деньги, однажды зародившееся, прочно бытовало у крестьян на протяжении многих десятилетий, и, чтобы сбыть свои продукты состоятельным, на их взгляд, покупателям, они регулярно, каждые вторник и пятницу, со всей округи съезжались на базар в Трехкутную. В такие дни, зимой и летом, площадь уже с раннего утра оглашалась разноязыким говором, скрипом телег или — смотря по сезону — саней, ржанием коней и мычанием быков, блеянием овец, гогом гусей, неистовым лаем взбудораженных собак. Невысокие лавки, тремя полукруглыми подпиравшие палисадники примыкавших к площади хат, с трудом, бывало, вмещали величайшее обилие продуктов, живности, промышленных товаров и изделий, и тогда базар заползал в близлежащие проулки.

Что только не продавалось на трехкутновских базарах! Болгары из слободы Христофоровки заваливали прилавки отменными синими баклажанами, белыми кабачками, помидорами, огненными низками красного перца и тяжеленными венками лука и чеснока. Греки из села Астаповка выставляли огромные ивовые корзины, полные пятнистых щук и окуней, крутолобых карпов и крупных, как лапти, жирных карасей. Поселенцы-белорусы из хутора Отрадного продавали лучший в округе картофель и «еврейское сало» — любимую колони-

стами белую редьку. Украинцы из села Писки торговали вишней, яблоками, абрикосами и огромными макитрами, а гагаузы* из расположенной на песчаных землях деревни Буялык приезжали на просторных мажарах, доверху груженных пузатыми, как бадейки, арбузами и душистыми, знаменитыми на всю Таврию дынями-качанками. Не обходилось и без молдаван. Их янтарная брынза и сыры, виноград «Карабурну» и «Мускат» да бочки с вином всегда занимали почти полпрада лавок.

Летом к базарным дням в плавнях у колонии неизменно появлялись ветхие, пропыленные кибитки какого-нибудь цыганского табора. Бывало, солнце только еще выметывалось из-за лысой макушки Ногайской могилы, а в маленьких горнах у продыmlенных шатров уже смачно тлеет древесный уголь и над росной травой, перекликаясь с птичьим щебетом, плывет, стелется дробный, звонкий перестук кузнечных молотков. То ловкие смуглые руки бородатых ковалей уже что-то куют, лудят или паяют. Однако большая часть цыган, как водится, с первыми лучами солнца подавалась в колонию. Пренебрегая прочим, эти темпераментные быстрогоглазые кочевники, посасывая трубки, часами толклись у лошадей, а их шустрые подружки, сопровождаемые чумазами ребятишками, то рассыпались по дворам, то шастали между прилавками, назойливо предлагая неискушенным, доверчивым колонистам и крестьянам предсказать судьбу. Не брезговали цыганки и мелким ворожеством.

Как обычно, собрался трехкутновский базар и в первый вторник августа сорок первого года. Правда, он не ломился от обилия продуктов и товаров, не шумел и не ярился, как совсем еще недавно, до начала войны, но людей на него все же сошлось и съехалось немало, да и всякого добра тоже еще хватало. Добро это было навалено и разложено на лавках и телегах, на домотканых ряднах и газетах, на разостланной по земле соломе. Поблескивая капельками воды, на капустных и лопушиных листах желтели лепешки сливочного масла. Тут же — крынки и макитры со сметаной и ряженкой. Из слегка приоткрытых мешков розовел раннесортный картофель, виднелись пшено, горох, фасоль, перловка,

* Гагаузы — небольшая народность, потомки средневековых турков.

четырех помолов мука пшеничная, ржаная и любимая молдаванами кукурузная. Большими холмами горбатились столовая и кормовая тыква, морковь, свекла, огромные шляпы подсолнухов. Выпрастывая шеи из корзин и кошелок, глядели на людей бусинками глаз гуси, индюшки, утки и куры. Из наскоро сколоченных клеток повизгивали поросята, жалобно мемеркали ягнята. Ржали застоявшиеся кони, гоняли жвачку ко всему безразличные волю.

Скорее всего по устоявшейся привычке если не продавать и не покупать, то хоть людей повидать собравшиеся на базаре, как и в былые времена, приценивались к товару, спорили, рядились, били по рукам, но ничего не покупали даже тогда, когда, казалось бы, сходились в цене. Никто, как ни странно, не тягал друг друга за полы пиджаков в очереди за дефицитной в ту пору мануфактурой, а теперь свободно лежавшей в двух сельповских палатках. Необычным было и то, что известные всей округе колонисты-выпивохы сапожник Беня Эстеркин и стекольщик Лейба Винник, за драный плащ свой прозванный Веером, в тот день даже не заглянули к приехавшим на базар молдаванам. Обычно Эстеркин, по-уличному Гундосый, и Веер начинали обход базара с винного ряда. Молдаване, разумеется, знали, что от этой пары им не будет никакого дохода, и все же охотно их угощали. Ибо на любом стоящем базаре почин всегда ценится выше денег. Добросовестно одаривая своим почином подряд всех молдаван, Беня и Лейба, бывало, завершали обход в обнимку под чьей-нибудь арбой. Не чудил в тот день и еще один трехкутновский оригинал — бондарь Прокоп Бойко, имевший обыкновение кусками от горячей буханки пробовать у крестьянок сливочное масло.

У всех собравшихся в тот вторник на трехкутновском базаре было на устах одно слово — Привольное. По слухам, невесть как докатившимся до колонии, немцы якобы прошлой ночью заняли это большое село, центр соседнего района. Находилось оно выше по Ингулу, всего в каких-то шестидесяти верстах от Трехкутной. Колонисты и крестьяне других сел нередко наезжали в Привольное, у многих там были знакомые и даже родня. И от сознания того, что немцы уже там, война как бы зримо подступила к их собственному порогу. Так что людям было по какой причине беспокоиться и переживать.

Через улицу от площади, где шумел базар, в душном кабинете председателя Трехкутновского сельсовета в этот утренний час сидели трое мужчин. Чуть не сталкиваясь лбами, они склонились над какой-то бумагой. Чадили сигарками, раздумывая, напряженно молчали. Дым от их самокруток сизой бахромой колыхался под потолком. Наконец один из сидевших выпрямил широкую спину, расправил плечи и, до хруста в суставах разведя руки, медленно поднялся со стула. И тогда стало видно, какой он высокий да ладный.

— Вот такие дела, братья мои, — сказал он басовито и, от горькой слюны во рту морща крупное курносое лицо, с силой раздавил в пепельнице недокуренную сигарку. — Ну до чего ж крепкий табак, хай ему грець! Так вот. Мое мнение такое: надо немедленно все объявить людям. Дальше играть в молчанку и некогда, и преступно. Тем более, что мы имеем на руках депешу райкома партии. Хлеб надо раздать колхозникам, а остальной уничтожить. Электростанцию и МТС, как предлагает Удовиченко, взорвать. И пусть народ немедля эвакуируется. Ну, что еще? Подумайте сами, братья.

То был Степан Костюченко, председатель сельского Совета. Когда-то давно, еще мальчонкой, мать за харчи отдала его в услужение в Трехкутную. Батрача на богатого колониста Эфраима Песина, Степка несколько лет почти что задаром пас его гусей. Богач всегда найдет, к чему придраться, и на маленького наймита, как в праздник Хануки* на еврейских детей — монеты, щедро сыпались тумачи. Не выдержав такой жизни, мальчонка сбежал от Эфраима к жестянщику Егуде Пассеку. У бедного, но никогда не унывающего Егуды Степан и вырос вместе с его собственной босоногой детворой и даже выучился ремеслу. Правда, став сносным жестянщиком, он не нажил особого достатка. Впрочем, он и не стремился к этому, руководствуясь в жизни мудрыми словами Егуды Пассеки: «Кусок хлеба есть, голый не ходишь, что человеку еще надо?»

— Да, людям надо сказать правду, как бы она ни была горька, — поддакнул кудрявый и смуглый, как цыган, Ефим Фарбер, директор Трехкутновской МТС.

— Так. Ну, а ты что молчишь, голова? — Костюченко взглянул на коренастого и светловолосого, с круглым смешливым лицом Мотю Светлицкого, председателя трехкутновского колхоза.

* Ханука — религиозный праздник иудеев. Празднуется осенью.

Светлицкий развел куцые сильные руки и неопределенно пожал крутыми плечами.

— Что ты жмешься, как дивчина на вечерке? — недовольно промолвил Костюченко. — Ты что, возражаешь?

— Не возражаю, конечно. Но понимаешь, Степан, жалко все. И людей жалко, и нажитое добро, — поче-сывая высокие залысины, сказал Мотя. — Как подумаю, что своими руками надо сжечь хлеб, на корню погубить подсолнух, кукурузу, что надо бросить хаты, так сердце холонет. Умом можно тронуться. Сколько труда затрачено, и все собаке под хвост...

— А ты думаешь, у нас с Ефимом, у других людей в груди вместо сердца камень? Фарберу, что ли, хочется взрывать МТС? Всем больно, да что поделаешь? И гадать уже некогда: уничтожать или не уничтожать. Уничтожать! Да нехай оно горит огнем, это добро! Живы будем, обратно все наладим! А теперь главное — это спасти людей! Или ты, может, против выезда? Нет? Чего ж ты раскисаешь? В общем, так, — Костюченко обошел стол, встал между поднявшимися Фарбером и Светлицким, положил им руки на плечи и, слегка притянув к себе, мягко, но настойчиво сказал: — Тогда вот что, братья. Идите сейчас оба на базар, там много народу, и растолкуйте всем, что да как. А я тем часом быстренько сметаюсь в Писки до военных. Вернусь со взрывником. Ну, договорились? За дело!

На базаре Светлицкого и Фарбера тотчас же обступили колонисты и приезжие. Короткие, полные тревоги вопросы, словно бы град, посыпались на них со всех сторон.

— Мотя, где зараз немцы?

— Это правда, что они уже в Привольном?

— Что нам делать?

— Ефим, почему вы не говорите правду? Чего боитесь?

— Мотя, где вы прятались досе?

— Товарищи, минутку, минутку! — поднятой рукой стараясь унять выкрики, Светлицкий только успевал поворачиваться. Ну что вы орете все разом! Вы таки на базаре, но глотки нечего зря драть! Минутку, зараз я вам все поясню.

Светлицкий, столкнув с ближней арбы несколько арбузов, влез на ее передок и, успокаивая людей, снова поднял руку. Понемногу шум стал стихать.

— Товарищи! — выждав еще немного, Светлицкий бросил в толпу звонким голосом: — То брехня, что немцы заняли Привольное! В Привольном наши. Но Вознесенск пал, и фашисты рвутся к Еланцу. Об этом нам сообщил первый секретарь райкома товарищ Удовиченко. Полчаса тому назад он с нарочным прислал депешу. Так вот, секретарь настоятельно советует всем жителям эвакуироваться. То есть уехать. Товарищи, вы же все знаете из газет, что фашисты расстреливают подряд всех коммунистов, комсомольцев, активистов Советской власти и евреев. Они не смотрят, чи то старые люди, женщины или дети. Так вот, сейчас же идите к хоздворам и берите подводы. Слава богу, лошадей и волов в колхозе на всех хватает. Вообще, я вот о чем вам хочу напомнить. Когда мы с вами создавали тут колхоз, то разве делали это только ради того, чтобы вместе работать? Нет! Мы это делали, чтобы и жить вместе, по-новому, как одна семья. Чтобы и радости общие, и горе делить. Сейчас у нас одно общее большое горе. Так надо его осилить всем вместе, дружно. Одним словом, уехать надо всем. Если кому не достанется отдельная телега, не теряйтесь и не ругайтесь, садитесь на мажару по две семьи, по три, только уезжайте, не тяните. Бригадиры сейчас получают нужное распоряжение. Товарищи, еще раз прошу вас не терять даром время. Быстро собирайтесь, выезжайте и держите путь на Яворное. К вечеру мы должны там собраться, чтобы потом двигаться дальше. Пользуясь случаем, что здесь много крестьян из других деревень, я бы и им настоятельно посоветовал то же самое.

Светлицкий умолк и, переведя дух, обвел глазами поникшую толпу. Горе и сострадание к односельчанам, всем этим близким и родным людям, сдавили ему горло. Он сдернул кепку с головы и, делая вид, что вытирает пот с лица, прикрыл ею увлажнившиеся глаза. Успокоившись, Мотя поднял было руку, хотел еще что-то сказать, но, лишь сглотнув сперший дыхание комок, слез с арбы. Пробираясь к Фарберу, незаметно оттертому куда-то в середину базара, он, сердито округляя и без того большие выпуклые глаза, пошумливал на колонистов:

— Ну что вы стоите как истуканы? Вам непонятно, или вы досе меня не видели? Так это я. Не ждите от меня чего-то еще, я сказал все, что знаю и думаю.

Когда Светлицкий с Фарбером почти что выбрались из толпы, кто-то тронул Мотю за рукав. Он обернулся

и глаза в глаза столкнулся с конюхом второй бригады Хведько Домиховским.

— Мотя, — сказал Домиховский, усмешливо покусывая тонкие злые губы. — Поясни мне вот что... Ты говорил, чтобы все уезжали. Так? Так. Ну, мне, скажем, ясно насчет всяких там партийных людей, командирских баб и евреев. То верно, что немец не гладит по головке таких, как вы. А нам, простым хрестьянам, зачем тикать? И куда?

— Ты, Хведько, задаешь странный вопрос. По-моему, так любой честный советский человек не захочет работать на врага. Поэтому он должен уехать. Тут — или, или...

— Что ж, может, по-своему ты и прав. На то ты и наш председатель, — сверкнув зеленоватыми глазами, вроде бы и согласился Домиховский.

Он шагнул в толпу и, несмотря на свой высокий рост, как-то сразу растворился в ней. А Светлицкий постоял, неприятно удивленный злорадной искоркой, мелькнувшей в глазах колхозника, неприязненным выражением, на один лишь миг появившемся на его маленьком рябоватом лице. Но Фарбер напомнил ему о ждущих их делах, и они быстрым шагом пошли с площади.

— Этот Хведько не нравится мне с первого дня, — словно бы угадывая мысли Светлицкого, сказал Фарбер. — Он и раньше все ворчал, что это, мол, не так да то неправильно... А сейчас у него вообще было какое-то откровенно враждебное лицо.

— В конце концов, он не девка, чтобы нравиться или не нравиться, — досадливо отмахнулся Светлицкий. — Работал-то он хорошо, что еще требуется? А что критиковал, так разве мы всегда ведем хозяйство по прямой дорожке? И у нас, ясное дело, случаются ошибки, а люди это видят.

Фарбер удивленно покосился на Мотю, но ничего не сказал. Молча шагал и Светлицкий. И хоть он и старался отмахнуться от злорадной усмешки Домиховского, она как-то исподволь колола душу, наводя на мысль, что, в сущности, он еще очень плохо знает своих колхозников.

Тем временем колонисты и съехавшиеся на рынок крестьяне спешно покидали площадь. Она опустела меньше чем за полчаса. В поисках чего-нибудь съестного по ней лишь рыскали собаки, да у просыпанной кем-то кучки пшеницы шумно кормилась стая воробьев.

По поводу отъезда из колонии в доме Наума Дудинского шел горячий спор. В прямом смысле слова спора, разумеется, не было. Кипятился и шумел только Мотя Дудинский. Остальные молчали. Лишь Лия, отрешенно-озабоченно сидевшая у окна на кухне, изредка отвечала деверю короткими, слегка раздраженными репликами. Размахивая длинными сильными руками, поросшими курчавым черным волосом, Мотя, то надвигаясь на Лию, то пятясь к двери, громко спрашивал с высоты своего почти двухметрового роста:

— Скажи мне, ну куда тебя черт понесет? Ты что, хочешь загубить детей?

— Почему обязательно загубить? Что ты выдумываешь?

Один раз что-то надумав, на что-то отважившись, Лия потом упрямо стояла на своем. Такая уж у нее была натура. Теперь она решила эвакуироваться, спасти своих детей от неумолимо надвигающейся беды, и отговорить ее от этого намерения было невозможно. Она так и заявила Моте. Но и тот был из неуступчивых. Он все не унимался, и тогда Лия, словно приводя свой последний неоспоримый довод, хлопнула рукой по единственному письму мужа, лежавшему возле нее на подоконнике.

— Хорошо, пусть Светлицкий паникует, как ты говоришь. Но вот же и Наум, перед отправкой на фронт, тоже написал об этом! Вот же он черным по белому просит меня, чтобы я, если случится худшее, не раздумывала и уезжала! Что же еще раздумывать?

— И Наум, и ты — оба вы ненормальные на всю голову! — со сдержанным бешенством выкрикнул Мотя. — Кто лучше знает, что теперь делать: он, находящийся теперь бог знает где, или я? И вообще, что тебе не сидится на месте? Чего тебе не хватает? Хлеба нет или крыши над головой?

— Есть, все у меня есть. Но дело в том, что сюда не сегодня-завтра могут прийти фашисты, а мы евреи. Как ты этого не поймешь!

— Ув-ва, испугалась! — хлопнув себя по бедрам, коротко хахакнул Мотя. — Ну и что из того, что мы евреи? Земля горбом встала? Мы всю жизнь были евреями, так что из этого? Если держаться всем вместе, так нам сам черт не сват. Помнишь, в двадцать первом

году Махно со своей бандой тут целый день вертелся, а к колонии побоялся даже близко подступить. А потом шуранул отсюда, аж только пыль поднялась!..

— Не в обиду будь тебе сказано, но ты, Мотя, рассуждаешь, как малый ребенок, — тщетно пытаешься втолковать ему простые истины, отчаянно воскликнула и Лия. — Ну разве можно сравнивать какую-то банду с армией целого государства!

— Пхе-е, целое государство! Ну и что? Это же государство не трогало нас в восемнадцатом году? Если на плечах голова, а не макитра, то как-нибудь обойдется и теперь. Проживем! Тем более, что ты не партейка, а у меня среди немцев Карлсдорфа полно друзей. Думаешь, если что, так они нам не помогут? Еще как выручат!

— А если нет?

— Выручат, выручат!

Был момент, когда Моте показалось, будто Лия колебалась. И тогда он тоже кинул последний довод:

— Наума и Илью война теперь мотает черт знает где. Бог знает, живы ли они. Так тебе этого мало? Хочешь рискнуть еще и Люськой с Данькой? Ты вообще-то представляешь себе, что такое стать беженцами? Это голод и холод, грязь, вши, болячки... Нет, Лия. Сейчас главное — это переждать, уцелеть в чертовой заварухе, спасти детей. Рива, скажи хоть ты, разве я не прав? — неожиданно обратился он к жене, молча сидевшей у распахнутой двери.

— По-моему, так ты вроде прав.

Грузная, страдающая одышкой Рива плохо переносила жару. И сейчас, обмахиваясь передником, то и дело вытирая им испарину на толстом багровом лице, она головой поддакивала мужу.

Надо заметить, что по поводу происходящего у Моти были свои планы. Старший сын в семье, он после смерти старого Даниила Дудинского начал единовластвовать на принадлежавших обоим братьям двадцати семи десятинах пашни. Наум, вернувшийся домой из австрийского плена, не выказывал особой охоты ковыряться в земле. Ей он предпочитал кузницу. В голодном двадцать первом году он вообще с легкой душой кинул колонию и подался куда-то на Киевщину. Правда, года через полтора Наум неожиданно вернулся обратно в колонию, да не один, а с беременной женой. Но к земле остался, как и раньше, равнодушным. Он

снова всем сердцем прилепился к кузнице, передоверив старшему брату свой пай пашни, лошадей и быков.

И тогда Мотя развернулся вовсю. Три десятины, ранее засеваемые яровой пшеницей, он обменял на участок у самой колонии, посадил на нем виноградную лозу, и уже через два года Рива, задавленная работой и непомерной алчностью мужа, не пропускала ни один базарный день, торгуя вином и уксусом собственного изготовления. Спустя еще два года Мотя поставил маслобойку, и колонисты начали возить подсолнечное семя не за двадцать верст в Батаншево, а к нему. Он давил масло вроде бы задаром, за макуху*. Но от нее в сараях у Моти, как на дрожжах, росли свиньи, прямиком затем доставлявшиеся в мясные лавки Николаева.

Дело у старшего Дудинского было поставлено на широкую ногу. Он уже втайне подсчитывал ожидавшие его в ближайшем будущем удвоенные и утроенные барыши от разбухшего хозяйства. Но наступил тридцатый год, и в колонии, как и повсюду в стране, организовался колхоз. У Моти все пошло прахом, он был вынужден передать колхозу все свое достояние. Мотя был рад, что хоть избежал «путешествия» куда-нибудь на Соловки или еще дальше. Вскоре он даже сам вступил в колхоз и работал, как привык, всегда старательно. Но в душе таил крепкую обиду на обездоливших его «доморощенных голодранцев» и терпеливо ждал лучших времен. И это время как будто настало. Моте казалось, что оно летит к нему и ко всем таким, как он, на крыльях немецких самолетов, мчится на броне их танков. Лелеемая им мечта снова стать богатым хозяином вот-вот должна была вроде бы осуществиться, а тут изволь куда-то уезжать. Нет и еще раз нет! Правда, ему хотелось, чтобы из колонии не эвакуировалось как можно больше односельчан, и в первую очередь — жена родного брата. Тогда он чувствовал бы себя увереннее, для него было бы какое-то оправдание в случае чего. Он еще не совсем ясно осознавал — перед кем, но все же — оправдание...

— Лия, ну, слышишь? Рива говорит то же самое, — сказал Мотя и, присев на табурет, притих.

Молчала и Лия; казалось бы, в последний раз взвешивая все за и против. И когда она, подавив вздох, подняла голову, он широко заулыбался, решив, что убедил ее. Но она, взглянув на Даньку, все это время понуро

* Макуха — жмых.

и нетерпеливо сопевшего по другую сторону кухонного стола, вдруг спросила:

— Ну, а что по этому поводу скажет мой молодой хозяин?

Данька встал, подошел к матери, слегка прислонился к ней и ответил:

— Я думаю, папа знал, что писать. Надо ехать... Вон бессарабцы, так те уже укатили.

Слова племянника действовали на Мотю, как красная тряпка на быка.

— Что ты мне тычешь бессарабцев! Что им тут жалеть! — с грохотом опрокинув табуретку, вскочил он. — У них здесь ни жен, ни детей, ни кола, ни двора. Сели себе на велосипеды, и будь здоров!..

Огромный, от низкого морщинистого лба и до ключиц яростно-пунцовый, он неуклюже вертелся посреди кухни.

— Нет, вы только подумайте! — кричал он. — Этот сморчок тоже имеет право голоса! Его собачье дело решать: чи ехать, чи не ехать! Ну как после этого жить на белом свете, а?! Да тыфу на всех вас! О них заботиться, хочешь как лучше, так нет — еще ломаются!

Внезапно остановившись у порога, Мотя как-то весь сник, выдохся, будто надувной шар, из которого выпустили воздух. Он потоптался, потер лоб и, взмахнув рукой, — делайте, дескать, что хотите, пошел из дома. Лия сокрушенно поглядела ему вслед, медленно встала, подняла опрокинутую Мотей табуретку и сказала Даньке:

— Ну, все... Беги, сынок, на конюшню и скажи дяде Моте Светлицкому, или кто там командует, что мы тоже едем. Нехай дадут подводу. Беги, а мы с тетей Ривой быстро соберемся. Да, а куда это Люска запропастилась? Поищи ее, сынок, и поторапливайся.

Яркий полуденный зной повис над Трехкутной. Август, а на широких улицах колонии, как в начале июня — море серебристого марева. В такую жару все живое должно бы попрятаться в тень, в холодок. Раньше так и бывало. На час-другой жизнь замирала даже в поле, в самую страду. Но в тот августовский день то с одного двора, то с другого все выезжали телеги с наспех

груженным скарбом и ребятишками. Слегка упираясь, мотая головами, за подводами нехотя брели заналыганные коровы. В шуме и суетливом гомоне, будоражившими улицы села, одни лишь волы хранили невозмутимость. Спокойно переставляя клешнятые ноги, роняя вязкую слюну в горячую дорожную пыль, они флегматично тянули телеги и арбы.

— Мама, ну что — все готово? — запыханно вбежав на кухню, быстро спросил Данька.

— Кажется, — оглядев брошенные в кучу узлы на полу и посмотрев на Риву, присевшую на один из них, как-то не совсем уверенно проговорила Лия. — Как будто взяла все, что надо... А ты уже с подводой?

— Дядька Петро Боровик сейчас погрузит свои вещи и заедет за нами. Нам дали одну арбу на двоих.

— А что такое? — неожиданно возмутилась Рива. — Что, в колхозе моментально передохли лошади? Светлицкий не мог дать тебе отдельную телегу? Я вот побегу сейчас до конюшни и там так натру физиономию этому Моте, что он забудет, как его зовут!

Она действительно поднялась и, рассерженная, грузная, по-утиному переваливаясь на толстых ногах, решительно пошла к двери. Но Лия остановила ее:

— Успокойся, Рива. Это даже лучше, что мы поедем вместе с Трохимычем. Ведь за лошадьми и мажарой нужен мужской догляд. Бог знает, сколько придется ехать.

Данька, деловито хмуривший брови, вдруг улыбнулся, представив себе бегущую по улице возмущенную тетку.

— Тетя Рива, туда нечего идти, — сказал он, отворачивая к окошку смеющееся лицо. — Все подводы уже разобрали. Мы с дядькой Петром и то чуть не опоздали. За задним колесом и штыльвагой для нашей мажары мы с ним ходили аж на хоздвор первой бригады. И дяди Моти Светлицкого там тоже нет. Они с Фарбером куда-то уехали на бедарке.

Так уж повелось, что все семейные проблемы у старших Дудинских решал один Мотя. Рива ни во что не вмешивалась, ничего не делала, сообразуясь с собственным желанием или своим умом. Все у них вершилось по воле мужа. Она даже думать, казалось, разучилась. Однако тут Рива быстро сообразила, что к чему.

— Подожди, что значит — разобрали все подводы? — переводила она заплывшие жиром глазки с пле-

мянника на Лию. — Выходит, что трогается вся колония? Так, Лия? Ой-вей! Что же получается?.. Ну, вы уж тут без меня погрузитесь, хорошо? А я побегу до своего Моти. Если все решили ехать, так, может, он тоже передумает.

— Какой разговор, дорогая, — откликнулась Лия. — Конечно, иди! Уговори его, а мы тут сами справимся.

На всякий случай увязав в еще один узел теплые пальтишки детей и свои яловые сапоги, Лия прошла по всем комнатам, бегло заглядывая в ящики комода, в шифоньер, в старый кованный сундук. «Ну, кажется, взяла все необходимое», — думала она, с сожалением и горечью оглядывая имущество, трудно нажитое за многие годы и теперь оставляемое бог весть кому. Она вернулась на кухню, присела у стола, рассеянно поглядела на сына, молча распускавшего и вновь сплетавшего махор кнута, спросила:

— А все-таки, где Люська?

— Да она увязалась за дядькой Петром.

— А-а, ну пусть... Да, Данька, принеси-ка из клуни чистый мешок.

— У нас же нет пустых. Все с пшеницей стоят.

— Так насыпь один.

— Куда?

— А хоть куда... Можно на землю.

— Мама, пшеницу — и на землю?! Может, без него обойдемся?

— А хлеб на дорогу надо во что-то положить или нет? Я бы сама облила всю эту пшеницу керосином, чтоб не досталась немцам. Да не могу, рука не подымается. Ну иди, насыпай.

Спустя минуту Данька вернулся с мешком. Лия отодвинула заслонку печи и, отворачивая лицо от пыхнувшего на нее жара, деревянной лопатой быстро вытащила с полдюжины поджаристых буханок. Данька начал складывать их в мешок. Но Лия заставила его вынуть хлеб обратно и разложить на столе.

— Сначала буханки надо побрызгать водой, вот так, а потом накрыть рядом, — поучая, она показывала, как надо делать. — А уж после их можно и в мешок сложить.

— Зачем это нужно? Некогда, Трохимыч вот-вот подъедет.

— Подъедет, так подождет. Зато хлеб теперь долго не почерствеет.

Вскоре за окном действительно послышался и оборвался перестук колес. На кухню вбежала Люська, а следом, ладонью смахивая пот с продубевшего морщинистого лица, вошел и Петро Боровик, мужик уже в годах, но довольно еще крепкий, подвижный. Был Петро молчалив, угрюмоват, особой дружбы ни с кем не водил, и, хоть отличался честностью и трудолюбием да и жил открыто, на виду, колонисты считали его человеком скрытным, из тех, что себе на уме.

— Ну що, соседка, — прокашливаясь и поглаживая сивые запорожские усы, скрипуче спросил он. — Уже упаковались?

— Как будто...

— Тогда грузимся и — поехали.

Узловатой, темной от тяжелой работы и непроходящего загара рукой он легко поднял два самых больших узла и понес их из дома. Третий подхватил Данька. Высунув кончик языка, тужась и пытаясь, потащила мешок поменьше и Люська. Только Лия не притрагивалась к вещам. Она подошла к окошку и отрешенно стояла возле него до тех пор, пока Боровик и дети не вынесли из дома весь увязанный ею скарб. Она как бы очнулась лишь тогда, когда мажара с угнездившимися на узлах Люськой и Килиной, дебелой женой Боровика, протяжно поскрипывая разошедшимися боковыми решетками, тронулась с места. Тогда Лия, сняв передник, прошла зачем-то в горницу, постояла, вернулась на кухню, выюшкой закрыла трубу печи, поставила на место заставку и вышла во двор. Смирившись с неизбежностью, она побрела вокруг дома, прикрыла ставни и по привычке, а может быть, намеренно, сунула ключ от двери под камень у порожка. Догоняя арбу, Лия концом косынки вытирала глаза и нет-нет оглядывалась на покинутый дом...

Правя лошадьми, Данька пересек площадь и, проехав примыкавший к ней проулок и большую часть лежащей за ним улицы, остановил арбу напротив дядиного дома. В старой рубахе, выпущенной поверх измятых брюк, со двора на дорогу тотчас же вышел Мотя. Почесывая бугристую волосатую грудь, он спросил Боровика, наладившегося укоротить ослабленные постромки:

— О-о, Петро! А тебя куда несет?

— А туда же, куда всех.

— Выходит, тоже тикаешь?

— Тикаю! А что? — выпрямляясь, Боровик потемнел лицом и посмотрел на Мотю так, будто видел его впервые. — Что, я не такой, как все? Или немцы мне кумовьями доводятся? Я что, не имею права ехать?

— Ша-а, что ты раскричался, псих ненормальный! — довольный, что донял Петра, заулыбался Мотя. — Что ты мордуешься? Ты такая цаца, что тебя спросить нельзя? По мне, так катись себе хоть на край света. Я только потому и спросил, бо не пойму, что с людьми поделалось. Навострились, готовы носиться по белому свету, как те цыгане.

— Эх, Мотя, Мотя! Умный ты мужик, а дурак. От той жизни, что надвигается, не то что цыганом станешь — волком завоешь, — сказал Боровик.

То ли от того, что он, перегнувшись, подтягивал постромки, то ли от непривычно длинного для него разговора на лице Петра, побагровевшем от прихлынувшей крови, выступил пот. Смахнув его, он ласково стал похлопывать круп лошади.

Не найдя что ответить Боровику, Мотя молча поцеловал Даньку, прижал к груди белокурую головку Люськи. Под широкими обкуреными усами его предательски задрожали губы. Он поспешно отошел от арбы, отвернулся и, скрывая слезы, протяжно, с придыханием начал кашлять. Мотя, этот суровый и своенравный человек, никогда не имевший своих детей, души не чаял в племянниках. Ему было больно расставаться с ними, и, уже ни на что не надеясь, секущимся голосом он все-таки еще раз спросил у подошедшей Лии:

— Ну что, так и не передумала?

— Нет, Мотя. Мы поедем, будь что будет...

— И куда?

— Ей-богу, не знаю. Пока буду держаться наших. А если эта заваруха затянется надолго, то попытаюсь попасть на Дальний Восток, в Биробиджан. Ты же знаешь, что там живут мои Циля с Иоськой. Если удастся добраться до сестры, то вместе нам уже будет легче.

— Ты думаешь, что на Дальнем Востоке теперь так уж и спокойно? Пхе! — прицеливаясь прищуренным глазом на Лию, усмехнулся Мотя. — Там тоже не сахар. Рядом же самураи, холера бы их взяла! Я этот народец повидал еще в четвертом году, под Мукденом. Они тоже неплохие охотники до чужого добра.

— Ну, как бы то ни было, а свое решение я менять

ряв, мужчины собирались в кружки, курили, вели неспешные разговоры. Женщины возились с посудой, со скарбом, с детишками. Ребята постарше, обнаружив неподалеку пруд, принялись с шумом купаться. Вот так, всего за несколько считанных часов, оседлые люди превратились в кочевников.

Когда совсем уже стемнело, Ефим Фарбер и подехавший Мотя Светлицкий, грязный, с перепачканным копотью лицом, обошли лагерь, пересчитали подводы. Оказалось, что к этому времени к станции Яворное съехалась едва ли четвертая часть колонистов, которые намеревались эвакуироваться. Мотя и Ефим посовещались между собой, с другими мужиками и решили до утра никуда не трогаться. Они надеялись, что за ночь кто-нибудь еще подъедет, а главное — им хотелось дожидаться Степана Костюченко.

Данька поужинал, вдоволь накупался, устроил себе постель под арбой и улегся спать. Однако за день набралось столько впечатлений, что сразу уснуть он не смог и, ворочаясь с боку на бок, долго лежал, взглядывая на скопище звезд, холодно мерцавших в глубине небес. В лесопосадке давно уже утомонились птицы. Отсудачили женщины, разошлись, досыта накурившись, мужики. В пристанционном поселке умолкли собаки. В ямке под треногой, на которой мать и тетка Килина готовили ужин, уже подернулись пеплом прогоревшие кизяки. Рядом, перемалывая жвачку, шумно вздыхала Чернушка. Из ночной степи накатывался стрекот неугомонных цикад, лягушачий гвалт и топот стреноженных коней. Пахло дымом, увядающими травами, палым листом и бычиным потом. К полуночи посвежело. На лицо, одежду и на постель волгло пылью оседала роса. Данька накрылся большим клетчатым платком, с вечера сунутым в изголовье, начал молчком считать и на второй сотне незаметно уснул.

Проснулся он от сильного грохота, расколовшего ночь. Забыв, где уснул, он, вскинувшись, больно ударился головой о решетку арбы. Потирая то ушиб, то глаза, он непонимающе озирался. В заволоченном рябью небе, будто играя в прятки, бешено металась два прожекторных луча. В стороне от их лагеря, на станции, что-то с гулом и треском горело. словно огненные мечи, полоснув небосклон, лучи прожекторов упали куда-то в темень, но спустя какую-то секунду там, где они шарили, одна за другой взметнулись три ракеты.

Они прочертили светящиеся дуги и, рассыпаясь фосфоресцирующими искрами, стали медленно гаснуть.

Неподалеку, скрытые, казалось бы, еще больше сгустившейся теменью, громко и встревоженно переговаривались мать, тетка Килина и еще какие-то женщины. Слышались слова: диверсанты, лазутчики, десантники... Даньке стало не по себе. Он выбрался из-под арбы и хотел было уже пойти на голоса женщин, но, подумав, остался на месте. Не хватало еще, чтобы его заподозрили в трусости. И тут послышался мощный рокот моторов, слитный завывающий свист. Кто-то надрывно, во все горло, крикнул:

— Разбегайте-е-сь! Подальше, подальше от телег!

Данька упал на землю, затем быстро пополз обратно под арбу. И почти сразу же потрясающий грохот буквально колыхнул толоку. Взад-вперед качнулась арба. Тьму рассек огромный султан огня. Разгораясь, его золотисто-багровые языки все выше забирались в небо, все шире лизали его рваные края. Потом грохнул еще один взрыв и еще...

В таборе поднялась суматоха. С какой-то телеги взметнулся захлебывающийся плач перепуганного ребенка. Пронзительно заржала раненая лошадь. Это еще сильнее подстегнуло трехкутновцев. В багровых отсветах пожара, бушующего на станции, Данька видел их черные, мечущиеся у телег фигуры. Они хватали сонных детей и врассыпную бежали в степь. А Данька будто оцепенел. Он слышал мычание коров и рев быков, всхрипывание напуганных взрывами лошадей, но сам по-прежнему не двигался. Он даже не отозвался на слезный зов матери, подхватившей с арбы Люську и вместе с ней убежавшей куда-то в темень. При новом взрыве Данька укутал платком голову и забился под задние колеса арбы. С замирающим от страха сердцем он долго лежал там, слушая приглушенные, затихающие крики колонистов, треск и грохот рушившихся на станции строений...

Когда Данька снова выбрался из-под арбы, было солнечно и тепло, щебетали птицы, пахло кизячным дымом, и ничто уже не напоминало о ночном кошмаре.

Под утро к стану подъехали Степан Костюченко и с ним еще несколько семей колонистов.

— Здорово вам тут досталось, а? — пожимая руки

не стану. И тебе тоже советую: езжай, пока не поздно. Сам посмотри, почти вся колония стронулась с места. Что же, по-твоему, все дураки? Нет! Послушай, Мотя, ты же всегда был умным мужиком, как ты не поймешь, что дело очень серьезно. Ей-богу, поедem, а?

— Во-во, именно потому, что я умнее всех вас, я таки не еду! — посмеиваясь, Мотя стал вертеть толстым указательным пальцем перед самым носом Лии. — Ты понимаешь, что говоришь? Что же я хату, скотину, все свое добро суну в торбу и прихвачу с собой? Так пока еще нет такой торбы! А если бы и нашлась, я и то не поехал бы! Не могу я этого сделать, не хо-очу-у! Не такой уж я дурак, чтобы здесь кинуть хлеб и где-то на чужбине выискивать несчастные крохи! Ты да вон Петро — вы, оказывается, легкие пассажиры! Раз-два, и собрался. Ну и поезжайте. А я ни с места. Мой дом тут!

Слушая Мотю, Петро Боровик лишь неодобрительно поцокивал языком. «Вот же настырный, — думал он. — Пропадет он из-за своего упрямства и жадности. Ей-богу, пропадет».

Простившись с Мотей и вышедшей из дома заплаканной Ривой, Лия с тяжелым сердцем побрела за тронувшейся арбой. В конце улицы, на повороте, она оглянулась, вытерла слезы. Посреди дороги, вяло помахивая стянутой с головы косынкой, стояла Рива, а чуть в сторонке, скрестив на груди руки, застыл Мотя.

На самом косогоре Петро Боровик, ведший коней в поводу, остановился. Сдернув кепку с седой лысеющей головы, он вытер ею мокрое лицо, шею и, обойдя арбу, вдруг глухо сказал:

— Уже горит...

— Что горит, где? — в один голос спросили Лия и Килина.

— Да вон, за Маньжуровой балкой, — и он ткнул рукой в степь, где над желтовато-бурым полем вырывающего подсолнуха, клубясь и расширяясь, потянулись в небо столбы дыма.

— Что это, Трохимыч?

— Должно, скирды хлеба горят... То Светлицкий поджигает...

— Господи, что же это делается!

— Не оставлять же фашистам!

Боровик первый с трудом отвел взгляд от черного

дыма, все больше расплывавшегося над горизонтом, и повернулся лицом к колонии. Увлажнившиеся глаза его скользнули по ее высвеченным солнцем улицам, по серебристому жалу выющегося между камышей Ингула. В носу его защипало. Даже Люська и та почувствовала, как горек для всех этот миг.

— Ну, бабоньки, посмотрели, повздыхали — и го-ди, — натянув кепку и согнутым пальцем вытирая глаза, сказал Боровик дрогнувшим голосом. — Пора и ехать.

— Да, поехали, — залезая на арбу, эхом отозвалась Лия. — Трохимыч, только у Заячьей балки остановишься, ладно? Я возьму Чернушку из очереди.

— Добре, — ответил Боровик, забрался на арбу и, чуть потеснив Даньку, прочно уселся в передок, взяв в руки вожжи. — Ну, все сели? Тогда поехали. Но-о, ледашие!

Сухо щелкнул кнут. Почувяв твердую руку, сытые кони дружно натянули постромки, и арба легко покатила под гору. Оставшись как бы не у дел, Данька перебрался на задок арбы. Свесив ноги между ребер лестницы, он не отрываясь глядел на все отдаляющуюся колонию. Как бы уплывая за скачущий горизонт, из глаз сначала скрылись сады, затем и крыши хат. И лишь верхушки тополей, словно бы противясь все растущему расстоянию, несколько минут еще маячили над косогором. Но вот исчезли и они. Данька опустил голову, понуро глядя на вихляющий след, тиснутый на пыли дороги шинами колес.

К вечеру того же дня у густой лесополосы в полукилометре от станции Яворное собралось больше полусотни подвод трехкутновцев. Колонисты расположились шумным табором, почти целиком уставив телегами большую, вытопанную скотиной толоку. После остановки мужики не успели еще распрячь лошадей, разнатыкать быков да выкурить по сигарке, как женщины уже принялись стряпать. Установив чугуны на треногах, на подвернувшихся под руку камнях и кусках кирпича, а то и просто над вырытой в земле ямкой, они из собранного тут же кизяка и бурьяна мигом развели костры. Прямо у телег доили коров, здесь же на разостланных дерюжках или мешковинах ужинали. Повече-

заждавшимся его Светлицкому и Фарберу, первым делом спросил Степан. — Наших никого не задело?

— Слава богу, обошлось! Но тут такое творилось, что хуже не придумаешь! — принялись наперебой рассказывать Мотя и Ефим. — От элеватора остались одни груды. Немец сначала кинул две бомбы и улетел. Ну, думаем, все, пронесло. Так нет же, нашлись какие-то сволочи, ракетами показали, где и что бомбить. Словом, у нас тут была та еще ночка! Ну, а что в колонии?

— МТС взорвали при мне. Электростанции, должно, тоже уже нет. Думаю, что Митька Фурман и боец-взрывник выполнили задание. Ну, что еще... Верстах в двух отсюда мы обогнали нашу череду. Скотина идет ничего, кучно. А из колонии кроме нас, — он кивнул на прибывшие с ним семьи, — больше никто не поехал. Я уговаривал людей и так и сяк, втолковывал им, как малым детям, — нет, уперлись, и ни в какую. Ну и черт с ними! После пожалеют.

Степан, чего с ним никогда не бывало раньше, матерно выругался и, обведя взглядом столпившихся вокруг односельчан, вдруг накинулся с упреками на Лию Дундинскую:

— Ты случайно не Мотю вашего поджидала? Не ищи, тут его нет. Это из-за него многие пооставались. Он да еще эти забулдыги Гундосый с Винником такую агитацию развели, что куда там! Ходят по колонии и нашептывают людям: «Зачем вам ехать! Что вы, партейные? Нехай начальство бежит, а простым мужикам немец ничего плохого не сделает». А лично мне этот сукин сын, Гундосый, прямо заявил: «Тебе, Степан, надо тикать. Ты колхоз организовывал, добрых хозяев разорил да из деревни выселил, собрания всякие проводил и на них первый же и хлопал в ладоши. Ты бойся, ибо тебя немцы первого и повесят». Видите, какой он оказался сволочью?

Степан малость успокоился и тут же перевел разговор на дела насущные:

— Ну что, будем двигаться?

— Да, надо трогаться, — почесывая висок, сказал Мотя Светлицкий. — Какой смысл еще ждать? У Фурмана хорошая бричка, он знает, на какой дороге нас искать, так что догонит.

— И я так думаю, — согласился Степан. — Запрягайте, люди добрые, и будем трогаться.

Колонисты поспешили к своим телегам. Табор мгно-

венно пришел в движение. Начали уже выправлять на дорогу, и тут из-за лесополосы, наполняя воздух запахом мочи и пота, показалось колхозное дойное стадо. Коровы брели медленно, натываясь мордами одна на другую. Проходя мимо подвод, буренушки поворачивали головы к колонистам, тянулись к ним, трубно мычали. Два верховых пастуха с трудом погнали их дальше. За стадом двигались большая мажара и две колымаги с высокими бортами. На них вместе с домашним скарбом пастухов и доярок было нагружено еще десятка два бидонов для молока, ведра да громоздкий и вряд ли нужный в такое время сепаратор.

Светлицкий пропустил стадо и, держась за грядущую, пошел рядом с задней колымагой, на которой со своей семьей ехал заведующий фермой Яков Сандлер.

— Ну, все в порядке? — заглядывая в озабоченные янтарно-коричневые глаза Сандлера, спросил он.

— Пока нормально.

Потирая лоб, взглядывая на идущую впереди арбу и телегу, Светлицкий вдруг спросил:

— Слушай, Яков, а почему я не вижу Маню Рабинскую с дедом?

— В самую последнюю минуту передумала ехать, — морщась и теребя небольшие рыжеватые усы, ответил Сандлер. — Побоялась, что дед Мойша не выдержит дорогу.

— Лучшую доярку не смог уговорить. Жаль! — вздохнул Мотя. — Ах, какая у наших людей еще путаница в мозгах. Шарахаются то сюда, то туда. Ну, не буду тебя задерживать, Яков. Значит, как договорились. Гонишь череду до Берислава, переправляешься на другой берег Днепра и ждешь нас полдня. Если мы, паче чаяния, к этому времени не появимся, значит, дело швах, и ты идешь дальше, на Мелитополь. Все понял? Ну, будь здоров! Счастливо!

Когда колхозное стадо, втиснувшись под низкие ветви акаций и кленов, куполом накрывших дорогу, скрылось по другую сторону лесопосадок, тронулись в путь и колонисты. Через несколько минут они втянулись в пристанционную улочку. В некоторых дворах заметна была суетня сборов. Видно, их хозяева также готовились в дорогу. Кое-где вышедшие к плетням женщины и старики из-под приставленных к глазам ладней молча провожали обоз запечаленными взорами. Были уже и опустевшие подворья. Там хаты гляделись

в улицу пустыми глазницами окон, распахнутыми настежь воротами...

Дорога со станции шла мимо элеватора, неподалеку от его сорванных с крюков покореженных железных ворот стояла эмка. Когда передние телеги трехкутновцев поравнялись с машиной, из нее вышел первый секретарь райкома партии Удовиченко — высокий, худой, с крайне утомленным лицом. Костюченко натянул жожи, прыгнул на землю.

Удовиченко пожал ему руку, кивнул на подводы, вытянувшиеся длинной цепочкой:

— Это все ваши?

— Наши.

— Скот эвакуировали? Что с МТС и электростанцией?

— Все сделали, Афанасий Терентьевич, как говорили.

Секретарь поздоровался с подошедшими Светлицким и Фарбером, как-то приглушенно сказал:

— Видите, что они натворили за одну ночь? Потом нам будет работы на добрый десяток лет.

Он повернулся к пепелищу, на месте которого еще вчера стоял элеватор. Разбитые емкости, горы задымленных бетонных блоков, исковерканное оборудование, полусгоревшие закопченные кирпичные подсобки, поваленные и обожженные деревья... На развалинах копились какие-то люди.

— Может, мы чем-нибудь поможем? — нарушая тягостное молчание, спросил Костюченко.

— Какая уж тут помощь? — прощаясь, горестно махнул рукой Удовиченко. — Нет, нет, вы поезжайте. И поторапливайтесь. Обязательно постарайтесь переправить скот.

Грузным шагом он пошел к легковушке. Но, прежде чем сесть в нее, снова взглянул на пепелище. Когда эмка, развернувшись, понеслась обратно в сторону Батаншево, тронулись своим путем и подводы колонистов.

Часам к шести вечера Роза Рабинская упаковала последний узел и, присев на него, подумала: «Ну сколько времени надо, чтобы дойти до конюшни, запрячь коня в телегу и приехать домой? Ну, полчаса, максимум —

час...» Но прошло уже больше двух часов, а Маня как ушла на хоздвор, так все не возвращалась. Досадую на мать, Роза вышла во двор, выглянула за калитку. Улица была какая-то онемелая в своем безлюдье, вечернее солнце стелило по ней прохладные длинные тени. Потоптавшись у ограды, Роза не спеша вернулась в дом. За торопливыми сборами ей недосуг было оглянуться вокруг. Теперь, когда все необходимое было сложено в мешки и увязано в узлы, она, послонявшись по комнатам, поразились тому, как скоро из них исчез привычный, годами налаживаемый уют.

Увидев под кроватью в горнице старый чемодан, Роза вытащила его, опустила на пол и откинула крышку. В чемодане лежали кое-какие ее детские игрушки, сохранившиеся ученические тетради и учебники. Девушка открыла одну тетрадь, затем другую и, потихоньку листая их, пыталась припомнить давно минувшее. Она так углубилась в это занятие, что не заметила, как в комнату заползли лиловые сумерки.

Растормошил ее дед Мойша.

— Пропала где-то наша Маня, а? — концом костыля легонько касаясь колена Розы, сказал старик, и голос его, обычно дребезжащий, лишенный жизни, прозвучал в опустело-ломкой тишине горницы неожиданно четко и гулко. — Ее хорошо посылать за смертью: пока она сходит, успеешь вволю пожить. Так что, Розэлэ, иди и сама подои корову. Бо она, о-о, слышишь, уже битый час мычит у крыльца.

Роза со вздохом побросала тетрадки и учебники обратно в чемодан, задвинула его под кровать и, взяв в коридоре подойник, пошла к корове.

Маня вернулась, когда на дворе была уже ночь. Войдя на кухню, она молча присела у стола и руками закрыла лицо.

— Что ты так долго? И почему без подводы? — недоумевающе глядя на мать, спросила Роза.

— Потому, что она мне не нужна, — чуть внятно ответила Маня.

— Почему? Передумали гнать череду? Или тебя кто обидел?

— Что за глупости! Нам и подводу давали, и череда давно уже ушла, — тихо проговорила Маня и, словно бы сгоняя с лица усталость, провела руками по глазам и опавшим за последние дни щекам. — Я напоследок подоила своих коров, помогла бабам погрузить би-

доны, сепаратор, другое барахло, но ехать отказалась. Подумай сама, ну куда мы с дедом поедem? Он же не выдержит. Я не могу допустить, чтоб он умер где-то под забором. Вот я и решила, что мы с дедом останемся, а ты поедешь. Поезжай, доня. Ты молодая, тебе нельзя здесь оставаться. Давай скоренько отберем тебе самое необходимое, и беги до Самуила Гройсмана. Я договорилась, он ждет тебя.

Сидевший у стола дед Мойша, оказывается, все хорошо расслышал.

— Конечно, поезжай! — кутаясь в фуфайку, поверх очков взглядывая на Розу, поддержал он Маню. — Тебе, коза, надо уезжать. Когда приходят чужие солдаты, они первым делом начинают охальничать.

— Дедунь, всем нам надо уезжать! — обняв старика и даже сквозь плотную фуфайку чувствуя его худобу, громко проговорила Роза над самым его ухом. — Ты же у меня такой умный и должен понимать, что доброго здесь нечего ждать. Ведь фашисты страшно зверствуют.

— Не шуми так сильно, я еще не оглох, — сказал Мойша и, почмокав губами, равнодушно махнул рукой. — Что мне фашисты, которыми ты пугаешь? Мне уже сам черт не страшен, тем более какие-то швабы! Я и так давно уже топчу чужую стежку. Подумать только, прошло столько времени, что и от сына моего, и от внука, твоего отца, козочка, уже звания не осталось, а я все живу. Расту, как луковица, головой в землю, а господь все не прибирает... Не, мне бояться нечего, а вы с мамой уезжайте.

— О, мне надо еще с вами рядиться? Разве я вас оставляю одного? Говорите бог знает что! — вспылила Маня и тут же накинулась на Розу: — А ты поменьше рассуждай да шевелись! Тебя же люди ждут! Где чемодан? Давай, сложи в него быстренько что тебе надо, а я соберу покушать в дорогу.

Вскоре Рабинские вышли из дома. Между ветвями акаций в палисаднике бледно светились едва еще проступившие звезды. Свежо пахло начавшей увядать листвой. За огородом, в соседнем дворе, тоскливо подвывала покинутая хозяевами собака. Нетвердыми шагами пройдя с Розой за калитку, дед Мойша поцеловал ее в лоб и затем, подслеповато щурясь, стараясь уловить в темноте удаляющиеся шаги правнучки и Мани, шептал бескровными губами:

— Егой Аденай бозрехо, Розэлэ! Аденай мацлиах эсдаркихо!*

Роза ушла, и в доме стало совсем неприветливо, сиротливо. Проводив дочь, Маня, чтоб хоть как-то забыться, уйти от тяготивших ее дум, начала распаковывать узлы и мешки, вновь застилать постели, развешивать занавески. Управилась она уже далеко за полночь и потом, не раздеваясь, прилегла на кровать. Так она и уснула.

По свойственной большинству стариков привычке дед Мойша проснулся с первыми проблесками зари. Побряхтывая, он сполз с кровати и, как был в шубяных носках, проковылял к окошку. Отогнув уголок ридна, он выглянул во двор и, не найдя там ничего интересного, вернулся в постель. Полежав с минуту, он присел, зажег свечу на столике у изголовья и, укутав плечи стеганым одеялом, принялся читать Талмуд. В доме снова воцарилась тишина. Лишь изредка ее нарушало легкое всхрапывание спавшей в горнице Мани да слабый шелест переворачиваемых страниц.

Внезапно дед Мойша приставил ладонь к уху и замер. Не по годам чуткий слух его уловил посторонний звук: не то тихий стон, не то сдавленный всхлип.

— Что такое? — сняв очки, вслух произнес он. — Неужели Маня так стонет? А что, все может быть, она же мать, разве ей легко было отпускать бог знает куда бедную девочку?.. Но, по-моему, это не Маня. Что-то на нее не похоже...

Жуя губы, рассуждая сам с собой, дед Мойша поднялся, сунул ноги в валяные опорки, подхватил костыль и, придерживая на груди концы сползающего одеяла, поковылял в горницу.

— Ах ты паскудница, ах непослушница! — задребезжал там его возмущенный тенорок. — Ну так кто оказался прав? Я же наперед знал, что она никуда не поедет! Говорил же Мане, чтоб и она уехала с ней, так нет, считает, что я выжил из ума. Ах коза, ах негодница! Маня, слышишь? Роза вернулась. Слышишь, что я говорю тебе? Ох, до чего же эти молодые любят спать! Маня, да проснись же!

— Господи, что стряслось? — отводя костыль ста-

* — Да поможет тебе бог! Пусть хранит тебя бог! (др. евр.)

рика, которым он ее расталкивал, Маня оторопело присела на постели. — Что вы не спите и другим не даете?

Приходя в себя, она торопливо натянула подол юбки на оголившиеся колени, ладонью вытерла мокрую со сна щеку.

— Пока ничего особенного еще не случилось. Слава богу, небо на Трехкутную еще не упало. Но ты лучше посмотри туда, тогда увидишь, что стряслось, — пробубнил старик и, не оборачиваясь, желтым пальцем указал через плечо в угол.

Маня повернула голову и от досады бессильно заплакала. А в углу горницы, калачиком свернувшись на кушетке, как ни в чем не бывало сладко посапывала Роза.

18

На другой день после отъезда из Трехкутной последних семей колонистов, пожелавших эвакуироваться, в дом к Моте Дудинскому неожиданно появился сапожник Беня Гундосый. Было очень рано, солнечные лучи, только еще вползшие на наличник окна, пытались заглянуть за высокую полотняную штору, и в полусумрачной кухне, разводя на загнетке огонь, топталась одна лишь Рива.

— О-о, Беня! Что за спешка такая? — зная, что муж не водит особой дружбы с Гундосым — пьяницей и пустобрехом, — она и сама не очень-то приветливо встретила незваного гостя. — Что, твои грандиозные гешефты спозаранку покоя не дают?

— А-а, какие теперь гешефты? — встав в дверях, головой подпирая высокую притолоку, до поры еще сдержанно, миролюбиво ответил Беня. — Разве сейчас можно что-то спокойно делать? Теперь у человека одна забота — это думать, думать...

— Какие же это думы, что они тебя так мучают? И с каких пор ты вообще стал думать? — по-прежнему не оборачиваясь, поддела она его.

Рива недолюбливала Гундосого, лодыря и забулдыгу, и, если им доводилось ненароком встретиться где-нибудь на улице, она никогда не скрывала свою к нему неприязнь. А дома — тем более. Но и Беню смутить такими понятиями, как дружеское расположение или, наоборот, антипатия, тоже было не так-то просто.

Вот и теперь, явно Риве назло, он, пройдя к столу, ногою выудил из-под него табурет, прочно уселся и, насмешливо поглядывая на широкую, как у битюга, спинку хозяйки, ехидно брякнул:

— Ты потому и растолстела, дорогая Рива, что тоже давно уже не шевелишь мозгами. А ведь я хорошо помню то время, когда Мотя впервые привез тебя из Романовки. Ты была тогда тоненькой, миленькой и, что самое главное, даже чуть-чуть умной.

— Э-э, да что с тобой толковать! Видно, правду говорят, что горбатого только могила исправит! Вот и ты, как был дурнем и пустобрехом, таким и помрешь.

— Все может быть. Как ты пророчишь, наверное, так и будет. Хотя я всю свою жизнь все-таки думал, — ощеря в улыбке рот, дразнил ее Беня. — То я думал, где достать выпивку, то — закуску к ней. А если, бывало, мне уже да повезет и я таки раздобуду и то и другое, там мне снова же приходилось думать о том, как со всем этим добром ненароком не попасться на глаза моей богоданной Басе. Потому, что она такая же язва, как и ты. Если тебя или, скажем, мою Басю вместо мази приложить на чиряк, то, ей-богу, его тут же прорвет.

— Во-во, я же говорю, что ты бесстыжий! — начала злиться Рива. — И где только родятся такие брехуны и бездельники!

— Разве ты до сих пор не знала? Здесь они родятся, в нашей колонии. Если бы ты с Мотей первые недели своего замужества спала бы не на мягкой перине, а в балочке у виноградника, то и вы в момент сострепали бы такого умника, как я, — продолжал чесать язык Беня, но, сообразив, что его занесло не в ту сторону, он, смахнув улыбку, сказал уже примирительно и серьезно: — Не серчай, Рива, я не хотел тебя обидеть. Ладно, оставим на позже, а то в другой раз нам не о чем будет поговорить. Где Мотя? Он мне нужен. Если спит еще, буди. Дело есть. Очень важное.

— Твое важное дело потерпит. Над головой у тебя не каплет? Так сиди молча и жди. А нет, можешь уходить.

В это утро Рива явно была не в настроении. Обычно во всем послушная мужу, она, из-за его категорического отказа эвакуироваться вместе с Лней и с другими колонистами, неожиданно взбунтовалась, насмерть с ним разругалась и не разговаривала уже целый день. А тут,

мало того, что навязался этот балаболка Беня, так будто по наговору не хотят разгораться и кизяки. С вечера она позабыла положить их в подтопок, и теперь они лишь дымят.

— Я и думаю, — то и дело дуя на кизяки и вытирая слезящиеся от дыма глаза, ворчала она, — что впереди еще очень длинный день и ты успеешь и вина налакаться, и со своим Мотей наговориться. Но лучше бы ты с утра уже напился, а потом пришел до нас. А то ты на себя не похожий. Чего-то в тебе не хватает.

— Рива, бог с тобой! — деланно возмутился Беня. — Разве когда-нибудь случалось, чтобы я с утра выпил? Тем более в эти дни! Нет, тут ты на меня городишь чистую напраслину. Да, так где же все-таки Мотя? Он мне действительно нужен.

При этих словах Гундосого со двора вошел Мотя. Кинув к печи засохшие виноградные лозины, он сунул перепачканные землей и паутиной руки под умывальник.

— Здорово, Беня! Чего вы тут сражаетесь? — тренькая соском умывальника и взглядывая на пунцовое от тихого гнева лицо жены, усмешливо спросил он.

Беня развел руками, улыбнулся ответно:

— Не знаю, чего она напала на меня? Сорвалась, как с цепи.

— Э-э, не обращай внимания, — вытирая руки, подчеркнуто громко сказал Мотя. — Так что ты хотел?

— Узнаешь. — Беня поднялся и, взглянув на напуганную спину Ривы, заговорщицки мигнул. — Тут что-то душно и дымно. Пойдем покурим на свежем воздухе.

На крыльце, присев на верхний выщербленный каменный порожек, Беня достал замусоленный кисет, клочок газеты и пальцами, с несмываемыми следами от просмоленной дратвы, насыпал на бумажку табак и, не спеша сворачивая сигарку, негромко сказал:

— Ты знаешь, что за новость? Самуил Гройсман сегодня под утро вернулся назад.

— Ага! — присев рядом с Беней, Мотя торжествующе хлопнул себя по коленке. — И до него, значит, дошло! Я же ему, дурню заикатому, говорил, что незачем уезжать. Все-таки одумался! Ничего, не сегодня-завтра другие тоже вернутся! Поблуждают, покатаются умники, а к своему дому все же пристанут.

— Мотя, ты напрасно радуешься. Гройсман вер-

нулся не потому, что одумался, — Беня так же не спеша прикурил. Серые глаза его, глубоко упрятанные под низкий в конопатинах лоб, пристально следили за спичкой, медленно сгоравшей в пальцах. — Он завернул назад потому, что немцы десантом захватили Яворное. Считай, что от нас теперь дороги никуда нет. Кроме, может быть, как на тот свет.

— Ну-у-у! Вот тебе и раз!

Это известие почему-то неприятно поразило Мотю. Правда, он ждал немцев, рассчитывал с их приходом вернуть из колхоза все свое добро. Но все это он представлял себе как-то не вполне еще определенно, абстрактно. Теперь же, когда его потаенные надежды вроде бы начинали обретать реальность, он почувствовал смутную тревогу, растерянность. Худо ли, бедно ли, но при Советской власти хоть жить стало спокойно, и, честно признаться, понемногу все стало налаживаться. А тут еще неизвестно, как все обернется. Смуглое и горбоносое, как у всех Дудинских, лицо его заметно побледнело, потом пошло какими-то пунцовыми пятнами, в складке под толстоватой нижней губой проступили капельки пота.

— Беня, что же нам делать? Как быть? — нервно ерзая, тихо спросил он.

— Я знаю? — выпуская клубящееся облачко дыма, хмыкнул Беня. — Сейчас уже поздно что-то делать. Даже если бы и хотел. По-моему, так нам только и осталось что сидеть да ждать «дорогих» гостей. Ну а пока еще есть время, давай начнем тренироваться. Ведь кланяться в пояс тоже нужен навык.

— Я тебя серьезно спрашиваю, а ты со смешками, — все еще растерянно помаргивая глазами, досадливо буркнул Мотя. — Знаешь, я что-то стал опасаться... Слушай, может, подкараулить момент, когда они до нас заявятся, и встретить их хлебом-солью, а? Как ты думаешь? Соберемся несколько уважаемых людей: я, ты, Федор Журба, для солидности можно прихватить еще раввина с дедом Мойшей Рабинским, и встретим их, а?

Беня Гундосый курил и непривычно долго молчал. Яркий солнечный луч, сбоку падавший на его лицо, золотился на отросшей щетине щеки, пунцовел на кончике рыхлого утиного носа. Когда окурок стал припекать ему пальцы, Беня словно бы очнулся. Кинув окурок под ноги, он каблучком старательно вдавил его в

землю, поднялся и, глядя мимо настороженно-ждуших глаз Моти, негромко, но твердо сказал:

— Ты как хочешь, а я не буду встречать немцев. Знаешь, Мотя, ты путаешь две разные вещи. Одно дело поругивать своих, когда они этого заслуживают, и совсем другое — встречать швабов. Нет, тут я тебе не напарник.

— Почему, позволь тебя спросить? — чувствуя неприятный холодок в груди, Мотя снизу вверх взглянул на Бению.

— Я же сказал. Ну, если желаешь, объясню поподробнее. Не хочу, потому что не нужны мне твои немцы. Я от них ничего не жду. У меня не было ни маслобойки, ни виноградника, ни чего-то еще, чтобы жалеть, — не преминул он уколоть Мотю. — По мне, так были бы живы мои молдаване с их бочками вина. Большого в жизни мне ничего не надо.

— Да-а, небольшие же у тебя запросы. Тогда объясни мне, чего же ты распинался на всех проулках, угонял людей не уезжать из колонии? — побагровел Мотя. — И зачем приперся в такую рань до меня?

— Не знаю... Пришел, чтобы сказать тебе про Гройсмана. А болтал я потому, что бить меня было некому.

— Эх ты, пустобрех! Бить его было некому. Ну, ничего. Теперь, наверное, будет кому! И за дело! Бо из-за таких людей, как ты, хвостом болтающихся в нобах, все и начинается...

Что именно начинается, Мотя так и не нашелся сказать. Он не уяснил этого для себя и после ухода Бени, хотя долго еще стоял у крыльца, тупо разглядывая свои поношенные войлочные чуваки.

На рассвете следующего дня, 10 августа, немцы вошли в Трехкутную. Их разведка на мотоциклах, появившаяся со стороны села Писки, лихо, как некогда конный татарский разъезд, влетела на верхушку Ногайской могилы. Обер-ефрейтор, сидевший в коляске переднего мотоцикла, сдвинул на затылок глубокую каску, поднес к глазам бинокль. Внизу, в реденькой предутренней дымке, лежало большое село. Слева от него — речка под пологим косогором, а справа — уходящая к горизонту степь. Обер-ефрейтор долго смотрел на дома, на пустующие улицы и, спрятав наконец бинокль в футляр на груди, резко взмахнул рукой:

— Вперед!

Мотоциклы стремительно покатали под гору. Подбавляя себя пулеметными и автоматными очередями, немцы на большой скорости пронеслись по сонным еще улицам колонии и умчались назад. А спустя какой-то час, дробя утреннюю тишину, в Трехкутную вползла огромная колонна камуфлированных танков, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей и автомобилей. Сминая и круша деревенские лавки рынка да ближние палисадники, вся эта армада заполнила площадь, прилегающий к ней проулок и часть улицы. Как только стих гул моторов, из всех машин посыпались солдаты. Многие из них мгновенно, будто призраки, растворились по дворам.

Офицеры вели себя сдержаннее. Неторопливо покинув машины, они разминались, курили, разглядывали дома и постройки, обменивались замечаниями. Их несколько не интересовало, чем во время привала занимались солдаты. А хрупкий рассветный воздух уже то и дело разрывали короткие всплески автоматных очередей; слышался звон стекол разбиваемых окон. На выстрелы злобным, захлебывающимся лаем отзывались собаки, испуганно кудахтали куры. Гогоча, гулко хлопая крыльями, по огородам и левадам разбегались гуси.

За углом рыночной площади, палисадник к палисаднику с сапожной мастерской, стоял под камышовой крышей небольшой дом заправщика первой тракторной бригады Бера Славина, прозванного Береноной. Беренона был высок ростом, широкоплеч, но сутуловат. И длиннорук. И, как все длиннорукие люди, он был очень сильный. Беренона мог шутя нести на закорках трехгодовалого быка. Но славился Беренона не огромной физической силой — этим в колонии трудно было кого-либо удивить. Он был примечателен своим выдающимся крючковатым носом. Таким большим, какой за всю историю Трехкутной не имел еще ни один из ее жителей. Нос этот был притчей во языцех, и из-за него, собственно, Бер Славин и получил свое нелестное прозвище.

Лет за пять до войны у Береноны вдруг скоропостижно умерла жена, оставив ему четырех малолетних дочерей. Трудно было мужику одному растить девочек. Но он не привел в дом другую хозяйку, а сам лез из кожи,

чтобы поставить их на ноги. Беренона днями носился по колхозным полям, заправляя тракторы, а ночами сапожничал. Он был отменным модельщиком, и лодочки, сработанные его руками, охотно носили даже самые взыскательные городские модницы. Последнее время ему вздохнулось немного легче, потому что с домашними делами уже успешно справлялись две его подросшие старшие девочки — Ева и Люба.

В Трехкутной Беренона и его дочери стали первыми жертвами фашистов. Когда немцы кинулись шарить по ближним дворам, два солдата завернули и к Славыным. Один из них направился было к курятнику, но второй немец, рыжеволосый детина, очевидно, больше поднаторевший в подобных делах, со смехом остановил его.

— Гельмут, — придержал он напарника за локоть. — Тебе захотелось яичек? Натощак?

— Не мешало бы.

— Для этого незачем пачкаться в помете. Вот погреб. Надеюсь, там мы найдем все, что нужно.

— Ладно, пошли туда.

Ножом поддев пробой в косяке погребной двери, немец не без усилий выдернул его и ударом сапога открыл дверку. Из подземелья запахло свежестью и соленьями. Оглянувшись на Гельмута, рыжеволосый стал осторожно спускаться по крутым ступенькам. Дойдя до конца вымощенной кирпичом лестницы, он остановился, громко ругнувшись:

— Черт возьми, здесь темно, как в преисподней! Гельмут, где ты застрял? Ну-ка, посвети!

Спускаясь, второй солдат включил ручной фонарик. Его тонкий луч, скользнув по овальной кладке кирпичного свода, покрытого легким налетом плесени и паутины, скакнул затем вниз, метнулся из угла в угол погреба и, все увеличиваясь желтовато-белесым кружком, вдруг высветил из прохладной духовитой тени, таившейся за бочонками и ивовыми корзинами, два испуганных девичьих лица.

— Гельмут! Погляди, какие прелестные курочки тут прячутся! Ха-ха! — возбужденно воскликнул рыжеволосый. — А ты говоришь: яички! Ха-ха-ха! Ну-ка, красотки, покажитесь! Вылазьте, не бойтесь! Мы только пощупаем ваши косточки, и все!

Посмеиваясь и похотливо потирая руки, солдат, слегка пригнувшись, шагнул к бочонкам.

Беренона с младшими девочками хоронился на чердаке хаты. До этого упрятав Еву и Любу в погреб и закрыв дверь на замок, он наивно полагал, что уберег их от всех бед и напастей. Но когда солдаты направились к погребу, Беренона, следивший за ними в щелку фронтона, понял, что несчастья не миновать. Дочери были для него единственной отрадой в жизни, и он не стал раздумывать. Скатившись с чердака, он машинально поднял валявшийся шкворень и кинулся в оставленный солдатами открытым вход в погреб. Уже на середине лестницы он услышал отчаянный девичий крик.

— Боже праведный! — топоча вниз, шептал он. — Где же твои всевидящие очи?

Со света Беренона не сразу разглядел, что происходит около корзин и бочонков. Он слышал лишь звон разбиваемых бутылей, всхлипывание, выкрики и тяжелое дыхание борющихся людей. Кинувшись в темень, он наткнулся на рыжеволосого немца, схватившего какую-то из девочек. Беренона с маху опустил на его голову свой тяжелый кулак. Не охнув, тот стал оседать на кирпичный пол. Перешагнув через его тело, Беренона метнулся ко второму солдату. Он и его успел ткнуть куда-то в грудь, но, отлетая от удара к стене, немец веером дал из своего автомата длинную очередь по Береноне и его дочерям...

19

Август был на исходе, а солнце пекло по-прежнему нещадно. Днями в парном воздухе висла невидимая пыль и зыбились над млеющей землей бесконечные миражи. Правда, ночами далеко за горизонтом небо расцвечивалось и подергивалось частыми зеленовато-белыми сполохами, но дождем и не пахло. А наступал новый день, и землю давил все тот же нестерпимый зной, немилосердно опаляло все живое слепящее белое солнце.

Взбивая едкую пыль, по дороге еле плелись усталые кони и быки. Однако и при такой неважной езде трехкутновцы за две недели отъехали далеко от колонии. Ближе к Днепру им все чаще стали попадаться уже убранные поля, а местами пашни даже чернели клиньями ранней зяби. Но видели они и несвеженные суслоны хлеба, и невымолоченные скирды. В ожидании хозяйских рук томились на полях и вызревшие подсолнухи,

и горох, и кукуруза. Тишина и запустение на пашнях и гумнах, гибнущее на корню добро — все это не только отзывалось болью в душах беженцев, но и пугало, вставало перед ними призраками голодных двадцать первого и тридцать третьего годов.

Колонисты оставили позади себя уже десятки километров, а дорога все разматывалась, словно клубок, не имеющий ни начала, ни конца. Останавливаясь иногда в деревнях, чтобы разжиться хлебом, встречаясь в дороге с такими же, как и они, беженцами, трехкутновцы все чаще слышали разговоры о том, что фашистские летчики безжалостно бомбят и обстреливают не только наши отступающие войска, но и мирных жителей, идущих по степным дорогам на восток. Колонисты верили и не верили этим слухам, ибо, если не считать ночной бомбежки у станции Яворное, они передвигались пока без происшествий.

Но и трехкутновцы не избежали ужаса воздушного налета. Случилось это уже вблизи Днепра, километрах в шести от многолюдной слободы Большая Александровка. Запасшись хлебом, солью, сахаром и другими необходимыми продуктами, колонисты уже под вечер покинули это большое селение, буквально наспигованное разными штабами, воинскими частями, полевыми медсанбатами и тыловыми подразделениями. Какое-то время вынужденные двигаться оживленным шоссе, трехкутновцы все поглядывали на три самолета «кукурузника», вероятно, патрулировавшие лазоревое, в редких тучках предзакатное небо. Словно бы опекая идущий по магистрали поток автомашин и тракторов, обозы эвакуированных и толпы пеших беженцев, гурты скота и отары овец, эти ПО-2 иногда пролетали над самой землей. И тогда мальчишки прямо-таки вопили от восторга, а кони, и особенно овцы, ошалело шаркались в стороны. Самолеты барражировали долго, в конце концов они примелькались, и вскоре редко уже кто обращал на них внимание. Тем неожиданнее для всех оказался крик Юрки, младшего сынишки Степана Костюченко, прозвевший над растянувшимся обозом трехкутновцев:

— Тату-у-у! Гляди, вон летят какие-то другие аэропланы!

Степан в это время шагал сбоку арбы Айзика Шора, долговязого колониста, которому дремучая черная борода придавала угрюмоватый вид, и что-то доказывал

ему. Услышав крик сынишки, он бросился догонять свою пароконку, шедшую в голове обоза. Степан вскочил на штыльвагу телеги и секущимся от пробежки голосом спросил:

— Какие аэропланы? Где ты их видишь?

— Вон они, — ответил Юрка и рукой ткнул куда-то в сторону небосклона, расцвеченного малиновыми красками заката. Но видя, что отец смотрит намного правее, он досадливо крикнул: — Да не там! Ну куда ты смотришь!

— Тьфу, хай тобі грець! Чего ты мне голову морочишь? Нема там никаких аэропланов!

Взявшись за грядущку телеги, он хотел уже было опять соскочить на дорогу, как вдруг все-таки увидел немецкие самолеты. Их было четыре. Один за другим они как бы соскользнули с небольшой тучки, расписным коромыслом опрокинутой над малиновым солнцем. Бесшумно, словно тени, они в считанные минуты настигли тихходные «кукурузники», по-ястребиному ринулись на них и тут же круто взмыли вверх. Лишь теперь до шоссе долетел резкий, звучный рев их моторов и торопливый перестук пулеметных очередей. Между тем у одного ПО-2 загорелось крыло. Падая, он как бы повис на тянувшемся за ним длинном шлейфе густого дыма. Оставшиеся невредимыми, остальные ПО-2, снижаясь, кинулись врассыпную. Но их губила малая скорость. «Мессершмитты» развернулись, описали полкруга, опять накрыли их и подбили оба «кукурузника». Над росшей вдоль дороги густой клещевиной, куда упали самолеты, поднялись султаны огня и дыма.

Степан не заметил, как остановились кони. Задрав голову, прислонив ладонь щитком к глазам, он смотрел на этот неравный воздушный бой. Степан и остановившиеся вслед за ним другие колонисты упустили из виду «мессершмитта», сбившего первый ПО-2. Они спохватились лишь тогда, когда вместе с чьим-то запоздалым диким воплем: «Тикайте! Зараз будет бомбить!» — буквально над их головами с бешеным ревом и свистом пронеслась длинная тень истребителя. Хватая детей, беженцы со всех ног бросились в спасительную серозеленую клещевину. Но было поздно...

А минут через десять, когда немецкие самолеты, утянув за собою гул, скрылись в заволоченном вечерней пасмурью поднебесье, из клещевины выбрались все еще не отошедшие от испуга люди. Их глазам предстала

ужасающая картина: опрокинутые горящие телеги, бьющиеся в предсмертной агонии кони, раскиданный скарб и тела убитых...

Трехкутновцы не досчитались шестерых односельчан. Их положили рядом, на очищенном от клещевины клочке земли. Эсфирь Лифшиц, Ивана Коржа, Дору Гуревич, Хаима Магазанника, Соломона Песина и Рахмиела Фарбера... Несколькими минутами раньше они еще жили общими со всеми заботами и надеждами, как и все, к чему-то стремились, и вот их лица уже неотвратимо кроет землисто-шафранный цвет смерти.

Степан Костюченко с зажатой в руке кепкой молча глядел на убитых. Соломон Песин лежал с краю этого скорбного ряда. Бледные руки у него сложены на груди. Из-под левого локтя на рубашке темнело кровавое пятно. Глаза закрыты истертыми монетками. С другой стороны этого ряда, сразу же как бы уменьшившись в росте, лежала, будто спала, старая Дора Гуревич. На морщинистом коричневом лице ее застыла маска полной отчужденности от всего земного...

Убитых завернули в простыни, опустили в наспех вырытые ямы, насыпали над ними шесть холмиков. Постояли немного у могил, молча погоревали и поехали дальше, изредка оглядываясь на скрадываемое клещевиной и сумерками место, ставшее для них одновременно и проклятым, и дорогим.

20

К полудню в воздухе вдруг явно потянуло сыростью. Все еще ярилось солнце, над землей висела дымчатая мгла, и липкая духота, казалось, проникала во все поры тела. Но стоило ветерку слегка изменить направление, и вместо знойного терпкого духа полыни все вокруг наполнилось запахом ила, водорослей, реки. В такие минуты убыстряли свой шаг даже невозмутимо равнодушные воны. Росло и нетерпение людей. Все понимали, что Днепр уже недалеко, но, как назло, оставшийся до него путь становился все труднее. Дорога вроде бы неуклонно поднималась в гору, а колея ее тем не менее все больше тонула в сыпучем песке. Местами телеги вязли по самые оси, но манящая сила воды была столь велика, что и люди, и животные, выбиваясь из

последних сил, упорно, метр за метром, продвигались вперед.

У Днепра же радость колонистов угасла. Вербы, тополя и дикие груши, густой и широкой изгородью росшие по-над кручей, до поры скрывали от них берег реки. Но, втиснувшись под зеленый шатер деревьев, они поняли, что в этом месте можно просидеть до пришествия Машиеха*. Потому что здесь творилось что-то невообразимое. В ожидании переправы на берегу сгрудились тысячи телег, сотни автомашин и тракторов, комбайны. Кроме того, прибрежный галечник и левады заняли еще и бесчисленные пешие беженцы, огромные гурты скота, табуны лошадей, отары овец.

— Мама риднесенька, вот это бедлам! — присвистнул Степан Костюченко, удрученно переводя взгляд с копошащегося человеческого муравейника на свинцово-серый могучий поток Днепра, по которому, словно игрушечные, ползли несколько рыбацких лодок и малосильный буксир с небольшим паромом.

— Степан, Мотя, ну что будем делать? — после затянувшегося молчания спросил кто-то из колонистов Костюченко и Светлицкого.

— А черт его знает! — свертывая сигарку, пожал плечами редко когда терявшийся Степан. — Кто же мог предположить, что тут соберется столько народу.

Он машинально прикурил от чьей-то поднесенной спички и, глубоко затягиваясь дымом, снова заскользил задумчивым взглядом по берегу и широкому, скалистому руслу Днепра.

Ефим Фарбер, стоявший тут же и, как все, глядевший то на берег, то на реку, снял полотняную, некогда выходную фуражку и, слегка взъерошив слежавшиеся мокрые волосы, предложил:

— Давайте спустимся к реке, у людей узнаем, что к чему, а там станет видно, как быть.

— Да, пожалуй, так будет вернее, — подумав, сказал Светлицкий. — Вы как, мужики?

— Конечно! Чего тут зря стоять и гадать, — согласились колонисты.

Когда спустились с кручи на запруженный до отказа берег, Светлицкий и Фарбер, протискиваясь между беженцами и телегами, сквозь ругань, крики, шелканье кнутов, всхрапывание лошадей, стали пробираться к небольшой, с односкатной крышей конторке пристани.

* Машеих — Мессия.

бы утаивая в изломе белобрых бровей вопрос: «А стоит ли отвечать?» Но все же сказала:

— Бригадир есть. Вон его изба. Под черепицей, с синими ставнями. Только его, должно, сейчас дома нету.

— Посмотрим. Спасибо, хозяйюшка! — Степан медленно отвел взгляд от ее полной белой руки.

Но бригадир был дома. На звяканье кольца в калитке, за которое взялся Степан Костюченко, откуда-то из-за угла дома сперва высочил здоровый рыжий пес и, гремя цепью, показывая желтые клыки и горячую красную пасть, зашелся злобным захлебывающимся лаем. И уж потом в ближайшем к крыльцу окошке мелькнуло чье-то лицо. Через минуту бесшумно отворилась хорошо смазанная в петлях дверь и на пороге встал среднего роста немолодой уже мужчина с удивительно ярким румянцем на свежесбранных щеках. Он громко цыкнул на кобеля и, когда тот, поджав хвост и ворча, снова скрылся за домом, спросил:

— В чем дело, товарищи? Кто вы такие?

— Извините, что потревожили в такую рань, — первым входя в калитку, сказал Степан. — Дело вот в чем. Мы эвакуированные, сидим тут неподалеку, на берегу. Хотели бы узнать, нельзя ли у вас разжиться хотя бы парочкой баркасов. Пусть плохонькие, старенькие...

Мужчина, почесывая одной босой ногой другую, коротко и вроде бы простодушно усмехнулся:

— Что вы, товарищи! Какие баркасы? У нас были четыре лодки на весь хутор, так мы и те давно уже отдали! Там они, на переправе.

— Жаль, — коротко отозвался Степан.

По ехидным шелкам зеленоватых глаз на сытом лице бригадира он понял, что тот говорит неправду. Но не драться же с ним! Степан переглянулся со Светлицким, и оба понуро пошли со двора. А Петро Боровик, в душе возмущенный не столько неудачей, сколько некстати благодушным видом мужика, не преминул уколоть его:

— Стало быть, нету лодок? А как же вы сами-то переправитесь? Или за вами специальный ероплан пришлют?

— Мы пока не собираемся уезжать ни на аэроплане, ни на чем-либо другом. Указания такого нету. И ты, дядя, напрасно злишься. У нас теперь действительно нет лодок.

— Нету?

Вперевалочку сходя с крыльца, бригадир слегка по-мрачнел, подрождал бровью:

— Вот, ей-богу! Говорю же нету!..

— Петро, чего застрял? Пошли! — крикнул Степан.

— Иду-у! А ты, дорогой товарищ, скажи спасибо, что мне некогда с тобой по-настоящему побалакать!

— Как ты думаешь, он обманывает? — устало представляя притомившиеся ноги, взглянул Светлицкий на Костюченко.

— Кажется, врет. Хотя, черт его знает... Если подумать, то не мы первые такие умники... А что?

— Да так... Хутор какой-то... кулацкий.

— Нет, Мотя. Просто зажиточный. Видать, хозяева получше нас с тобой.

Поиски лодок ни к чему не привели, и трехкутновцы ни в этот, ни в последующие дни так и не смогли переправиться на левый берег Днепра. Несколько человек от них беспрерывно дежурили у паромы, но и там было мало утешительного. Их очередь почти не продвинулась, а число беженцев на берегу не только не уменьшилось, но наоборот — увеличивалось, казалось, с каждым часом. Однако делать было нечего, надежда теперь оставалась только на эту переправу. Людям приходилось терпеливо ждать. Ждали своего часа и трехкутновцы.

21

По понтонному мосту перебравшись через мутный Прут, черный «опель-адмирал» и следовавшие за ним две крытые грузовые автомашины выехали на Кишиневское шоссе. В километре от реки легковушка и грузовики прижались к обочине и остановились. С заднего сиденья «опеля» выбрался высокий, поджарый молодой офицер. Перепрыгнув широкий кювет, он тропкой прошелся немного вперед, расстегнул две верхние пуговицы плотно облегавшего тело френча, снял фуражку с высоким верхом и неторопливо провел белоснежным платком по бледному лбу и незагоревшей шее. Офицер достал портсигар, закурил и, разминая ноги, стал прохаживаться между двумя кленами, росшими у обочины. Изредка взгляд его скользил по зеленовато-рыжим складкам степи, волнами убегающей к кипенно-белым облакам у горизонта.

Земля, на которой он теперь стоял, была уже Рос-
сией, и офицер приглядывался к ней. Познания обер-
штурмбанфюрера* СС Хорста Дица об этой славянской,
теперь большевизированной стране, как, впрочем, и у
миллионов других немцев, были весьма относительны.
Некоторые скудные сведения о ней Диц почерпнул из
отрывочных воспоминаний отца, в первую мировую вой-
ну побывавшего в русском плену, да из пропагандист-
ских материалов нацистской партии, которые публико-
вались в периодике или издавались отдельными бро-
шюрами. Разумеется, он слышал о существовании серь-
езной литературы об этой стране и населявших ее на-
родностях, а подростком одно время даже увлекся
Достоевским. Но в основном он эту литературу не
знал. Не читал, считая такое занятие пустой тратой
времени. И вдруг ему понадобилось обстоятельное зна-
ние России. Однако у него уже не было времени навер-
стать упущенное.

Спустя полчаса Диц вновь сел в машину. Наслаж-
даясь ветерком, упруго врывающимся в приспущенное
стекло дверцы, оберштурмбанфюрер с неподдельным ин-
тересом и удовлетворением смотрел на рясные сады и
виноградники, кукурузные и табачные плантации, остаю-
щиеся теперь уже в своем, немецком тылу. Нередко на
глаза попадались и истерзанные взрывами, вытопанные
танками поля, втолоченные в землю злаки. Диц смот-
рел на все это, одновременно испытывая и гордость, и
сожаление. Его удручали погубленные на корню нивы,
в то время как его страна так остро нуждалась в хлебе.
Но он радовался, видя мощь германской армии. Он был
убежден, что эта самая мощь, отныне и надолго, будет
самым убедительным аргументом в отношениях между
ними, немцами, и покоренными народами.

Оберштурмбанфюрер и следовавшие за ним на гру-
зовиках солдаты из эйнзатцкоманды полиции безопас-
ности хорошо знали, что такое сила, усвоили, как ее
надо применять. У них был уже на сей счет солидный
опыт, первоначально приобретенный в собственном фа-
терлянде** и затем многократно приумноженный в окку-
пированной Польше. Теперь Диц с командой продви-
гался за наступающими частями рейхсвера, чтобы уста-
новить новый порядок и в некоторых районах южной

* Оберштурмбанфюрер — эсэсовский чин, соответствующий
званию подполковника в гитлеровском вермахте.

** Фатерланд — отчизна (нем.).

Украины. В своей полевой сумке Диц вез просторную
инструкцию насчет обезвреживания от коммунистов,
комсомольцев, советских и колхозных активистов тер-
ритории, которую ему вверят. Он имел при себе также
один из секретнейших приказов имперской полиции без-
опасности и СД «Об окончательном решении еврейско-
го вопроса в Европе». Пуще глаза берег оберштурм-
банфюрер и обстоятельные письменные рекомендации
начальника одной из секций IX отдела полиции безопас-
ности по уничтожению еврейской части населения на
оккупированной территории СССР.

Эсэсовцы подъехали к селу после полудня, всего
лишь две недели спустя после того, как через него про-
шла первая механизированная колонна немцев. У въез-
да в Трехкутную машины остановил патруль, который,
соблазнившись густой тенью, устроил свой пост под
раскидистым явором. У Дица проверял документы рос-
лый сухопарый унтер-офицер с жестким, прямоуголь-
ным лицом викинга.

— Это что за село? — поинтересовался Диц, когда,
козырнув, унтер вернул ему документы.

— Колония Трехкутная, герр оберштурмбанфюрер!

— Любопытно. Чья колония? Немецкая?

— Еврейская, герр оберштурмбанфюрер!

— Еврейская? — протяжно переспросил Диц и по-
вторил: — Любопытно. Унтер-офицер, что тут у вас —
комендатура? Где она находится?

— Прямо по этой улице, герр оберштурмбанфюрер.
Поезжайте. Там увидите.

На предельной скорости промчавшись по широкой,
как выгон, песчанистой улице, «опель» остановился у
большого каменного дома с высоким цоколем. На фрон-
тоне — черно-красный флаг со свастикой в белом круге.

Услышав протяжный скрип тормозов машины, из
комендатуры, видно, уже предупрежденный по телефону
патрулем, вышел невысокий, средних лет обер-лейтенант
вермахта. На ходу застегивая хорошо подогнанный мун-
дир, он сбежал с крыльца и торопливо пошел навстречу
Дицу.

— Хайль Гитлер! — приветственно вскинул руку
обер-лейтенант.

— Хайль! — небрежно ответил Диц.

У крыльца, перчаткой стряхнув пыль, густо припуд-
рившую френч и бриджи, Диц, поправляя наплечный
ремень, спросил:

— Герр обер-лейтенант, как я понимаю, вы фельд-комендант этого еврейского свинюшника?

Офицер усмехнулся в аккуратные рожеватые усы и, слегка прищелкнув каблуками, ответил:

— Так точно, герр оберштурмбанфюрер! Командир роты отдельного мотострелкового полка шестьдесят второй пехотной дивизии обер-лейтенант Георг Хоппе.

— Очень приятно! Хорст Диц, — пожевав тонкими губами, отрекомендовался оберштурмбанфюрер. — Скажите, обер-лейтенант, и много здесь евреев?

— Что-то около полутора тысяч.

— А более определенно? — не спеша поднимаясь на крыльцо, оглядываясь на шедшего за ним Хоппе, Диц строго сощурил красивые голубовато-синие глаза. — Не вздыхайте, обер-лейтенант, но когда речь идет о коммунистах и евреях, я предпочитаю абсолютную точность. Такова уж моя работа.

«Взял бы сам да и сосчитал! — мысленно сразу же ошетинился Хоппе. — И всегда они так, эти эсэсма-ны. Только появляются — и тут же гонор свой показывают». Но понимая, что подобным чинам ему, простому офицеру вермахта, лучше не перечить, он сдержанно ответил:

— По имеющимся в комендатуре спискам, сейчас в этом селе проживает тысяча четыреста пятьдесят три еврея обоего пола, герр оберштурмбанфюрер.

— Это другой разговор! — довольно произнес Диц и уже тише, словно бы только для себя, промолвил: — Значит, есть смысл начать работу отсюда.

В бывшем кабинете Степана Костюченко Хоппе, для порядка бегло взглянув на предъявленное Дицем удостоверение, поинтересовался:

— Герр оберштурмбанфюрер, вы действительно намерены остановиться здесь или поедете дальше?

— Вас это так занимает, герр обер-лейтенант? — внимательно разглядывая кабинет, вместо ответа холодно спросил Диц.

— Честно говоря, да. Видите ли...

— Я вас понимаю, обер-лейтенант, — перебил Хоппе Диц. — Надоело сидеть в этой дыре, хочется в бой. Понимаю... Кстати, у вас есть карта данного района? Будьте любезны, моя в машине.

Когда Хоппе развернул на столе большую карту юга Украины, Диц склонился над ней и, быстро отыскав нужную ему точку, очертил ее ногтем:

— Смотрите, обер-лейтенант. Вот ваша «палестина». Она, так сказать, тоже входит в зону действий наших команд. Таким образом, работу можно начать и отсюда. В нашем деле, герр Хоппе, суть важно не место исполнения задания, а оперативность и пунктуальность. Понимаете? В чем же конкретно состоит задание моей команды, я пока не могу вам сказать.

Присев на стул и устало прикрывая глаза, Диц сказал:

— Значит, так. Мы тут остановимся на некоторое время. Но и вам, обер-лейтенант, придется задержаться здесь еще на неделю-другую. Надеюсь, вам известна установка о том, что армия должна оказывать нам сильное содействие. Вот так... Да, еще один вопрос. Скажите, урожай весь убран, свежен? Нет? Плохо! Придется срочно поправлять положение. Полагаю, недели хватит, чтобы жители села с помощью ваших солдат проделали эту работу. Больше недели нельзя. Но... это мы обговорим несколько позже. А пока прошу вас помочь нам устроиться. Тут найдется помещение для моих парней и приличный дом для меня?

— Безусловно, — поглаживая массивный, с ямочкой посередине подбородок, ответил Хоппе. — В этом селе много хороших домов. В русском, разумеется, понятии. Но, за неимением других, сойдут. Так... Вы предполагаете занять покинутый хозяевами дом? Нет? Гм, что же вам тогда предложить? Так, так... Ага, вы можете остановиться у этих, — он прищелкнул пальцами, стараясь произнести какую-то фамилию, но, поняв тщетность своих усилий, быстро достал из ящика письменного стола длинный, как свиток, список. — У Ра-рабинских. Черт возьми, какие несуразные фамилии у русских евреев! Я смотрел, дом у них небольшой, но аккуратный, а главное — чистый. Надеюсь, вам понравится. Ну и самое главное — в доме у этих Ра-рабинских молодая хозяйка — прелесть! Настоящая Юдифь! Мои солдаты в первый же день попытались затащить ее в постель, но я вовремя вмешался. Для них есть девки попроще.

— Для кого же вы ее бережете, герр обер-лейтенант? — явно заинтригованный, усмехнулся Диц. В глазах его потух холодный блеск.

— Ни для кого, — слегка зарделся Хоппе. — Понимаете, это совершеннейшая красота. Просто жаль ее губить.

— А вы, обер-лейтенант, оказывается, чувствительная натура. Похвально! Впрочем, сентиментальность присуща всем нам, немцам. Ну, будем считать, что я принял ваше предложение. Посмотрю эту библейскую красавицу. Пожалуйста, дайте мне провожатого и распорядитесь, чтоб устроили мою команду. Я приведу себя в порядок, — брезгливо оттопырив нижнюю губу, Диц взглянул на свои бриджи, — и тотчас же вернусь. Поужинаем вместе, если вы не возражаете. Кстати, у вас есть прямая связь с Николаевым? Чудесно!

Хоппе нажал кнопку, вмонтированную сбоку стола, и на пороге кабинета появился коренастый плосколицый обер-ефрейтор. Он замер, вытянув руки по швам, а карие глаза его с нескрываемой завистью перебегали с трех серебристых кубиков в черной петлице френча Дица на кокарду в виде мертвой головы на фуражке.

— Шике! Проводите герра оберштурмбанфюрера на квартиру к Ра-абинским и помогите устроиться, — распорядился Хоппе. — Все, исполняйте!

— Благодарю вас! — сказал Диц.

Он поднялся и упругой походкой пошел из кабинета. У порога вдруг остановился, плотно притянул дверь после вышедшего в коридор обер-ефрейтора и повернулся к Хоппе.

— Герр обер-лейтенант, полагаю, вы уже догадались, зачем я тут? — тихо спросил он.

— Допустим.

— Так. Значит, предупреждать вас о том, что говорить об этом не следует пока никому, излишне? Прекрасно! Тогда до встречи! Хайль!

— Добрый день или добрый вечер, господа! — войдя на кухню к Рабинским, поздоровался Диц и, учтиво наклонив голову, ничего не упускающим цепким взглядом охватил сразу и комнату, и побледневшее лицо возившейся у плиты хозяйки, и любопытный, поверх очков, взгляд сидевшего у окошка с какой-то книгой дряхлого старика.

Вошедший следом обер-ефрейтор недоуменно уставился в ровно подбритый русый затылок оберштурмбанфюрера. «Сам дьявол не поймет этих эсэсманов, — кривя губы, подумал Шике, ранее подслушавший у двери весь разговор своего ротного с Дицем. — Здоровается с евреями, зачем-то любезничает».

Ему было непонятно поведение оберштурмбанфюрера. Лично он, Шике, даже не снисходил до того, чтобы общаться со своими «братьями по крови» — фольксдойчами. Тем более с евреями...

Продолжая между тем расточать улыбки, Диц, поглядывая то на Маню, то на деда Мойшу, продолжал:

— Ради бога, извините за непрошеное вторжение. Но что поделаешь, я человек военный. Да, так вот. Мне бы хотелось знать, вы не будете возражать, если я некоторое время поквартирую здесь? Я постараюсь никого не стеснять.

— Ваша учтивость безмерна. И мы, обезоруженные ею, конечно, не посмеем возражать, — с иронической ноткой произнес за спиной Дица мелодичный женский голос.

Оберштурмбанфюрер живо обернулся и, помимо воли, широко раскрыл глаза.

— О-о! Фройлен тоже здесь живет? — с хорошо разыгранным удивлением спросил он. — Какое приятное соседство!

— Да, живу. Это мой дом!

— Чудесно! А откуда у вас такое знание немецкого?

— В нашем селе многие владеют вашим языком.

— Это, наверное, потому, что ваш язык близок к нему.

— И поэтому тоже. Но в основном потому, что до вашего прихода мы дружно жили с нашими односельчанами немцами.

— Похвально! — делая вид, что не замечает ее вызывающего тона, сказал Диц. — Знаете, я тут обращаюсь к вашим близким, а сам думаю: «Понимают они меня или нет?» Оказывается, понимают. Это просто замечательно. Значит, мы сможем свободно общаться.

Говоря так, Диц не спускал с Розы восхищенных глаз. Хоппе оказался прав — девушка была восхитительна. Она была немного худая, смуглая и загорелая до черноты. Простенькое платье облегло ее тонкую фигуру. Лиловые полукружья усталости или бессонных ночей, улегшиеся под ее веками, еще сильнее оттеняли жгучесть глубоких лучистых глаз, а красиво очерченные пухлые губы и пунцовый румянец, покрывший смугло-матовую кожу слегка втянутых щек, придавали лицу особую прелесть.

— Фройлен, вам бы следовало украшать собою замок короля, а не прозябать в таком захолустье.

— Благодарю вас, — небрежно отозвалась Роза на слащавую банальную галантность Дица и спросила: — Скажите, нам будет позволено здесь жить?

— Конечно!

— Господин офицер, идемте, я покажу вам комнаты, — поспешно проговорила Маня, решившая таким наивным ходом отвлечь внимание немца от дочери. Отдвинув штору на двери в горницу, она пригласила его пройти туда. — Прошу вас, посмотрите!

— Да-да, благодарю!

Спустя несколько минут, вместе с Маней возвратясь на кухню, Диц сказал стоявшему у порога Шике:

— Обер-ефрейтор, передайте вашему командиру роты, что я доволен квартирой. На ужин пусть меня не ждет. Скажите, что я устал с дороги. Да, пусть мой шофер внесет вещи. Все, ступайте!

Так и не согнав с лица величайшее изумление, Шике козырнул и бесшумно выскользнул за дверь.

22

Трехкутновцы томились у Днепра уже четвертые сутки. Степан Костюченко, Мотя Светлицкий, Ефим Фарбер, Айзик Твердовский, сменяя друг друга, непрерывно дежурили у переправы. Колонисты облазили и обшарили всю окрестность в поисках каких-нибудь хоть мало-мальски пригодных плавсредств. Но все то, что могло держаться на воде, давно уже было в ходу, и все усилия ищущих ни к чему не привели. А время поджимало. Немцы неудержимо приближались к Днепру. Подтверждением тому были не только слухи, мгновенно распространявшиеся в тысячных толпах беженцев, но и все увеличивавшийся поток раненых бойцов из отступающих частей, и яростные конфликты, вспыхивающие у парома, и первый налет немецких бомбардировщиков на переправу. Положение с каждым часом становилось все более угрожающим и казалось безнадежным.

Лия Дудинская растормошила Даньку, спавшего в густой тени развесистой дикой груши у самой днепровской кручи. Снятой с головы косынкой обтирая его разомлевшее, в потных разводах лицо, она тихо попросила:

— Сынок, надо поискать Чернушку. Все уже подоили коров, одна наша осталась. Шляется где-то, чертовка. Как сквозь землю провалилась.

Жара допекала и в густой тени дерева. Присев, сонно раскачиваясь, Данька взглянул на мать осовелыми глазами.

— А лодки нашли? — спросил он.

— Покамест нет, — подавив вздох, ответила Лия.

— Вот видишь? Переправляться нечем, а тебе Чернушка нужна, — резонно, совсем по-взрослому рассудил Данька. — Пропала, ну и черт с ней.

— Не говори глупостей! Мал еще учить меня! Такая жара, а она досе еще недоенная. Тебе ее не жалко?

— Жалко, жалко!.. Вечно с этой коровой... Ладно, сейчас окунусь и поищу твою Чернушку...

Неподалеку от Днепра, на выжженной солнцем полянке, где, нудясь от зноя, мух и слепней, лежали и паслись, щипая скудную травку, быки и стреноженные кони трехкутновцев, Данька случайно оглянулся. За ним, держась позади шагов на тридцать, плелась Люська.

— Ты зачем идешь, а? — двинувшись навстречу сестре, сердито крикнул Данька.

— Тебе хотела помочь, — опасливо попятилась Люська.

— А я тебя просил?

— Не-е... Но я хотела заодно нарвать цветов. А одной же боязно идти.

— Ха! Вот еще дурочка на мою голову! Ну какие теперь цветы? Ты соображаешь? — уже мягче произнес Данька. — Не видишь, кругом все повыгорело! И потом — у мамы ты спросилась? Она же хватится тебя, будет искать.

— Я сказала ей.

— «Сказала», — передразнил он. — Тоже мне цветочница нашлась. Ладно уж, пошли. Только, чур, не отставай. А то отлуплю!

— А куда пойдем?

— Не знаю! Эта чертова корова может забраться в такое место, что ее днем с огнем не сыщешь. Пойдем хоть вон туда, в ту леваду. Может, она там прячется, — показал он на синеющий вдаль лесок.

Вскоре ему попалась на глаза припоздало зацветшая махровая веточка желтого донника. Данька сорвал ее и, как величайший дар, протянул сестре.

— Держи. Больше вряд ли что найдешь. Все уже

давно отцвело. Ну, может, полынок еще попадетсЯ.

Часто оглядываясь на Люську, носившуюся туда-сюда, Данька неторопливо шагАл к зеленой гриве верб, смыкавшейся с молодым лесом. «Конечно же, Чернушка, — досадливо размышлял он, — не будет торчать на солнцепеке. Наверняка полеживает себе где-нибудь в тенечке, а ты жарься, ищи ее».

Идти до левады осталось совсем немного. В серозеленом массиве Данька различАл отдельные вербы, молодые тополя и льнущие к ним кусты белотала. Он предвкушал уже прохладную сень деревьев, как вдруг виснувшую парную духоту взломАл приближающийся ноющий гул самолетов. Данька кинулся было бежать к леваде, но с пронизавшей тело дрожью вспомнил о сестре. Он оглянулся и чуть не застонал от досады и страха за нее. Увлечшись поисками цветов, Люська в своем светло-бордовом сарафанчике беспечной бабочкой порхАла далеко от него. Сглатывая бессильные слезы, он изо всех сил позвал:

— Лю-юська-а-а!

Но, увлеченная своим занятием, она не слыхАла его. У Даньки упАло сердце. Кляня тот миг, когда позволил сестре увязаться за собой, он помчался к ней.

Данька успел добежать до Люськи и вместе с ней упАсть на землю, как по траве заскользили гигантские тени бомбардировщиков. Прикрыв собою сестру, Данька несколько секунд лежал неподвижно, не в силах вымолвить даже слово. Ему не хватАло воздуха и жутко было глянуть в небо. Но постепенно любопытство взяло свое. Все еще трудно дыша, он глянул вверх: из-за левады к Днепру летело десятка два «юнкерсов».

«Ох и натворят же они там дел!» — с болью подумАл он и, будто воочию, снова увидел огромные воронки на берегу и десятки окровавленных людей, после недавнего воздушного налета немцев оставшихся недвижно лежать на горячем песке. Самолеты, в этот момент пролетавшие над ними, начали сбрасывать бомбы, и Даньке показАлось, что черные капли, несущиеся к земле, упАдут как раз на него с Люськой. Бежать еще куда-то не было сил, и он, отыскивая хоть какое-нибудь укрытие, зашарил глазами по реденькой жесткой траве. Но земля вокруг была ровной, как столешница, и ему оставАлось лишь позавидовать серому жучку, спокойно заползшему в еле приметную трещинку, перед самым его носом...

Даньке показАлось, что степь раскололась от взрывов бомб, сброшенных немцами на лужайку, где бродили кони и молочный скот трехкутновцев. Он со страхом ждал, что последующие взрывы вообще поставят все вокруг вверх тормашками. Но черные султаны дыма, огня и вздыбленной земли постепенно удалялись, грохот становился все слабее, а вместе с ним проходил и страх. Вскоре Данька поднялся. Неотрывно глядя в том направлении, где была переправа, он увидел лопающиеся в небе кудрявые облачка. Данька воспрянул духом, сообразив, что на пути у «юнкерсов» встали огненным заслоном снаряды из тонких стволов зениток, что чуть проглядывАли сквозь листву деревьев на берегу Днепра.

Даже с большого расстояния было видно, как вокруг, казалось бы, неподвижно повисших самолетов часто вырастали разрывы. Они кудрявились, расплывались, таяли и появлялись снова, но, увы, «юнкерсам» это как будто не вредило.

Огорченный промахами зенитчиков, Данька взял за руку Люську и зашагАл к леваде. Оглядываясь и чертыхаясь, он все же надеялся, что вот-вот грохнется хоть один бомбардировщик. И его надежда сбылась. Пройдя несколько десятков шагов, он опять машинально обернулся и от радости вскрикнул так громко, что семенящая рядом Люська испуганно споткнулась и удивленно уставилась на него.

— Ура-а! Наконец-то сбили одного! — размахивая руками, кричал Данька. — Видишь, сверчок? Вот это дали!

И действительно, исходя струйкой дыма, один бомбардировщик под уклоном стремительно несся к земле. Не успел этот самолет слиться с дымчатой ниткой далекого горизонта, как еще два «юнкерса», волоча за собой черные хвосты, почти одновременно ринулись ему вдогонку. В эту минуту ликующему Даньке больше всего хотелось бы со всех ног припустить к переправе и там хоть одним глазком взглянуть на дымящиеся обломки «юнкерсов». Но он не мог послушаться мать и, кляня на чем свет запропастившуюся корову, снова побрел к леваде.

Крайние вербы и кусты, на расстоянии маневшие голубоватой прохладой, вблизи оказались серыми от пыли и зноя, с обморочно обвисшими листьями, уже отмеченными желтыми прожилками увядания. Было похоже, что в этот слепополуденный час деревья, как

и люди, тоже изнывали от парной духоты. Но в глубину чащи солнце почти не проникало, и, пронизанная терпким запахом тлена, в ней баюкалась мягкая, застойная, сухая прохлада, изредка прострачиваемая вялым щебетом дроздов. Дождь, очевидно, давно не полоскал эти одичалые заросли, и грязные свивки паутины густо оплели кусты хвороста, низкие раскидистые ветви черноклена, убранный глянцевидами, буро-зелеными плодами шиповник.

Вороша ногами толстый, годами слежавшийся слой листвы, Данька с Люськой все глубже забирались в лес, но свою корову они так и не видели. Пора уж было возвращаться назад, но Данька как-то машинально все шагал и шагал дальше. Около высокого куста белотала он вдруг остановился и, цыкнув на Люську, стал прислушиваться. Отводя от себя гибкую хворостину, узкие пыльные листья которой неприятно щекотали лицо, он вновь сердито шикнул на сестру, хрустнувшую валежником.

— Не можешь постоять спокойно? Кому сказал, замри!

— Что там, Чернушка? — взглянув на него, шепотом спросила Люська.

— Какая еще Чернушка! Слышишь, по-моему, это журчит вода. Давай посмотрим, а? Хоть попьем да смоем с лица эту противную паутину. Ты хочешь пить?

— Хочу, — сказала она и лизнула губы.

— Тогда пошли. Должно быть, вода где-то недалеко.

Лес был чужой, он пугал своей таинственностью, и Данька с Люськой, пробираясь дальше сквозь деревья и кусты, старались теперь ступать так тихо, что ни одна веточка больше не хрустнула под их ногами. Вскоре они вышли к глубокому оврагу, по глинистому дну которого не спеша катился ручеек. Спустившись, они с наслаждением погрузили в него испачканные потные руки. Вода в ручейке казалась темной и тяжелой и пахла листом. Однако, вволю напившись, умыв лицо и саднящие руки, Данька долго еще плескался. Отводя опавшие в ручей сухие листья верб, он ребячливо ставил ладонь против течения. Вода у ладони взбурливала, вставала прозрачной пленкой, и, глядя на нее, он поражался той настойчивости, с какой она стремилась бежать по давно проложенному руслу.

Вдоволь наплескавшись, Данька поднялся и, слу-

чайно глянув вверх по противоположному склону оврага, обмер, боясь поверить собственным глазам. Из-за повити дикого хмеля, рыжеватой шубой опутавшего стелющиеся ветви искривленных верб, неправдоподобно ярко синел чуть высунувшийся окрашенный нос баркаса. Не совсем еще веря в свою редкостную удачу, Данька перемахнул через ручей, с кошачьей прытью вскарабкался по крутому склону оврага и к великой радости обнаружил в чаще не один, а два баркаса. Бегло оглядывая абсолютно целехонькие лодки, Данька догадывался, что кто-то намеренно упрятал их сюда. Он понимал, что такое могли сделать только очень плохие люди, но в эти минуты все помыслы были не о них. Главное теперь заключалось в том, чтобы как можно скорее рассказать о своей находке колонистам. Случайно наткнувшись на лодки, он опасался оставить их без присмотра. Ему казалось, что как только он на несколько шагов отойдет от этого места, лодки исчезнут так же внезапно, как и появились. Ах, если бы Люська одна сбегала к стану! Но ее не пошлешь, чего доброго, еще заблудится. Ищи ее потом. И оставить сестренку караулить лодки тоже боязно. Подумав, Данька взял за руку Люську и что было духу побежал к Днепру.

23

В тот же день трехкутновцы начали переправляться. С первой ходкой на левый берег Днепра отправили часть детей и для присмотра за ними — двух женщин. В каждый баркас Степан Костюченко посадил также по двое мужчин, с тем чтобы они на ходу сменяли друг друга на веслах, а заодно и следили бы за привязанными к корме лошадьми. Следующим рейсом на левобережье перевезли оставшихся ребятишек и несколько женщин. С каждой ходкой колонисты укладывали в лодки и кое-что из разобранных телег.

Степан Костюченко и здесь показал себя хорошим организатором. Трехкутновцы работали дружно, споро, без лишней суеты и к полуночи уже переправили на другую сторону Днепра детей, женщин, стариков, половину лошадей и около десятка телег. Было сделано много, но далеко не все. Еще надо было перевезти весь скарб, оставшиеся арбы, телеги, брички, быков и ко-

ней и, если удастся, также и часть коров. Августовские ночи длиннее июньских, но не настолько, как бы того хотелось теперь колонистам. Все же они надеялись к утру переправиться, чтобы с восходом солнца, после почти недельного перерыва, снова продолжить свой путь на восток.

Однако неожиданно план их несколько изменился. Когда чуть забрезжила заря, к Днепру, как раз к тому пятачку берега, где они переправлялись, то ли случайно, то ли по другой причине вышло небольшое воинское подразделение. Красноармейцев и командиров в нем было немного, может быть, с полсотни человек, и на каждом из них лежал отпечаток тяжелых боев и не менее трудного отступления. Почти все они были израненные, вероятно — голодные и безмерно измотанные. Спустившись с кручи, бойцы тут же попадали на стылый прибрежный галечник, и, казалось, нет силы, что смогла бы поднять их. Ничто их не прельщало: ни вода, ни еда, ни даже курево, которым с ними охотно готовы были поделиться еще остававшиеся на правом берегу колонисты. Бойцам хотелось только одного — хоть немного поспать.

Бодрствовать остался только командовавший этим подразделением пожилой капитан. Когда все его подчиненные уснули, капитан подошел к Днепру, присел на корточки и, поплескав себе в лицо воды, докрасна утерся носовым платком. И лишь потом, носками сапог цепляя галечник, он медленно подошел к сидевшим на снятом передке арбы Степану Костюченко и Моте Светлицкому, безошибочно определив, что они здесь — вожак.

— Я видел, что от берега отошли груженные лодки, — поздоровавшись с ними и с завистью взглядывая на дымящуюся в руке Степана сигарку, сказал он. — Это ваши люди переправляются?

— Да, — ответил Степан.

— А нас не примете в компанию?

— Принять, конечно, можно. От лодок не убудет, — пристально разглядывая заросшее щетиной лицо капитана, заметил Степан. — Только не мешало бы узнать, кто вы такие.

— А разве так не видно? — незаметно для себя капитан слегка повысил голос.

— Видно не видно, кто вас поймет. И серчаете вы напрасно. Я потому так спрашиваю, что гитлеровцы сей-

час здорово под наших молотят. Они могут и под раненых красноармейцев подделаться, и черт знает под кого еще. Нас предупреждали, что немцы хотят создать на левом берегу Днепра плацдармы и для этого пойдут на любую хитрость.

Капитан поглядел на своих спавших вповалку бойцов, на куривших в сторонке колонистов и, подавив вздох, присел на сложенные штабелем решетки арб. Сняв фуражку, он поерошил волосы. На его широком лбу, изрезанном тремя извилистыми глубокими морщинами, резко белела не тронутая загаром полоска.

— Эти бойцы и я, — тихо, но твердо сказал он, — мы — регулярное подразделение Красной Армии. А теперь позвольте полюбопытствовать и мне. Вы — эвакуирующийся колхоз? Так?

— Допустим, — неопределенно ответил Степан.

— Я видел, что оба вы распоряжались загрузкой лодок. Вероятно, вы и возглавляете этот колхоз. Так... Значит, с вами можно говорить откровенно. Я — капитан Букарев. А это — моя рота. Вернее, ее остатки и присоединившиеся к нам другие бойцы и командиры. Послушайте, дайте закурить. Измучился без табака. Спасибо! Так вот, мы идем сюда от самой границы. Все время по занятой немцами территории. Только вчера, у деревни Высокополье, да-да, к сожалению, противник уже там, нам удалось с боем выйти из окружения.

Букарев на миг замолчал, прикрыл ладонью воспаленные глаза, а когда отнял руку, расслабившееся было лицо его вновь приняло напряженное, скорее даже жесткое выражение.

— Так вот, товарищи. Я вам советую, как только переправитесь, немедленно уезжайте от Днепра. Не мешкая, и как можно подальше. У нашего командования имеются данные, что противник попытается десантом захватить Днепрогэс.

— Да откуда вы-то знаете про это? Сами же говорите, что только вчера вышли из окружения, — недоверчиво спросил Степан. — Или, может, высшее командование вам специально докладывало?

— На вашем месте я бы не задавал наивных вопросов, — без тени обиды ответил капитан. — Суть важно, что я об этом знаю. Поэтому слушайте дальше. При такой ситуации естественно, что Днепрогэс не будет

оставлен нашими войсками просто так. Это значит, что в критический момент станция и плотина будут взорваны. А не станет плотины — из хранилища хлынет вода. Вы представляете, что это такое?

— Да вы что! — вскочив на ноги, возмущенно воскликнул Мотя Светлицкий, которому гидроузел на Днестре был особенно дорог. Ведь всю осень двадцать девятого года он с группой трехкутновцев, что называется, до седьмого пота выкладывался на этом строительстве. — Разве ж так можно? Это же Днестрогэс! А люди? Ведь только тут, у села Республиканского, переправы ждут тысячи людей! Это же наши люди! Нет, вы как хотите, но это чистейшее вредительство!

— А по-вашему получается, что все это надо оставить немцам? — тоже громко спросил Букарев, но, спохватившись, оглянулся. И хотя никто их не подслушивал, он недовольно предупредил: — Тише, не шумите. О людях уже подумали. Насколько мне известно, там предпринимается все возможное и невозможное, чтобы перебросить их на левый берег. Хуже с Днестрогэсом. К сожалению, его не увезешь. Вот так бывает, друзья. Планируем, строим, лезем из кожи, чтобы наладить свою жизнь, а приходят враги, вроде фашистов, и все идет прахом. Ну, вон как будто и лодки возвращаются. Так берете в компанию?

Степан и Букарев поднялись вслед за Мотей, дошли к самой воде. Из тумана, реденькой кисеей колыхавшегося над рекой, доносилось ритмичное поскрипывание уключин и слышались всплески воды под веслами.

— Куда же мы от вас денемся, коль связаны одной веревочкой, — глядя на чиркнувший о берег баркас, сказал Степан. — Будем вместе переправляться. Подымайте своих...

Часам к девяти утра трехкутновцы и бойцы капитана Букарева полностью перебравшись на левый берег. Небо к тому времени уже затянула белесо-серая мгла. Ветер давно разогнал туман и теперь мчал по Днестру крутые белогривые волны, кренил в полете крикливых, проголодавшихся за ночь чаек, шумел листвою прибрежных тополей, вихрил столбы пыли по шляху, убегающему в даль выжженной степи.

Еще часа два ушло у колонистов на сборку телег. Но

вот подводы готовы, на них уложен скарб и размещены около двух десятков тяжелораненых красноармейцев, которых трехкутновцы по просьбе капитана Букарева обещали довести до ближайшего военного госпиталя. Казалось бы, можно уже и трогаться в путь. Но Степан Костюченко, Мотя Светлицкий и Ефим Фарбер отчего-то все медлили. Ожесточенно жестикулируя, они, отойдя подальше от обоза, очевидно, и спорили между собой, и что-то горячо доказывали капитану. Колонисты терпеливо ждали. Наконец спорщики, видно, пришли к какому-то общему мнению и вернулись к обозу. Двигаясь от подводы к подводе, на которых лежали раненые бойцы, капитан, улыбаясь осунувшимся небритым лицом, подбадривал их, напутствовал каждого добрым словом. А Степан Костюченко, собрав тем временем мужчин, негромко, но так, что слышали все, сказал:

— Вот что, мужики. Мы с Мотей та с Ефимом решили остаться здесь, у роте этого капитана. Его фамилия Букарев. Запомните на всякий случай. Думаю, что и всем вам, кто призывного возраста, надо поступить так же. Годи нам уже кататься. И так уж доказались аж до самого Днестра. Куда же дальше? Некуда. Словом, как председатель сельского Совета, то есть как Советская власть на местах, я вас мобилизую у ряды Красной Армии. Нехай наши жены с детьми едут дальше в эвакуацию, а мы останемся здесь и будем драться с немцами. Оружие бойцов, что уезжают на наших подводах, капитан передает нам. Что же касается вас, старики и бабы, за старшего нехай будет Айзик Твердовский. Он умный мужик, и вы его слушайтесь. Это раз. А второе, наш наказ такой: что бы ни стряслось, держитесь вместе, только вместе. Отсюда поезжайте на Ростов. Даст бог, мы останемся живы, так вас и будем там шукать. И еще одна просьба — по дороге расспрашивайте людей, может, отыщутся следы нашего Сандлера с чередую. Ну, вот и все. Прощайтесь, и с богом.

Расставаясь с женой и детьми, понимая, что видит их, может быть, в последний раз, Степан Костюченко и в эти минуты остался верен себе. Он подозревал Айзика Твердовского, Зяму Левина, еще нескольких колонистов и попросил их во что бы то ни стало отогнать баркасы к Республиканскому.

— Плывите, мужики. У переправы много народу, там лодки ой как нужны! Отдадите их — и догоните подводы. Ну, бывайте!

Народная мудрость гласит: «Сколько волка ни корми, он в лес смотрит». По сути своей Митька Фурман был таким волком. Родителей Митька не помнил. Ему было около трех лет, когда его отец, карлсдорфский колонист Зигфрид Фурман, ушел из дому не то с отступающими германскими частями, не то с бандитствовавшими в той округе анархистами-григорьевцами. Ушел, и как в воду канул. Матери Митька лишился немного позже, она умерла в голодном двадцать первом году. А Митька остался жить. Даже в такое, казалось бы, кошмарное время, как всеобщий голод, находятся добросердечные люди, готовые поделиться со страждущим последним куском макухи, последней ложкой крапивного супа. В жестоком двадцать первом году такими людьми в Трехкутной оказались бездетные Ефим и Мариам Хесины. Сами пухнувшие от голода, они подобрали Митьку Фурмана, и умиравший мальчонка выжил, вырос, как выяснилось, увы, лишь через двадцать лет, на горе своим приемным родителям и остальным колонистам.

К началу войны Митька был уже крепким двадцатипятилетним мужчиной. До этого он, как и все мальчишки колонии, учился в школе, носил пионерский галстук, потом вступил в комсомол. Вернувшись со службы в Красной Армии, он некоторое время был секретарем трехкутновского сельсовета, а затем два года проучился в сельскохозяйственном техникуме и стал работать механиком в МТС. Повезло ему и в семейной жизни. Его жена, миловидная и веселая библиотекаряша Тина Головченко, уже на втором году их супружества родила ему двух сыновей-близнецов.

Митька как будто любил жену и детей, любил окружающих его людей и весь тот мир, в котором жил. И кто бы мог хоть на мгновение заподозрить этого общительного и деятельного человека в безмерном честолюбии, в ненависти к Советской власти. Кстати, партийная организация колонии и командование истребительного батальона района именно ему, как бывшему саперу, поручили в нужный момент взорвать колхозную электростанцию. Однако, заранее надумав пойти в услужение к фашистам, он передал ее оккупантам совершенно целехонькой.

Гитлеровцы с пониманием оценили поступок Фур-

мана. Временный фельд-комендант Трехкутной оберлейтенант Хоппе назначил его старостой колонии. Хоппе считал себя, да и в действительности был таким, сугубо военным человеком, и будничные дела какого-то случайно оказавшегося на жизненном пути оберлейтенанта еврейского селения его мало интересовали, больше того — обременяли, и он с превеликой охотой спихнул их новоиспеченному старосте.

Митька с воодушевлением принял это назначение. Строя далеко идущие планы, он считал должность старосты лишь изначальной ступенькой своей будущей карьеры. Он понимал, что сможет продвигаться выше, лишь пунктуально и неукоснительно выполняя все распоряжения немецких властей, проявляя инициативу и усердие. И он приступил к активной работе. Вторым — после передачи немцам электростанции — его шагом на пути ретивого служения оккупантам стал тщательно составленный им список всех оставшихся в колонии жителей: евреев, детей от смешанных браков, коммунистов, комсомольцев, а также советских и колхозных активистов из числа украинцев, русских и даже местных немцев.

Изучив этот список, переданный ему Хоппе, оберштурмбанфюрер Диц остался доволен и, естественно, пожелал незамедлительно познакомиться со старостой. Когда Фурман явился в фельд-комендатуру, Диц, в присутствии Хоппе, рассыпался в похвалах. Такое с ним случалось редко.

— Вы своевременно и, что самое ценное, без побуждений с нашей стороны проделали большую и очень нужную нам работу, герр Фурман! — сказал он поощряюще. — Это доказывает, что вы истинный немец! Весьма отрадно сознавать, что, будучи оторванным от своего настоящего фатерлянда, вы не только хорошо знаете немецкий язык, но и самостоятельно прониклись арийским духом, поняли грандиозность исторической миссии германской расы! Я не премину доложить моему вышестоящему руководству о вашем усердии. А наше командование, смею вас заверить, умеет по достоинству ценить людей, душой и телом преданных фюреру и делу национал-социализма.

Высокопарная тирада оберштурмбанфюрера вызвала усмешку у Хоппе. Скрывая ее, он подошел к окну, чуть отвернул плотную штору и уставился долгим взглядом в пристывшую к стеклам ночную тьму.

А Митька Фурман все еще почтительно стоял у порога кабинета, благодарно клонил свою темноволосую голову.

— Я вам очень признателен, герр оберштурмбанфюрер! — сказал он, глядя на Дица преданными глазами. — Я сделал лишь то, что мне подсказывал долг. А в отношении списка я очень сожалею, что смог внести в него только тысячу четыреста пятьдесят три человека. Евреев и коммунистов здесь было гораздо больше. Но многие успели бежать, свиньи этакие! И, к сожалению, сбежали самые вредные!

Диц пришел в такое отменное расположение духа, что даже весело засмеялся. Поднявшись, он взял Митьку под руку, усадил и, выказывая ему свое расположение, угостил сигаретой. А сам он стал неторопливо расхаживать по кабинету.

— Не расстраивайтесь, герр Фурман, — сказал Диц, и в голосе его снова послышались напыщенные нотки. — Придет время, и мы их возьмем даже за Уралом. Отыщем, никуда они не денутся! А пока у нас с вами есть более близкая, так сказать, насущная задача — это навести порядок здесь, на этой земле. Вы представляете себе, что значит навести тут наш, немецкий, порядок? На ближайшую перспективу это означает, во-первых, что ни одна душа, фигурирующая в вашем списке, не должна покинуть село. Во-вторых, необходимо продолжить все полевые работы в этом... колхозе. Ибо Германии нужны хлеб, мясо, молоко. И в-третьих, для поддержания порядка как в этом селе, так и в окрестных деревнях нам необходим крепкий полицейский отряд. Полагаю, герр Фурман, что вы, преданный рейху человек, сумеете в короткий срок создать и возглавить такой отряд. Оружие, кое-что из обмундирования и прочую экипировку вы получите у нас. Берите в отряд бывших кулаков, дезертиров из большевистской армии, можно уголовников и прочих людей, чем-либо обиженных Советской властью. Мы вам полностью доверяем. Да-да, я это подчеркиваю. Вообще, с данной минуты я, образно выражаясь, благословляю вас в новой должности, герр начальник полиции. С данного момента можете приступить к исполнению своих функций.

— Вы как-то экспромтом решили этот вопрос, — повернувшись от окна, промолвил Хоппе, как только за Митькой закрылась дверь кабинета. — Неужели вы настолько уверены в его преданности?

— Абсолютно! — не задумываясь, ответил Диц, но спустя минуту сказал уже менее категорично: — Полагаю, что да.

Он присел, закурил и, постукивая блестящим ухоженным ногтем по сигарете, стряхивая пепел в пепельницу, попытался обосновать свое мнение:

— Во-первых, он уже дважды проявил себя делом. А во-вторых, мне кажется, что Фурман и далее будет служить нам весьма рьяно. И знаете почему? Потому, что он очень честолюбив. А служба у нас даст ему возможность в какой-то мере утолить свою жажду власти. Быть властным над жизнью людей, о-о, это великий стимул! И потом, он ведь уже запятнал себя в глазах большевиков. Так сказать, отрезал себе все пути к отступлению. Но и это не главное. Главное, дорогой мой обер-лейтенант, состоит в том, что по складу своей души Фурман из той категории людей, которые, однажды сказав «а», вымолвят и «б». Понимаете?

— Похоже, что тут вы правы.

— Я безусловно прав, — приободрился Диц, — и, можете мне верить, он будет использован на все сто процентов, если не больше.

Два дня спустя, после того как Фурман, по своему обыкновению все делать оперативно, сколотил небольшой полицейский отряд, а Диц вернулся из Николаева, где он встречался со своим руководством, между ними произошла еще одна беседа, во время которой оберштурмбанфюрер уже без обиняков посвятил Митьку и присутствовавшего при их разговоре Хоппе в то, что предстояло совершить в колонии.

— Дело в том, господа, — шурясь, холодно поблескивая глазами, говорил Диц, — что южные земли Украины, частично по берегам Южного Буга и Днестру, частично по побережью Черного моря, а это значит и территория, где мы с вами сейчас находимся, являются спорными между рейхом и королевской Румынией. Возможно, что в высших интересах дружбы и наших общих целей фюрер передаст часть этих земель своему союзнику Антонеску. А мамалыжники, да будет вам известно, не только у себя дома, но даже и во вновь приобретенных районах недопустимо либеральничают с евреями. Это прямо противоречит кардинальной линии национал-социалистической партии по данному вопросу.

Вот почему я, собственно говоря, и нахожусь теперь здесь. Моей эйзатцкоманде необходимо как можно скорее выполнить свою задачу в этом селе и приступить к подобным акциям в других близлежащих еврейских селениях. Надеюсь, вы понимаете, что именно нам предстоит сделать? Прекрасно! Только до поры, герр начальник полиции, кроме нас с вами и обер-лейтенанта Хоппе, ни одна душа не должна об этом даже подозревать. Понятно? Пусть село живет своей жизнью.

И жизнь в Трехкутной текла своим чередом. Правда, кроме семьи Береноны, расстрелянной в первый же час оккупации, немцы казнили еще несколько человек, в том числе участницу Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве птичницу Анну Баскину. А в остальном все шло без особых изменений. Колонисты убирали урожай и до последнего зерна ссыпали его в склады, откуда немцы незамедлительно вывозили все на станцию Яворное. Как и до прихода оккупантов, жители села пахали зябь, копали картофель и свеклу, сеяли озимые хлеба, доили коров. Мотя Дудинский, помирившись с Ривой, собирал со своего виноградника тяжелые гроздья ягод и давил из них вино. Жена ему во всем помогала. За это время даже два раза собирався базар, правда, значительно отощавший, но Беня Гундосый и Лейба Веер все так же распочинали винные бочки молдаван. А дед Мойша Рабинский, преодолевая немощь, зачастил к раввину Шнееру, и они оба, ссылаясь на Тору и на Талмуд, подолгу спорили о том, последняя эта война или нет и что ждет человеческий род в будущем...

25

Лия Дудинская присела у костра, поставила возле себя пустой эмалированный бидончик и, подтянув колени к самому подбородку, до ступней оттянула юбку.

— Ну как твой хлопец? Попил молочка? — суковатой палкой вороша тлеющие кизяки, спросил ее Петро Боровик.

— Еле напоила. Плох он, Трохимыч. Горит весь.

— Да-а, горячка — поганая штуковина, — глотнув едкого дыма, Боровик надсадно закашлялся, в сердцах

отшвырнул палку куда-то в темноту. — Вот пакость этот дым, хай ему грець! Кха-кха!.. Но что поделаешь, кха-кха!.. Вот завтра уже доберемся до этого Мелитополя и там сдадим его у госпиталь. Говорят, то очень хороший госпиталь. Будем надеяться, что тамошние лекари спасут его.

— Будем надеяться, — обхватив руками колени и думая о чем-то своем, машинально повторила за ним Лия.

— Это хорошо, что ты за раненого переживаешь, — с арбы подала голос Килина. — Но и себя не надо забывать. Ты бы сама повечеряла, а, Львовна? Разве ж так можно?

Покряхтывая, Килина слезла с арбы, подошла к костру, подняла крышку чугунок, стоявшего на треноге, и, помешивая в нем ложкой, обжигаясь, попробовала варено и повернулась к Лие:

— Поешь кондеру, а? Что ты мотаешь головой? Эх, ты бы сейчас глянула на себя моими глазами! Господи Сусе, страхолудина какая-то, а не жинка. Ей-богу, если бы твой Наум был тут, он не стал бы на тебя глядеть. Подался бы до другой бабы.

— Я попила молока, мне этого достаточно, — вздохнув, через силу улыбнулась Лия. — Красноармейца жалко. Он же совсем еще молоденький, и так мучается! Я гляжу на него, а в глазах мой Илюша стоит. Может, и он сейчас вот так же где-то мается. Господи, чем наши дети провинились, за что им такие страдания!

— Ты об этом не думай. Не всех же ранят да убивают.

— И рада бы не думать, да куда от этого денешься... Дети поели?

— А как же! — Килина положила ложку на крышку чугунок, под села к Лие и слегка обняла ее. Глубокие складки в углах губ ее и на морщинистых обвисших щеках чуть разгладились. — Люська поела и спит уже. Набегалась за день. А Данька караулит лошадей. Дети сыты, ты за них не волнуйся.

— Спасибо, Килина! Ты ходишь за ними больше меня.

— Ге, нашла за что благодарить! Ладно, не хочешь есть, то хоть приляг, поспи немного.

— Ты права. Я так и сделаю. Ноги не держат. Прилягу, но через час разбуди меня, хорошо? Пойду к пареньку.

— Добре. Иди поспи.

Лия тяжело поднялась, повесила бидончик на люшню арбы, достала из узла подушку, стеганое одеяло и, постелив себе у колеса, прилегла. Но сон, еще минуту назад сплывавший веки, будто мотылек, отлетел от нее. То ли его спугнул неумолчный стрекот цикад, то ли приглушенный топот стреноженных коней, то ли громкий разговор Килины с мужем, неспешно ужинавших у затухающего костра. Скорее всего, однако, сон прогнали неизбывные думы о сыне и муже. Ведь и Наум, и Илья с первых дней войны были на фронте, и она ничего о них не знала. Лия понимала, что, строившись с места, наверняка лишила себя возможности получить от них весточку.

Лие бы спросить об Илье у капитана Букарева или у приходящего изредка в сознание Павла Журавлева, за которым она ухаживала от самого Днепра. Но как-то так уж получилось, что именно Букарева и его бойцов она не расспрашивала о муже и сыне, как делала это при каждой встрече с военными. Во время спешных сборов на левом берегу Днепра было, как ей казалось, не до праздных разговоров, а после, видя страдания молодого красноармейца, она забывала о собственных тягостных переживаниях.

26

Оберштурмбанфюрер Диц только что вернулся из своей второй поездки в Николаев. Не заезжая на свою квартиру, он сразу же пошел в фельд-комендатуру.

— Рад вас приветствовать, герр обер-лейтенант! — бодро поздоровался он с поднявшимся ему навстречу Хоппе. — Ну, как вы тут? Никаких происшествий? Отлично! Честно признаться, так я вам завидую, Хоппе. Сидите себе в тиши да прохладе. А я замучился, пока доехал. Эти дороги, пыль... Черт знает, что такое! Как во времена скифов. Удивляюсь, как русские терпят такие дороги! Непостижимо! Ну ничего, теперь мы здесь хозяева, и скоро, очень скоро вся эта дикая скифская степь покроется бетонированными автострадами. Рабочей силы на это хватит. Так-то, любезный обер-лейтенант. Кстати, хочу сообщить вам новость. Через несколько дней я со своей командой распрошаюсь с этой дырой. Вопрос уже решен.

— Что вы сказали? — невольно опускаясь на стул, переспросил Хоппе.

Диц быстро взглянул на обер-лейтенанта. Его оживленное лицо как-то сразу вытянулось и потускнело, глаза построжали.

— Я поражаюсь вам, Хоппе, — доставая сигарету, сказал он с нескрываемым раздражением. — Вы кадровый офицер вермахта, а до сих пор все чему-то удивляетесь, переживаете по мелочам, простите меня, как наивная барышня. Считаю уместным напомнить, что вопрос, очевидно, задевающий вас за живое, в Берлине решен бесповоротно. Предвидя вашу, прямо скажем, ненужную сентиментальность и чтобы также и на будущее избавить вас от вредной офицеру жалости, я привез вот этот приказ. Он подписан бригаденфюрером Баумом и оберстом фон Роцки. Вам, обер-лейтенант, этим приказом предписывается оказывать всяческое содействие моей эйнзатцкоманде. Возьмите. Ну, кажется, я неплохой психолог?

— Что конкретно требуется от меня? — бегло прочитав приказ, спросил Хоппе слегка напрягшимся голосом.

— Пустяки, герр обер-лейтенант, — прикурив, Диц нарочито вызывающе поиграл никелированной зажигалкой. — Дадите мне дополнительный транспорт и добровольцев.

— Вы все получите, герр оберштурмбанфюрер, — подумав, что отказывать бессмысленно, пообещал Хоппе и, не сдержавшись, чуть слышно вздохнул.

Лаконичный ответ обер-лейтенанта, все его поведение, но особенно этот затаенный вздох разозлили Дица. Стремясь, однако, до конца уяснить умонастроение Хоппе, он, покуривая и испытующе глядя на него, спросил вкрадчивым, располагающим к откровению голосом:

— Скажите, обер-лейтенант, вы на самом деле почувствуете евреев? Не бойтесь, слово офицера, все сказанное останется здесь, между нами.

В этот раз на Хоппе словно бы нашло какое-то наваждение. Его так и подмывало бросить в красивое самодовольное лицо эсэсовца, что он потомственный военный и, не колеблясь, отдаст команду стрелять. Но только в вооруженного противника. А функции карателей чужды достоинству и чести их семьи. Но сказать так означало бы своими руками поставить крест на собственной судьбе. И все же он промолвил:

— Я солдат и привык выполнять любой приказ. Хотя этих людей мне в какой-то степени жалко. Особенно детишек.

— Но ведь это евреи, поймите, наконец!

— Рождаясь, ребенок не выбирает себе родителей.

— Верно! Но подрастая, эти дети превращаются в тех же евреев. А этот народ не должен жить.

— Вырастая, наши дети превращаются в немцев. Что же из того? Так уж предопределено судьбой. Но... будем говорить конкретнее. Если герр оберштурмбан-фюрер сомневается в моей преданности фюреру и рейху, я могу это засвидетельствовать своим личным участием в акции.

Сжимая тонкие губы, Диц какое-то время молча курил, затем поднялся и сказал уже более довольным голосом:

— Разумеется, так будет лучше. Для вас. Значит, договорились. Будьте любезны, соберите через час своих офицеров и пригласите Фурмана. Обсудим все детали операции.

На улице, усаживаясь в «опель», чтобы ехать на квартиру, Диц, вопреки данному обер-лейтенанту слову, твердо решил: будет Хоппе принимать участие в акции или нет, а он все же доложит и бригаденфюреру Бауму, и полковнику фон Рощи свое мнение о нем.

Незаметно подкралась осень. Правда, дни стояли еще по-летнему солнечные и теплые, но листва на деревьях уже начала увядать. И горизонт по утрам теперь обозначался резче. В прозрачном чистом воздухе еще плыла временами клочковатая искристая паутина, однако стоило подуть ветерку, и тотчас же становилось прохладно. А удлинившиеся ночи будто специально предназначались для перелетных птиц. С раннего вечера и до самой утренней зари со стылой вышины падали на землю то гогочущие позывы уносящихся за море гусиных стай, то тоскующие, трубные клики словно бы поспешающих за ними журавлей.

— Ах ты, собака паршивая! — весь трясаясь от негодования, выругался Мотя Дудинский, едва Митька Фурман вышел за ограду палисадника. — Сам носишься по дворам, боишься передоверить другим свой хо-

луйский хлеб? Ах ты, гнида паскудная! Врезать бы тебе разок!

Митька поспешно уходил от его двора. Он делал вид, что не слышит ругани. Честно признаться, так Фурман побаивался Моти. Несмотря даже на то, что был вооружен. «Черт его знает, что взбредет в голову этому психу, — быстро шагая к следующему дому, думал он. — Гвозданет своим кулачищем, и завещание не успеешь написать...»

А Мотя, багровый от клокотавшей в нем ярости, метался у калитки, не отваживаясь войти в дом и сказать жене, для чего приходил Фурман. Но не торчать же до ночи у палисадника.

— Слышишь, Рива! — поостыв немного, вошел он в кухню. И когда по-утиному переваливаясь на толстых ногах, из горницы выплыла жена, он присел к столу. — Паскуда этот приходил, Фурман. И знаешь, что он сказал? Что завтра утром всем нам, евреям колонии, велено собраться во дворе новой школы. И чтоб все, говорит, пришли с самыми необходимыми вещами. Ну, как тебе это нравится?

— Мотя, а зачем все это? И что значит — взять необходимые вещи?

— Что ты меня спрашиваешь? — свирепо выкатив глаза, снова распалился Мотя. — Что я тебе, раввин или доктор? Откуда я могу знать, что надумали эти проклятые швабы вместе со своим трижды проклятым Фурманом!

— Боже мой! — вздрогнула Рива. — Ты только посмотри, как он кричит! Аж весь посинел, псих ненормальный! Не знаешь, не говори! Но зачем же так кричать?

— А чтоб ты не задавала мне глупых вопросов, — поубавив тон, уже сдержаннее ответил Мотя.

Молча затем посидев несколько минут, он вдруг поднялся, снял с вешалки пиджак, надел его, натянул кепку. Уже держась за ручку двери, он обернулся:

— Рива, ты вот что, ты никуда из дома не выходи. Закройся на крючок и сиди! А я схожу до мужиков или до ребба Шнеера. Может, у них что узнаю.

В нижнюю улицу колонии, где жил раввин Шнеер, Мотя пробирался так, как никогда до этого еще не хаживал по родному селу: выбирал пустынные переулки, по-воровски прижимался к каменным огородам палисадников. Мотя шел с крепко сцепленными за спиной

руками, ссутуля широкие плечи. Козырек кепки был у него надвинут на самые брови, и сизая тень, падавшая на глаза, делала его сосредоточенно-хмурое лицо еще более пасмурным.

Мотя понимал, что в навалившейся на них беде раввин был бессилён что-либо сделать, ибо немцы с ним совсем не считались. Но все же... Может, он что-нибудь придумает. Он же грамотный, умный человек. Этого самого Шнеера Мотя помнил еще шустрым, шкодливым мальчишкой и пару раз даже драл его за уши, застав на своем винограднике. Но со временем Шнеер, как говорится, пообтерся. Хлопотами отца, тоже раввина, он получил традиционное еврейское образование, затем где-то в Белоруссии окончил нешибот* и года за четыре до войны уже служителем культа вернулся в родную колонию. От его былых шалостей не осталось и следа. Уравновешенный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, он пользовался уважением многих трехкутновцев. Шнееру даже прощали небольшой грех. Колонисты знали, что он живет с Идой Фарбман, два раза на неделе приходившей к нему стирать белье и прибирать дом. Но все в селе закрывали на это глаза, справедливо полагая, что, в конце концов, их тридцатилетний раввин-холостяк и бездетная молодая вдова — самостоятельные люди, а значит, сами разберутся в своих отношениях.

У нарядного, под жестяной крышей дома, доставшегося молодому раввину от отца, Мотя постоял минутку в раздумье, затем решительно поднялся на высокое резное крыльцо. В раскрытую входную дверь слышался ласковый, хорошо поставленный баритон хозяина. «С кем это он сюсюкает? — желчно подумал Мотя. — Неужели заигрывает с Идой? Тоже, нашел время!» Но, войдя в переднюю, он увидел сидевшего на низкой скамеечке раввина и стоявших по бокам его двух белоснежных ухоженных коз. Холеные, не знавшие черной работы руки Шнеера, словно бы благословляя животных, покоились у них между рожек, и только пальцы слегка ерошили их мягкую шерстку. А сам он, поочередно заглядывая в глаза то одной своей любимице, то другой и почти касаясь густой черной бородой их рде-ных бородок, ворковал:

— Ах вы, шалуны мои! У-тю-тю! Любите, чтоб вас гладили, проказницы этакне!

* Ишибот — духовное училище, готовящее раввинов.

«Тьфу ты, нечистая сила! — встав на пороге, неодобрительно подумал Мотя. — Ты бы с ними еще расцеловался!» Но он ничего не сказал насчет коз, а, поклонившись, негромко поздоровался:

— Добрый вечер, реббе!

— О-о, Мотя! Редкий гость! Добрый вечер, добрый вечер! — обрадованно ответил Шнеер и, ничуть не смущаясь, ласково отпихнул от себя коз, поднялся, приглашая Дудинского в зал: — Проходи, садись! Ну, рассказывай, что нового, зачем пришел до меня?

— Спасибо! — уважительно присев на краешек стула, Мотя чинно сложил на коленях руки. — Вы спрашиваете, реббе, что привело меня до вас? Скажу... Не бог, конечно. С ним я так себе... Меня удивляет, что вы еще спрашиваете «почему»? Разве вы ничего не знаете? Разве эта сволочь Митька Фурман или кто-то другой из его бандитов сегодня до вас еще не заходили?

— А-а, ты вот о чем. Почему же, приходили. Сам фельд-комендант сегодня впервые удостоил меня своим посещением, — присев напротив Моти и забирая в кулак свою пышную бороду, ответил Шнеер.

— Что же вы думаете по этому поводу, реббе?

— Что я думаю? — поблескивая темными, вечно какими-то влажными глазами-миндалинами, переспросил Шнеер и, помолчав, разразился длинной тирадой: — А мыслю я, Мотя, то, что для нас пришло время похуже поры египетских казней. Горе пришло до нас, большое несчастье. Но это еще не означает, что надо вешать голову. Разве для нас внове земные страдания? Нет! Ибо когда еврею было лучше? Если не считать два десятилетия при Советской власти, то, может быть, только в благословенные времена царей Давида и Соломона! Но то время кануло в вечность, и мы уже два с половиною тысячелетия только и делаем, что живем верой и надеждой. Таков удел народа Израиля. Надо уповать на бога и надеяться. Если на то будет его воля, все переменится к лучшему. Ибо сказано: «Сеявшие со слезами пожнут с пением».

Недовольный словами раввина, Мотя, всю свою жизнь полагавшийся больше на собственный ум и руки, чем на бога, даже вскочил со стула.

— Какой удел, какое пение! О чем вы говорите, реббе? — загорячился он. — Чего-то ждать, на что-то надеяться... Знаете, украинцы умные люди. Они в таких

случаях говорят, что пока солнце взойдет, так роса очи выест.

— Ну, хорошо! А что мы можем сделать? Ничего! Потому что в колонии остались одни женщины, дети и старики. Сколько нас, крепких мужчин? Горстка! Все на фронте. Нет, Мотя, ничего не сделаешь. Ибо и в Таннахе* сказано: «Гакойль мен гашоим»**.

— Таннах, конечно, мудреная книга, но мне бы теперь лучше пулемет «максим». Тогда бы я знал, что делать, — бормотнул Мотя.

Он поглядел на спину не то раздраженно, не то удрученно отошедшего к окошку раввина и, подумав, что напрасно притащился сюда, тихо, не прощаясь, пошел к двери.

Домой он вернулся уже в потемках. Нетерпеливо поджидавшая его Рива обрадованно всхлипнула, спросила сквозь слезы:

— Где ты так долго ходил?

Мотя не ответил. Сопя, он снял пиджак и на ощупь повесил его на гвоздь у двери, на него же нацепил кепку. Затем он стянул с себя рубашку и, скомкав ее, швырнул куда-то в угол. Воткнув ноги в чуваки, он зажег керосиновую лампу, так как немцы отключили электричество, плотнее подоткнул занавесившее окошко рядом, пододвинул скамеечку к отопленной плите, кряхтя, присел, прислонился спиной к теплым кирпичам и все так же молча закрыл глаза.

— Что же ты молчишь, Мотя? — вплотную подойдя к мужу, тихо спросила Рива.

Погруженный в свои раздумья, Мотя сидел, будто не слышал. Задавленно вздыхая, Рива стояла над ним, ни о чем уже не спрашивая. Так, в молчании, текли долгие минуты. Наконец Мотя как бы очнулся. Коротко взглянув на жену, он привлек ее и, чуть подвинувшись, дал ей место на скамеечке.

— Садись, Рива. Так ты спрашиваешь, почему я молчу? — отрешенно глядя в одну точку, криво усмехнулся он. — А что мне делать? Если бы я был уверен, что меня услышат, то закричал бы про нашу горе на весь белый свет. Но вся беда в том, что кричи, не кричи, нам уже ничего не поможет.

— Мотя, може, еще ничего страшного нет, а? — с надеждой заглядывая ему в глаза, спросила Рива. —

* Таннах — третья часть Ветхого завета.

** Гакойль мен гашоим — все от бога (др. свр.).

Може, как-нибудь перекрутится и все станет на свое место?

— Во-во! То же, что и ты, говорят наши мужики. Даже реббе Шнеер думает примерно так же. Станный человек! Сидит и гладит то свою бороду, то бородки своих коз и говорит о каких-то египетских казнях, о надежде... Ведь знает, что дело швах, а говорит — надо надеяться. А на что надеяться? Нет, ничего уже не перекрутится. Я ведь не маленький, понимаю...

— Что именно, Мотя?

— Ох, Ривелэ! Не нравится мне этот приказ немцев. Спрашивается, ну зачем им понадобилось собирать до кучи всех колонистов? Да еще с детьми и вещами. На что эти вещи? Я от Шнеера попробовал было сунуться к Маньчжуровой балке, а от нее до Ингула. Так шиш... Они всюду понатыкали своих солдат и этих ублюдков-полицаев, и чуть что, те начинают пулять из автоматов. Так что никуда не ткнешься. Не, тут что-то не то...

Мотя говорил негромко, вроде бы спокойно, но Рива улавливала в его голосе и тоску, и сожаление, и боль, и раскаяние. От жалости к мужу, от его подавленного, убитого вида у нее, знавшей Мотю всегда твердым и решительным, защемило сердце. Склонившись к его плечу, Рива бурно разрыдалась.

— Вот тебе на! Что же ты плачешь, глупенькая? Може, я еще преувеличиваю. Може, черт не так еще страшен, как кажется. Не надо плакать.

Успокаивая жену, Мотя долго гладил ее голову и плечо, затем, как ребенку, вытер слезы и, взяв ее руки в свои, раз за разом поцеловал их. До глубины души взволнованная внезапным проявлением нежности мужа, Рива, слегка было уже утихшая, заплакала еще сильнее. Мотя больше не мешал ей — пусть облегчит душу. Прижимая ее к себе, он, не прерывая своих тяжких раздумий, то гладил ее вздрагивающее плечо, то слегка похлопывал по нему.

Рива прожила с мужем долгую жизнь и за все это время всякого от него натерпелась. Если год за годом перебрать ее замужество, то плохих дней она насчитала бы гораздо больше, нежели хороших. По натуре своей человек суровый и непреклонный, Мотя первое время после свадьбы все холил молодую жену, не давал, как это говорится в таких случаях, пылинке упасть на нее. Но годы уходили, детей у них все не было, и, убедив-

шись, что ему так и не суждено стать отцом, он охладел к Риве. Горячая любовь, связывавшая их в начале супружеской жизни, уступила место привычке. Мотя с головой окунулся в разросшееся хозяйство, потом, смирившись, примерно работал в колхозе. И все эти годы словно не замечал присутствия жены, сновавшей по дому послушной, безропотной тенью. Проклиная свое бесплодие, Рива тяжело переживала пренебрежительно-холодное отношение мужа. Однако она не уходила от Моти, ибо, несмотря ни на что, все еще крепко любила его.

В ту ночь Мотя с Ривой так и не ложились спать. Как в первые дни своего знакомства, они, тесно прижавшись друг к другу, вот так, сидя, дождались рассвета. А когда на голубоватом глянце окрашенного подоконника улегся первый луч солнца, Мотя поднялся и, потирая затекшие ноги, вдруг сказал с горьким сожалением:

— Да-а, а наша Лия-то оказалась намного умнее! Ох, как она была права!

27

В первую пятницу сентября полиция расклеили по всей Трехкутной приказ фельд-коменданта Хоппе о том, что все еврейское население колонии обязано в субботу, не позднее семи часов утра, собраться во дворе новой школы. Приказом предписывалось иметь при себе только самые необходимые вещи, ценности любого достоинства и суточный запас пищи. Лицам, вовремя не явившимся к месту сбора или нарушившим другие пункты данного приказа, грозил немедленный расстрел. Но одного приказа оккупантам показалось недостаточно, и в ту же самую пятницу, со второй половины дня, в каждый дом, где жили евреи, заходили полиция и дополнительно оповещали людей о времени и месте сбора.

И настала суббота. Как и во все предыдущие дни, голубели прозрачные дали и в синей стыни неба плыли встрепанные облака. Бесчисленными рыжеватыми солнышками убрались деревья. Было тихо. День обещал быть теплым, безветренным.

С первыми лучами солнца к школе, уже оцепленной немцами и полицией, потянулись колонисты. Они шли семьями и в одиночку. Под страхом смерти шли

молодые и брели старики, здоровые вели под руки больных и немощных, матери прижимали к груди младенцев. Трехкутновцы шли широкими, выжженными солнцем улицами родного села так, как, наверное, за многие столетия до этого дня их далекие предки уходили на муки в вавилонский плен, как на позор и кровавые потехи направлялись в цирки пресытившегося древнего Рима. Шли на убой, как овцы.

К восьми часам утра обширный двор новой школы, вымощенный аккуратными известняковыми плитами, уже гудел от возмущенных выкриков мужчин и горьких стенаний женщин, от плача взбудораженных, испуганных детей.

Вскоре к школе подъехали на неизменном «опеле» Диц и Хоппе. У встретившего их Фурмана, уже облаченного в черный эсэсовский мундир без погон, и молодого тощего лейтенанта из роты Хоппе, несшего со своими солдатами внешнее охранение школы, оберштурмбанфюрер отрывисто спросил:

— Все евреи собрались?

Полагая, что вопрос относится скорее к нему, чем к долговязому лейтенанту, Митька, прищелкнув каблучками жестких солдатских сапог с куцыми голенищами, довольно осклабился:

— Почти все, герр оберштурмбанфюрер! Я даже не ожидал такой активности.

— Физически не переношу это разболтанное еврейское «почти»! — раздраженно поморщился Диц. — Господин начальник полиции, извольте доложить, сколько ваших подопечных явилось, а сколько еще не пришло.

— Слушаюсь, герр оберштурмбанфюрер! Докладываю, что к месту сбора не явились полностью две семьи и отдельно — еще три колониста. Всего шесть человек. Но я уже послал за ними своих людей. Их сейчас приведут.

— Мне нравится ваша расторопность, Фурман, — подойдя к чугунным воротам школы и через их затейливую вязь заглядывая во двор, произнес Диц и удовлетворенно потер кончик носа. — Но вы можете поручиться, что те, шестеро, не сбежали?

— Это исключено, герр оберштурмбанфюрер! — веско, самоуверенно сказал снедаемый скрытым ущемленным самолюбием тощий лейтенант. — Из села никто не сбежал. За это я ручаюсь! И если кто-то еще не явился к месту сбора, их надо искать только в колонии.

— Прекрасно, унтерштурмбанфюрер! — на свой лад титулуя тощего офицера, сказал Диц и, повернувшись к Фурману, взглянул на часы. — Через пятнадцать минут, герр начальник полиции, нет, через двадцать доложите мне об отсутствующих. А сейчас — приступайте к делу. Помните — действовать сугубо по плану.

— Слушаюсь, герр оберштурмбанфюрер!

— Видите, Хоппе, — не преминул Диц уколоть молча стоявшего обер-лейтенанта, как только Митька через чуть приотворенные ворота скользнул во двор, — какая исполнительность? При чем — сознательная! А ведь он всего-навсего — начальник полиции.

— Да, ему не откажешь в инициативности, — подлаживаясь под Дица, вставил тощий лейтенант.

— Вот именно, э-э... Крипке, — секунду помявшись, Диц вспомнил фамилию лейтенанта. — Он предпринимчив.

Переговариваясь, Диц, Хоппе, Крипке и следовавший немного позади них плосколицый обер-ефрейтор Шике через садовую калитку и хозяйственный задний дворик прошли в школу. Оттуда, из высокого и широкого окна бывшей учительской на втором этаже, они стали поглядывать во двор, похожий в этот час на потревоженный муравейник. Солнце пригревало все сильнее, и все отчетливее слышался слитный гул людей, томящихся угрожающей неизвестностью.

Проникая сквозь наглухо закрытое окно, до учительской долетали отдельные выкрики:

— Почему нас здесь собрали?

— Зачем мучить детей?

— Это бесчеловечно!

— Безобразие! Мы будем жаловаться кому следует!

Святая наивность! Даже в эти страшные, трагические для них минуты среди трехкутновцев еще находились люди, верившие в некую добропорядочность гитлеровцев...

Все усиливающаяся жара, скученность и жажда были еще не самым тяжким испытанием для колонистов. Гораздо большие их страдания начались, когда в толпу, расслаивая ее, врезались вооруженные эсэсовцы, солдаты и полицай.

— Ой, мамочка, больно! — стонала девочка, которой в свалке отдавили ногу.

— Бандиты! Будьте прокляты! — силась подняться

с земли, громко причитала беременная женщина с растрепанными волосами.

— Шма Исроэл!* — подгоняемый пинками, шептал помертвелыми губами сгорбленный седобородый старик.

— Изверги! Чтоб Содом и Гоморра обрушились на ваши головы, на головы ваших детей и на детей их детей!

То в одном углу двора, то в другом завязывались жестокие схватки. Озлобляясь сопротивлением трехкутновцев, каратели пустили в ход приклады. Но до поры они еще не стреляли. Большая кровь была еще впереди. Пока немцы и их подручные осуществляли лишь первый пункт плана, разработанного оберштурмбанфюрером Дицем. Они разделяли толпу на три группы: мужскую, женскую и детскую.

Большими нервными шагами меряя учительскую, часто взглядывая в окно и курая, Диц обеспокоенно говорил:

— Все же многовато народу. И немало мужчин. Знаете, одно дело список людей, и совсем другое, когда он воплощается вот в такую толпу. Хорошо бы нам к вечеру управиться.

— Я полагаю, герр оберштурмбанфюрер, что при помощи двух-трех дополнительных пулеметов задача вполне выполнима, — заметил лейтенант Крипке, миниатюрным перочинным ножиком выковыривая грязь из-под ногтей.

— Пожалуй, вы правы, — метнув в него короткий взгляд, Диц брезгливо поморщился. — Кстати, где автомашины? Шике, узнайте, в чем там дело!

— Слушаюсь!

На пороге учительской обер-ефрейтор Шике столкнулся с вспотевшим, запыхавшимся Фурманом. Шике высокомерно посторонился. Затворяя дверь, он криво усмехнулся, услышав, как презираемый им начальник полиции стал хвастливо докладывать.

— Герр оберштурмбанфюрер! — сдувая капельки пота с толстоватой нижней губы, прерывистым голосом говорил Митька. — Порядок во дворе наведен! И машины подошли.

— Превосходно! — не найдя куда ткнуть недокуренную сигарету, Диц швырнул ее в угол комнаты. — Фурман, теперь постарайтесь навести там тишину. Я буду

* Шма Исроэл! — начальные слова одноименной молитвы, читаемой верующими иудеями в минуту опасности.

говорить с евреями. Кстати, а как неявившиеся? Их уже привели?

— Еще нет, герр оберштурмбанфюрер. Но я их жду с минуты на минуту.

— Хорошо. Ступайте!

— Слушаюсь!

Когда Митька, все еще запыханно дыша, метнулся за дверь, Диц, с хитрой миной на лице, взглянул на офицеров:

— Господа! Я попытаюсь несколькими словами успокоить это стадо, так сказать, усыпить бдительность этих подонков. Ведь по сути своей люди — бараны. Стоит только уговорить одного из них добровольно забраться в кузов машины, как остальные, я более чем уверен, последуют за ним. Это намного упростит нашу задачу. Прошу вас за мной, господа!

На высоком и широком крыльце парадного входа школы Диц, засунув правую руку за борт френча, постоял, пережидая галдеж колонистов. Когда шум улегся, он неторопливо заговорил неожиданно зычным голосом:

— Господа евреи! Я вижу, что вы взбудоражены, волнуетесь и даже оказываете сопротивление моим солдатам. Это недопустимо! Дабы подобное не повторялось, я, с разрешения фельд-коменданта, объясню вам суть дела. Уверяю вас, что для беспокойства нет никаких оснований. Слово немецкого офицера! Я догадываюсь, что вам неясен смысл приказа. Так? Постараюсь объяснить. Итак, господа евреи, вас здесь собрали, исходя из двух соображений. Во-первых, германское командование хочет оградить вас от нежелательных эксцессов со стороны украинского населения, которое было вам всегда чуждым и враждебным...

— Мы с украинцами живем бок о бок всю жизнь, и, слава богу, ничего плохого не было! — перебив Дица, басовито крикнул кто-то из колонистов.

— Допускаю, что раньше в вашем селе так было, — прокашлявшись в кулак, продолжал Диц. — Но надо учесть, что война в какой-то мере обнажила низменные инстинкты ваших мнимых друзей, украинских крестьян, и мы теперь не можем гарантировать вашу безопасность. А второе соображение немецких властей заключается в том, чтобы освободить вас от трудностей, связанных с возделыванием земли. Поверьте, то, чем вы занимались здесь до сих пор, — не еврейское дело. Это была неумная выдумка пьяных царских чиновни-

ков и большевиков. Мы вас переселим в Егудино, вы знаете это село. Там для вас будет строиться крупный город. Такой, скажем, как э-э... Бердичев. В том городе вы снова займетесь своими традиционными еврейскими делами: торговлей, маклерством, будете портняжить... При этом я гарантирую, что все ваше имущество, и даже мелкий скот, за исключением коров, быков и лошадей, будет в полной сохранности доставлено к вашему новому местожительству. Вы также получите некоторую компенсацию за недвижимое имущество: дома, сады и прочее. Как видите, германский рейх — это не грабительские большевистские Советы. Мы всей своей мощью стоим на защите частной собственности. Фурман, вы все точно перевели? Прекрасно! Итак, господа евреи, надеюсь, вы все поняли? Тогда садитесь в машины. На новое местожительство в первую очередь поедут мужчины.

Слова Дица, однако, не внесли успокоения, и притихшая было толпа опять начала бурлить, возмущаться:

— Мы не согласны переезжать!

— Переезжать так переезжать! Но почему нас разъединили?

— Не верьте ему, люди! Тут какая-то ловушка!

Отдельные выкрики стали вновь сливаться в слитный, угрожающий гул.

— Господа евреи! — видя, что колеблющихся становится все меньше, а ярость большинства нарастает, опять заговорил Диц. — Ведь я, кажется, доходчиво объяснил, что вы едете на новое местожительство, и будет гораздо лучше, если ваши мужчины прибудут туда раньше. Им ведь необходимо какое-то время, чтобы лучше подготовиться к встрече своих семей. Не думаете ли вы, что это входит в функции германской армии? Должен заметить, что мы не обязаны да и не в состоянии всюду посылать своих людей. Фурман, переводите слово в слово!

— Слушаюсь!

Между тем во двор въехали пять крытых камуфлированных грузовиков, и Диц дал команду начать отправку колонистов.

— Господа офицеры, герр Фурман, поторопитесь, пока эти ослы раздумывают. Все внимание — на мужчин. Их немало, и это все-таки сила. Герр обер-лейтенант, надо полагать, что после погрузки вы поедете первым рейсом? Чудесно! Крипке, вы тут останетесь старшим.

И началась погрузка. Трехкутновцы снова разразились криками, проклятиями, рыданиями. Но гитлеровцев и полицаев уже ничто не сдерживало. Упирающихся колонистов просто сбивали с ног и, оглушенных, закидывали или запихивали в кузова автомашин. Вскоре от школы отъехал «опель». За ним — первый грузовик...

За ожесточенной и торопливой погрузкой в автомашины первой группы колонистов никто сразу не обратил внимания на высокого белобрысого полица, через садовую калитку прошедшего на задний дворик школы. Словно слепой, щупая руками высокий каменный забор, он добрался до старой раскидистой шелковицы у западной, глухой стены и, стараясь удержать равновесие, узкой длинной спиной прислонился к ее шероховатому стволу. Но ноги у него подламывались, и, чтобы не упасть, он широко их расставил.

Стоявший у калитки солдат охранения так загляделся на погрузку колонистов, что заметил этого полица лишь после того, как последняя автомашинка выехала со двора школы. Посмеиваясь, он пошел к другому солдату, неторопливо расхаживающему от угла забора до чугунных ворот.

— Алоис, иди сюда! Посмотри на того типа у шелковицы! — крикнул он и, выразительно шелкнув себя по шее, громко засмеялся. — Видишь, он уже успел накачаться!

— Тут ничего удивительного нет, — поравнявшись с первым солдатом и вместе с ним не спеша направляясь к калитке, сказал Алоис. — Эти наши помощнички только и знают, что дрызгать с утра свой паршивый самогон да заедать его шпиком! Жизнь у этих жеребцов такая, что прямо позавидуешь. Пьют, воруют что под руку подвернется и где придется валият девок. Кстати, Вальтер, у него вся рожа в крови!

— С кем-нибудь не поделил самогон, вот и передрались. Это же свиньи!..

— Нет, Вальтер, ты ошибаешься. Поглядывай хорошенько, а я позову лейтенанта.

Спустя несколько минут Алоис и лейтенант Крипке уже тормозили полица, допытываясь у него, что про-

изошло. Но тот, мотая головой со слипшимися от крови светло-русыми волосами, в ответ только что-то невнятно бормотал.

— Гм, изрядно же его отделали! — потирая острый подбородок, промолвил Крипке. Убедившись в тщетности усилий узнать что-либо у полица, он распорядился: — Вот что, Зеллер. Бросьте его тормозить. Лучше принесите-ка ведро холодной воды. Иначе мы ничего вразумительного от него не добьемся. Гм, кто же так разукрасил его? Любопытно.

А произошло вот что. Когда к предусмотренному приказом фельд-коменданта сроку во двор школы не явились шесть колонистов: медник Трехкутновской МТС Ефим Шахновский с женой, сапожник Бенья Гундосый со своей Басей, старший сыниска Хайма Геллера четырнадцатилетний Фимка и дурачок Суня Песин (по распоряжению Дица, Роза Рабинская в счет не шла), Митька Фурман хотел было послать за ослушавшимися евреями бывшего колхозного конюха Хведька Домиховского и молодого белобрысого полица из приبلудившихся окруженцев-дезертиров. Но обычно во всем исполнительный, Хведько вдруг наотрез отказался выполнить это распоряжение.

— Что на тебя нашло? — поджимая толстоватую губу, спросил Митька вкрадчивым, ничего доброго не сулящим голосом.

— Не хочу, и все! Нехай другие идут.

Неожиданное неповиновение полица, да еще такого, казалось бы, всегда послушного, следовало немедленно пресечь. Для его же пользы и в назидание другим. Но прежде чем наказать закапризничавшего Хведьку, Митьке хотелось докопаться до причины его отказа. И хоть времени у него было в обрез, Фурман попытался было сделать это. Зная сварливый нрав и ядовитый язык Домиховского, он, чтобы их нелцеприятный разговор не слышали другие полица, отвел Хведьку в сторону.

— Так почему ты отказываешься выполнить мой приказ? Я тебя не устраиваю как начальник? А може, ты метишь на мое место? Скажи, не стесняйся, — заглядывая в упрямо сощуренные зеленоватые глаза Хведьки, негромко, с придыхом спросил Митька.

— Да катись ты к чертовой матери со своим местом! Не могу я это, понимаешь ты или нет? Я не задумываясь расстрелял бы Мотю Светлицкого, Фарбера или этого христопродавца Степана Костюченко. Бо от таких,

как они, по земле пошла вся большевистская зараза. А за что я должен казнить, к примеру, Лейбу Веера или деда Рабинского? А Суню-дурачка за что? Кому мешают эта божья птаха? Нет, как хочешь, но я не могу убивать детей, стариков и убогих.

До коллективизации Хведько Домиховский был богатым отрадненским хуторянином. Его раскулачивали двадцатипяти тысяч докер-еврей из Одессы, и ожесточившийся Хведько считал евреев-активистов своими злейшими врагами. Как и Мотя Дудинский, он тоже надеялся, что с приходом немцев колхозы будут распущены, а земля снова станет частной собственностью, ее вернут бывшим хозяевам. Вот тогда-то и он снова вернет свои наделы, а может быть, даже и расширит их. Хведько был согласен забрать у людей землю, но не жизни. Убийства не входили в его расчеты.

— Так ты, значит, надумал цацкаться с жидами?

— Понимай как знаешь. На то немцы и назначили тебя начальником. А я свое сказал.

— А Анну-стахановку разве не ты помогал расстреливать? Как же это понимать? Хитришь, Хведько! Выходит, подыгрываешь и нашим, и вашим? Ну, ладно! Пока побудь тут. Я с тобой потом разберусь! — зловеще пообещал Митька и вместо Домиховского послал за неявившимися другого полицая, из поселившихся еще во времена коллективизации в Трехкутной нескольких крестьян соседней деревни Бирзаловки.

Оживленно переговариваясь, бирзаловец и полицай-окруженец первым тщательно обшарили дом и подворье Хаима Геллера. Не найдя там парнишку, они огородами вышли к дому Бени Гундосого. Но и в этой хате было пусто. Переглянувшись, полицай бросил недоузданные шляпы подсолнухов, сорванные в огороде Геллера, и, уже встревоженные, поспешили в конец нижней улицы, где в густом вишеннике стоял дом вдовушки Иды Фарбман, сожительницы раввина Шнеера и родной сестры Суня Песина, дурачка колонии.

Так уж устроен мир, что почти каждый поселок имеет своего сумасшедшего. К этим несчастным созданиям люди повсюду одинаково относятся с жалостью и добродушной усмешкой, терпеливо мирятся с их безобидным бредом и несуразными поступками.

В этом смысле Трехкутная не была исключением. И у нее был свой сумасшедший — Суня Песин. В известной степени колонисты даже гордились им, как некой

достопримечательностью. Особенно им нравилось при страстие Суня к «воинским наградам». В базарные дни, строго в два ряда нацепив на рубашку надраенные до блеска кругляши и треугольники — обрезки оцинкованной жести, дурачок важно прохаживался между рядами торговых лавок. Поговорить с ним всегда находились охотники. Когда какой-нибудь любитель, подмигивая окружающим, обращался к Суне с вопросом, за что, мол, он получил «награды», тот хитровато морщил безбородое скопцеватое лицо, вытягивался в струнку, прикладывал грязную руку к старой затерханной буденовке, не снимаемой им круглый год, и хрипловато отчеканивал давно усвоенную хохму: «Гренадер Суня Песин награжден его превосходительством генералом Деникиным за жестокие сражения с чужими женами!» Хохма Суня, если поблизости находились еще и женщины, как правило, неизменно при этом чертыхавшиеся, вызывала оглушительный хохот мужиков, и они, кто чем мог, щедро одаривали его.

... Войдя в раскрытую калитку небольшого ухоженного подворья вдовы Фарбман, полицай тотчас же увидел Суню. Дурачок сидел на перевернутом старом ведре около клуна и чекой от колеса колотил на стертом жернове сухие абрикосовые косточки. Ему, видно, очень нравились сладковатые ядрышки, ибо на его круглом голощем лице застыла блаженная, какая-то по-детски умиротворенная улыбка.

Полицай-бирзаловец, коренастый, с маленькими злыми глазками-буравчиками на бронзовом скуластом лице, подойдя к безмятежному Суне, слегка ткнул его прикладом винтовки:

— Здоровенько, чокнутый! Ты чего не пошел к школе вместе с Идой?

Суня поднял голову. Раскрыв большой слюнявый рот с белыми заедами в углах губ, он уставил на полицая бессмысленный взгляд.

— Я спрашиваю, почему ты не пошел с сестрой в школу? — повторяя вопрос, полицай раздраженно повысил голос.

До Суня, очевидно, дошло, что от него хотят эти люди. Лицо его страдальчески скривилось. Дело в том, что некоторые эгоистичные и безжалостные в своих шалостях мальчишки, случалось, жестоко обижали Суню, и он их панически боялся. И потому не любил школу, место обитания этих злых человечков.

— Не-е! — выставив вперед грязные руки, замотал головой Суня. — Не хочу до школы!

— Хе, боится! Это он жиденятами напуган. Они его частенько дразнили, — взглянув на своего напарника, злорадно усмехнулся бирзаловец и, вдруг сапогом расшвырнув косточки, штыком кольнул Суню. — Теперь уже не будут обижать! Ну-ка, поднимайся и шагай с нами! Некогда нам цацкаться с тобой.

— Не-е, я не пойду! — испуганно вскочив с ведра, рукой хватаясь за уколотый бок, продолжал плаксиво твердить Суня. — Я боюсь у школы!

— Ах, не пойдешь? — с холодным бешенством промолвил полицай. — Тогда сдыхай тут!

Он приставил ствол винтовки к самому сердцу Суни и спокойно нажал на спусковой крючок. Суня как-то подпрыгнул, заваливаясь, упал навзничь, засучил босыми ногами, захрипел. Из рта потекла тоненькая струйка крови.

Брезгливо обойдя затихшего Суню, полицай, оглядываясь, пошел со двора. Спустя несколько минут они уже поднимались на крыльцо дома Ефима Шахновского. Рванув на себя дверь кухни, шедший первым бирзаловец осклабился, довольно потер граблястые руки, нелепо торчавшие из коротких рукавов бледно-зеленого солдатского френча.

— Так вот вы где, голубчики! А мы вас всюду ищем. Даже немного струхнули: а вдруг, думаем, сбежали! А они, полюбуйте-ка на них, расселись тут, будто паны! — полицай сдвинул на затылок мятую солдатскую пилотку, снял с плеча винтовку и, раздувая ноздри слегка приплюснутого носа, не терпящим возражений тоном приказал: — Поднимайтесь, жидки! Посидели в холодочке, и годи!

Бирзаловец оглянулся на напарника, мигнул и ладонью, широкой и бугристой, будто нагоревшая сковорода, этак лихо вытер тонкогубый рот. Его напарник, высокий белобрысый полицай, прислонив русоволосую голову к низкой притолке, прищуренными глазами молча, холодно ощущивал сидевших на кухне Ефима Шахновского с женой Зельдой, Беню Гундосого с Басей и Рольфа Кунерта, однополчанина и старого друга хозяйина дома.

Кунерт был немец, он жил в соседнем Карлсдорфе и, когда ему стало известно о приказе трехкютновского фельд-коменданта, сразу догадался о том, что за ним

кроется. Он не колеблясь поспешил спасти друга. Но Ефим решительно отказался от его помощи, прекрасно понимая риск, на который решился Рольф.

Уговаривая Ефима и Зельду скрыться из колонии, Рольф просидел у них до утра. Он сидел у стола и бесцельно мямл в пальцах хлебный катыш, когда вошли полицай и бирзаловец, велел им идти с ними, начал оскорблять хозяев. Кунерта это разозлило. Бледнея от скрытого гнева, он тяжело поднялся, вплотную подошел к полицая и, как бы нависая над ним всем своим большим грузным телом, пальцем строго повел у него перед носом:

— Быстро же ты опаскудился, господин хороший! Но это твое собачье дело! Только жидов тут нет! Тут люди сидят, понятно?

— А я про тебя ничего и не говорю, — чуть отпрянув, поспешно сказал бирзаловец. — Я знаю, что ты дойч. Но кто же тогда эти, если не жида?

Кунерт, как и хозяин дома, был уже немолод. Когда-то он вместе с Ефимом Шахновским в кавалерийской бригаде Котовского прошел через многие сражения гражданской войны. Еще в ту пору он дрался за свободу и равноправие всех обездоленных и теперь был верен своим убеждениям. Сверху вниз глядя на полицая, он настоятельно повторил:

— А я говорю — люди! — и добавил уже по-украински: — Э-э, та хибя ж така сволота, як ты, шо-небудь розумие!

— А нам и понимать нечего! — задиристо шагнул от порога до этого молчавший длинновязый полицай. — Жида жидами останутся. А ты, дядя, хоть и не ихнего роду-племени, пойдешь вместе с нами. Там с тобой разберутся, что ты за дойч! Ишь ты, тоже нашелся суперечник порядка!

Он слегка оттеснил бирзаловца и, недовольно что-то сказав ему, передернул затвор винтовки.

— Стоишь тут, антимонии разводишь! С ними вот как надо! А ну-ка, подымайтесь! Да живо!

Последующее произошло с такой молниеносной быстротой, что никто из колонистов не успел и глазом моргнуть. Они лишь изумленно поглядывали то на корчившихся на полу полицаяев, то на тяжело дышащего над ними Кунерта.

— Ой-вей! Рольф, что ты наделал! Ты знаешь, что

нам за это будет? — придя в себя, испуганно заохала, стала ломать руки дородная жена Шахновского.

— Кроме смерти, ничего больше уже не будет! — не к месту хахакнул Бенья Гундосый. — В чем-чем, а в этом, Зельда, можешь не сомневаться.

— Вот именно! — сказал Кунерт и повернулся к Шахновскому. — Ефим, возьми у них винтовки и патроны. Если уж погибать, то хоть умрем как люди. Ты еще не забыл, как надо стрелять? Ну и хорошо! А эту падаль я выкину из дома. Чтоб они тут не смердили.

— Може, мы их того? — почесывая заросшую щеку, заикнулся было Гундосый.

— Ой, что ты говоришь! Не надо! Тут же будет кровь! — запротестовала Зельда и поспешно, словно бы тошнота уже подступила у нее к горлу, прикрыла ладошкой рот.

— Зельда права, — за шиворот подхватывая белобрысого полица, сказал Кунерт. — Не стоит поганить пол. Да и не умею я стрелять в лежащих. Лучше вышвырну их.

В окнах дома Шахновского почти не осталось целых стекол. Стены его, снаружи беленные известью, исковерканы пулями. Оттуда уже несколько минут не отвечали на выстрелы, но немцы и полицаи, окружившие хату, все еще вели по ней огонь из укрытий. Хоронясь за каменным забором палисадника, лейтенант Крипке прямо-таки исходил желчью. Прошло уже около получаса, а он со своей группой так и не сумел еще взять засевших в доме пятерых бандитов. Хуже того, он потерял в перестрелке солдата и двух полицаев. Как на это отреагирует чистюля Хоппе и особенно высокомерный оберштурмбанфюрер? Явно не на пользу Крипке. Поэтому лейтенант и нервничал. Ему очень хотелось взять живыми засевших в доме колонистов. Но он понимал, что, обреченные, они предпочтут смерть. А ждать, чтобы они отправили к праотцам еще кого-либо из его людей, было бы совсем уж непростительно. И тогда, приняв наконец решение, он приказал лежавшему около Зеллеру:

— Ну-ка, подожгите крышу. Эти свиньи не хотели сдаться добром, пусть тогда поджарятся!

Перезарядив винтовку обоймой зажигательных патронов, солдат несколько раз выстрелил в крышу. Посеребшую камышовую кровлю, за многие годы высушенную жарким солнцем, в четырех местах тотчас же лизнули

огненные язычки. Подхваченные ветерком, расширяющиеся рыжие струйки поползли к гребню и там, сливаясь и курясь, быстро накрыли хату потрескивающей дымчато-багровой шапкой. Все больше разгораясь, огонь скоро уже изнутри охватил стропила, дощатые фронтоны, потек по карнизу, потом перекинулся на крашенные наличники, а с них жадными щупальцами потянулся к оконным рамам. Вскоре пламя и едкий дым, сквозь разбитые стекла подхваченные сквозняками, за клубились во внутрь комнат.

Надсадно кашляя, Бенья Гундосый отшвырнул ставшую уже ненужной винтовку и на четвереньках пополз от окна в угол кухни. Зачерпнув там из оцинкованного бидона кружку воды, он тем же манером вернулся к жене, ничком лежавшей в горнице.

— Бася, на, попей, — протянул он ей кружку. — Глотни, трохи легче станет.

Женщина глухо закашляла, повернулась лицом к мужу и неожиданно сильно ударила его по руке. Расплескивая воду, кружка закатилась под укутанный дымом тлеющий диван. Кособоко присев, подламывающимся руками упираясь в пол, она дико повела округлившимися липкими черными глазами. Она дышала надсадно, как загнанная лошадь, по запавшим щекам ее удлинившегося лица грязными бороздками катились горячие слезы.

— Попей, легче станет, — едва шевеля потрескавшимися губами, снова прохрипел Бенья.

— Ирод бесчувственный! — свистящим шепотом выдохнула Бася. — Воду он мне дает! Раньше надо было обо мне позаботиться!

Упрек жены был более чем справедлив. Конечно же, надо было уехать из колонии вместе со всеми. Но, увы, мертвых с кладбища не возвращают. Отчаянно стиснув кудлатую, накалившуюся от жара голову, Бенья виновато простонал:

— Прости, Баселэ, ради бога! Знаю, что сам себя перехитрил. Но что теперь поделаешь! Я рад, что хоть дети сейчас не с нами.

— Уж как Степан Костюченко и Мотя Светлицкий просили уехать. Так нет, ты хотел быть умнее всех!..

— Что теперь об этом говорить...

— Как со... всеми, — уже теряя сознание, Бася с трудом вытаскивала из себя слова. — Было бы... и... с нами... К школе... ползти... Иду... Ой, мама!..

— Положим, туда и сейчас не поздно...

С каждой секундой невятное бормотание Бени тоже все больше замедлялось. Паузы становились все продолжительнее, каждое слово, будто скребком, раздирало горло.

— Ой, мама!.. — вдруг вскинувшись, отчетливо вскрикнула Бася и скрюченными пальцами распустила спереди кофту. — Ой-вей, умираю! Бенья, родненький, мне душно!.. Ой, помоги!.. Умираю!..

Силы ее иссякли. Руки у Баси подломились, и она как бы прилегла на пол. Она уже не стонала, не скребла пальцами половицы. Ее большие мягкие груди, вывалившиеся из кофты, вздымались все реже, и все слабее становился вырывавшийся изо рта свистящий хрип. Вскоре Бася затихла совсем. Положив голову Баси себе на колени и ощущая, как от усиливающегося нестерпимого жара у него словно бы лопаются кожа, Бенья краями разорванной кофты прикрыл грудь жены и стал поглаживать ее горячие, дымящиеся волосы.

Он гладил голову своей уже успокоившейся Баси и, все с большим трудом ворочая чугунеющим языком, невязно бормотал:

— Кунерт уже на небесах... Ефим и Зельда тоже... Моя Бася... Надо сказать... Винтовку... тащить... Какие жаркие дрова... Закрывать... дверку...

Пожирая потолок, косяки и двери, огонь перекинулся на пол. Трескучие угарные язычки поползли по вздувающимся пузырями крашеным половицам. Вскоре в горнице и на кухне с грохотом обрушился пылающий потолок и к обуглившимся, догорающим стропилам рванулся столб огня, дыма и известковой пыли. Все было кончено. Лейтенант Крипке уже безбоязненно поднялся с земли. Отряхиваясь, из-за укрытий появлялись солдаты и полицейки.

Сгоревшая хата Ефима Шахновского стала первой в длинном ряду сожженных и разрушенных домов и построек Трехкутной.

Моте Дудинскому выпало ехать на втором грузовике. Когда два рослых эсэсовца надумали было подтолкнуть его к кузову, он, не слишком разведя руки, легко отодвинул их в стороны и, мгновение постояв, не спеша

пересек почти весь школьный двор. И удивительно, ни полицан, ни эсэсовцы даже не попытались его остановить. Подойдя к толпе женщин, он глазами отыскал жену, протолкался к ней и, обняв, губами коснулся влажного лба.

— Прощай, Ривелэ! — глухо произнес он. — На этом свете мы с тобой больше уже не увидимся. Если можешь, прости меня за все!..

Он с трудом оторвал от себя иступленно припавшую к нему жену и, набычив массивную лохматую голову, вернулся назад к автомашине, сам полез в кузов. Он не видел рванувшуюся было за ним Риву и ее протянутых к нему рук, не видел, как полицейки ударами приклада загнал ее обратно в толпу. Внешне спокойный, Мотя присел на скамью, и только невятная, какая-то жалкая улыбка кривила его большой твердого губый рот.

В кузове грузовика рядом с Мотей оказались дед Мойша и Арон Каршибойм. Одногодок Моти, Арон был тоже наделен от природы большой физической силой. Даже покойный уже Беренона, запросто гнувший подковы, с трудом противостоял ему. Бывало, когда еще парнями Мотя, Арон и Беренона вместе появлялись на улице, встречные колонисты, прижимаясь к плетням, благоразумно уступали им дорогу. При этом они не весело шутили: «Ша, люди, — на улице буган!..»

Едва грузовик вырулил за околицу колонии, как сидевшие в нем трехкутновцы услышали слабое татаканье пулеметных очередей. «Так, значит, там уже приканчивают наших», — равнодушно, как бы в одурающей полудреме сказал себе Мотя.

У колодца с журавлем машина приняла чуть влево, и безучастному взгляду Моти открылась знакомая с детства панорама: широкий разлив плавней с начавшим уже рыжеть камышом и окунувшаяся в мягкую синюю дымку гора по ту сторону Ингула. Ему вдруг вспомнились давние зорьки, когда он, еще парнем, затаившись, терпеливо сиживал в этих камышах. Он будто наяву снова услышал свистящий полет чирковых уток, ощутил свежий, ни с чем не сравнимый запах реки. Сердце Моти как бы бухнулось вниз, и кровь ударила в виски, когда он подумал, что через несколько минут все это исчезнет и на нем будет лежать давящий слой сырой, холодной земли. Он вздрогнул и затравленно глянул по сторонам. Он словно бы очнулся от пристра-

ции. В нем припоздало, с волчьей тоской, вновь ворохнулась жажда жизни. Однако о побеге нечего было и думать: у заднего борта машины, отделенные железной решеткой, лицом к колонистам сидели два эсэсовца с автоматами на изготовку. Мотя прикинул, что, пока до них дотянешься, они наверняка успеют всех перестрелять. И мысленно махнув на все рукой, он снова понуро опустил голову.

Окутанный клубами взвихренной пыли, за бортом промелькнул возвращавшийся назад грузовик. Он мчался в колонию за очередной партией трехкутновцев. Через несколько минут мотор автомашины, в которой ехал Мотя, натужно взвыл, и он понял, что начался подъем на косогор. Вскоре, проехав еще с полкилометра, грузовик остановился. Первыми на землю соскочили эсэсовцы. Откинув задний борт и отворив железную решетку, они на несколько шагов отошли от машины. Поводя вскинутыми автоматами, эсэсовцы бесстрастно командовали:

— Вылезайте! Быстро, быстро!

Покряхтывая, Мотя вылез и помог выбраться из кузова деду Мойше Рабинскому. Старик собрался на смерть, как в синагогу. На лбу его трясущейся головы была молитвенная коробочка, а на левом рукаве пиджака намотан узенький ремешок. Под мышкой он держал свой неизменный молитвенник, наспех завернутый в голубовато-полосатую накидку — талэс. Бескровные губы деда, что-то шепча, непрерывно шевелились.

Между тем несколько из находившихся на косогоре эсэсовцев, солдат и полицаев взяли в полукольцо группу вылезших из машины колонистов и, приказав им сложить на затылок руки, начали теснить их к противотанковому рву, совсем еще недавно вырытому самими же трехкутновцами.

Не обращая внимания на поданную команду, Мотя помогал идти деду Мойше. Слабые, высохшие в былку ноги плохо держали старика, и Мотя почти нес на себе его легковесное тело. Когда каратели начали цепочкой выстраивать колонистов вдоль рва, Мотя, опустив на землю старика, спросил его:

— Реб Мойша, вы сможете сами стоять?

— А что мне остается делать, сынок? Не падать же на колени. Я постараюсь, — ответил дед и, поддериная сползающие штаны, даже попытался выпятить ссохшуюся грудь.

— Реб Мойша, а что вы все шепчете?

— Я знаю? Я спрашиваю всевышнего, не спит ли он сейчас, когда карают его народ, Израиль.

— Хэ-э, даже в лучшие времена ваш бог находил себе более важные дела. А вы хотите, чтобы он теперь снизошел до нас!

— Не богохульствуй, сморкач! Господь знает, что творит!

— Ну-ну...

Из ямы послышался стон. Вздогнув, Мотя глянул через плечо. Сердце у него зашлось от ужаса: из рва, окровавленными пальцами цепляясь за осыпавшийся песок, пытался выбраться однорукий пастух Соломон Баскин...

Тем временем немцы и полицаи, держа автоматы на уровне груди обреченных колонистов, подались назад и, обойдя лежавших за пулеметами солдат, остановились.

Следя за происходящим уже потерявшим интерес ко всему взглядом, Мотя вдруг увидел Митьку Фурмана, угодливо говорившего что-то высокому статному офицеру в серо-зеленой форме. Мотя побледнел, тело его забила дрожь. Вот из кого он сейчас с удовольствием вышиб бы дух! В этот миг он ощутил к Митьке еще большую ненависть, чем к его хозяевам — немцам. Он горько вздохнул, но тут же по его лицу вдруг поползла чуть приметная усмешка. «А что?.. Тряхнуть-ка старинной, а? Хотя напоследок, да выбью мозги у кого-нибудь из этих!..» — подумал он и почувствовал чье-то прикосновение. Скосив глаза, Мотя увидел, что Арон Каршнбойм подмигивает ему. Он понял, что Арону пришла та же мысль, и решился. Да и был он в том состоянии, когда человек, перешагнувший мысленно через животный инстинкт самосохранения, уже не цепляется за жизнь. Стараясь привлечь внимание выделяющегося своей статностью офицера, Мотя поднял руку и, шагнув из цепи, громко крикнул по-немецки:

— Господин офицер, можно вас попросить?

Диц услышал его. Прервав разговор с Митькой Фурманом, он тоже громко отозвался:

— Что вы хотите? Говорите.

— Я прошу сигарету. Дайте покурить в последний раз.

— О-о, пожалуйста, пожалуйста! — неожиданно раздобившись, усмехнулся Диц.

Ему чрезвычайно понравилась просьба этого обреченного еврея, и он, развеселясь, доставая на ходу портсигар, пошел к Моте.

— Что ты надумал? — услышал Мотя за спиной дребезжащий тенорок деда Мойши.

— В рай хочу, старик, в рай, — не оглядываясь, сквозь зубы обронил Мотя.

Диц остановился в нескольких шагах от Моти и, по-прежнему улыбаясь, раскрыл и протянул ему портсигар. Мотя подошел, толстыми пальцами неумело выудил сигарету и начал неторопливо разминать ее. Исподлобья поводя низко опущенными глазами, он заметил, как притихли солдаты и полицаи и настороженно напрыглось загорелое круглоскулое лицо Митьки Фурмана. Увидел Мотя и двух эсэсовцев, за пулеметом аппетитно уплетающих арбуз, и густеющую на западе тучу, и плотную тень ее, накрывшую бирзаловскую гору, и парящего над плавнями коршуна. Отчетливее всего ему почему-то виделся располосованный в руках эсэсовцев арбуз: ярко-красные, как гребни драчливых петухов, ломти с мелкими коричневыми семечками, редко вкрапленными в мучнистую сладкую мякоть. «Спелый кавун и, наверное, холодный», — нехотая подумал он. Моте даже показалось, что он чувствует аромат арбуза. Он потянул ноздрями воздух, но в этот миг Диц щелкнул своей никелированной зажигалкой, и тонкий, насыщенный всеми запахами ранней осени аромат пропал. Взглянув в красивые, редко встречающиеся у немцев темно-синие глаза, на безмятежно самодовольное лицо офицера, Мотя усмехнулся и будто бы потянулся прикурить. Но, слегка изогнувшись, он, целясь в висок, вдруг со страшной силой выбросил вперед свой тяжелый кулак. Диц грохнулся на землю, а его зажигалка, блеснув на солнце, отлетела куда-то за ров. Из ушей и носа оберштурмбанфюрера брызнула кровь.

— Огонь! — тщетно сиюсь подняться, в горячке крикнул он сорвавшимся, каким-то заячьим голоском. — Огонь, собаки, подонки!

Перешагнув через корчащегося Дица, Мотя пошел на Митьку. И хотя был он от Фурмана еще в десятке шагов, тот, перетрусив, вихляясь всем телом, поспешил юркнуть за спины своих полицаев. Между тем немцы уже опомнились от секундной растерянности. Почти одновременно хлестнули пулеметы и автоматы. Что-то острое раз за разом сильно и больно толкнуло Мотю

в грудь. Вмиг став горячей, земля поплыла на него. Хватаясь рукой за глаза, пытаясь снять с них мутную розовую пелену, он еще видел ринувшегося на солдат Арона Каршибойма и каких-то других спешащих в драку колонистов. Краем глаза он заметил деда Мойшу, воздевшего кверху высохшие руки. Он даже разобрал слова старика, призывавшего на головы карателей древнее, как мир, проклятие:

— Арурим атем, арурим тыгью!*

И еще увидел Мотя, как из только что подошедшего грузовика, вслед за прыгнувшими эсэсовцами, из кузова выбрался раввин Шнеер в своем неизменном, но уже изорванном в клочья черном сюртуке, а за ним — бьющегося в нервном припадке пышноусого колхозного бухгалтера Шимена Коршунова. Потом Мотя осел на землю, и кто-то за ноги поволок его и толкнул в ров. Но он был очень крепок, чтобы сразу умереть. Жизнь еще теплилась в его могучем теле. Придя в себя, Мотя увидел срезанный угол песчанистого откоса и свисающие по нему уже засохшие жилки корневищ, а у самых глаз — чей-то стоптанный каблук с налипшими ошметками конского навоза.

Придавив Мотю, сверху на него упало тело. Потом еще одно. Он почувствовал, как по лицу и шее потекла чья-то кровь. Собравшись с силой, Мотя вывернулся из-под убитых, поднялся, вытер кровь с лица и полез наверх. Ров был глубокий, но, поднявшись на носки, Мотя локтями зацепился за бровку. Подтянувшись на руках, он стал уже переваливаться за бруствер, но карауливший его Митька Фурман несколькими ударами заступы разможил ему голову.

К вечеру, как до этого и планировал Диц, все было кончено. Еврейское население колонии Трехкутной было ликвидировано, ров у места расстрела присыпан землей и укатан колесами грузовиков.

Когда каратели убрались с бугра, туда слетел степной коршун, весь этот день круживший над косогором. Чувствуя дразнящий запах свежей крови, коршун долго поводил острыми желтыми глазами и клал хищным клювом. Но ничего не найдя, он нехотя улетел в степь.

* Арурим атем, арурим тыгью! — Будьте вы прокляты! (др. евр.)

Солнце, как обычно, медленно село за Казачьей могилой, и на землю незаметно опустились сумерки. Молчала утоптанная земля, безмолвен был косогор. Вскоре за этим днем зачастили осенние дожди, окончательно смывшие следы происшедшего. А по весне косогор покрыли молоденькие стрелки ковыля, пырея и овсюга. Потом зажелтели и запустились на нем одуванчики, зацвел донник. Под животворящим солнцем травы вызрели, осыпали свое семя, снова взойшли и, казалось, навсегда скрыли от людей свершившуюся тут трагедию.

30

Удар, нанесенный Мотей Дудинским, оказался роковым для Дица. Скрюченного, внешне словно бы заторможенного, его осторожно перевезли в фельд-комендатуру. Затем, с тяжелой черепно-мозговой травмой, оберштурмбанфюрер уже в безнадежном состоянии был отправлен в военный госпиталь.

Командование эйнзатцкомандой принял прибывший из Николаева низкорослый, худосочный и уже пожилой гауптштурмфюрер* в больших очках на остроносом птичьем лице. Несмотря на то, что акция по ликвидации евреев прошла в общем-то успешно, гауптштурмфюрер был не в духе.

На коротке ознакомившись с делами в Трехкутной, он злился не из-за того, что смертельную травму получил втайне презираемый им оберштурмбанфюрер Диц, и, конечно же, его не очень огорчило убийство в стычке с колонистами одного солдата вермахта и двух полицаев. Он был крайне возмущен потому, что, как выяснилось, из села бесследно исчез подросток — один из шести неявившихся в школу евреев. Оставил с носом и немцев, и полицаев...

Упираясь руками о стол так сильно, что у него побелели не только ногти пальцев, но и кисти, гауптштурмфюрер, сверля стоящего перед ним навывтяжку Митьку Фурмана светло-серыми увеличенными сквозь очки холодными глазами, говорил отрывисто, почти кричал со зловещими нотками в голосе:

— Где же этот еврейский ублюдок? Я вас спрашиваю, герр начальник полиции!

* Гауптштурмфюрер — капитан.

— Не могу знать, герр гауптштурмфюрер! Но я найду его! Слово чести! Я сам займусь его поисками!

— Допустим, — гауптштурмфюрер недоверчиво скрипел блеклые злые губы, но тон немного понизил. — Я полагаю, что вы не успокоитесь, пока не найдете мне мальчишку. Надеюсь, вы понимаете, что в противном случае нашу задачу нельзя будет считать полностью решенной, а ваше пребывание в должности начальника полиции станет невозможным.

— Так точно, герр гауптштурмфюрер, понимаю! — стремясь поскорее уйти от ледящего душу змеинного взгляда эсэсовца, понуро ответил Митька и вяло прищелкнул каблуками. — Спать не буду сутки, двое, переверну вверх дном все село и окрестности, но найду этого недоноска!

— Хорошо, ступайте! — морщась, гауптштурмфюрер нетерпеливым жестом отпустил Фурмана.

Уже у самого порога кабинета Митьку, вопреки его желанию поскорее улизнуть, словно бы черт дернул за язык:

— Самое позднее к утру, герр гауптштурмфюрер, я найду мальчишку, — надеясь заслужить благосклонность нового начальства, заверил он. — Только осмелюсь спросить, а что мы будем делать с той жишовочкой Розой Рабинской, что находится в своем доме, где квартировал оберштурмбанфюрер Диц? Ведь и она числится в спи...

От обер-лейтенанта Хоппе гауптштурмфюрер уже знал и про Розу. Ничего, естественно, не ведая об истинных намерениях Дица по отношению к этой еврейке, он, тем не менее, порицал поступок оберштурмбанфюрера и собирался решить вопрос по-своему. Разумеется, он прикажет расстрелять ее. Но он не мог допустить, чтобы какой-то холуй даже намеком посмел осудить поступок немецкого офицера. Потому-то от последних слов Фурмана гауптштурмфюрера так подкинуло, словно бы в стуле сработала спрятанная там тугая пружина. Вместе со вздернувшимися белесыми бровями на носу у него подпрыгнули очки, судорожно дернулась щека. Грохнув по столу костлявым кулачком, гауптштурмфюрер прохрипел:

— Во-он! Немедленно вон отсюда, шелудивый пес!..

Когда за мгновенно исчезнувшим Фурманом закрылась дверь, гауптштурмфюрер еще немного постоял, хватая ртом воздух, затем присел и, не глядя на Хоппе,

все это время безучастно простоявшего у окна, тускло промолвил:

— Нет, вы только подумайте, что за наглость?! Эта свинья уже мнит себя чуть ли не ровней нам! Обер-лейтенант, вы обратили внимание на то, как он произнес: «А что мы будем делать?..» Разбаловали вы их тут, черт возьми!

— Оберштурмбанфюрер действительно благоволил к Фурману, — повернувшись от окна, спокойно сказал Хоппе. — Но дело не в этом. Вам, герр гауптштурмфюрер, придется привыкнуть к таким людям, как наш начальник полиции. Разве вы не знаете, что у таких типов, как Фурман, подобное поведение — дело обычное. Любой предатель старается доказать, будто ради новой службы и новых хозяев готов выскочить из собственной шкуры. Наш начальник полиции не исключение. Он хочет казаться истинным немцем и верным слугою рейха больше, чем мы с вами.

— Да, вы правы. Вероятно, тут есть какая-то закономерность, — согласился гауптштурмфюрер.

Он закурил и надолго умолк. Хоппе молча наблюдал за ним, стараясь угадать, о чем думает этот невзрачный, на первый взгляд безобидный человек. Может быть, о своих близких? Возможно, что заглядывающий в окна огромный, будто луженый, месяц и дышащая в открытые форточки пол-летнему теплая ночь оторвали его от неблаговидных дел в этом чужом селе и перенесли на родину, куда-нибудь на юг Германии, в небольшой швабский городок, в круг семьи. Уж больно невоинственный вид был сейчас у сидящего за столом пожилого человека. Но Хоппе ошибался. У гауптштурмфюрера вдруг разгладились морщины на узком лбу, как-то сами собой подобрались углы губ, рот снова стал твердым, жестким, а из-за толстых стекол очков холодно вспыхнули стальным блеском глаза.

— Герр обер-лейтенант, — раздавив в пепельнице сигарету и затем вытирая о край стола запачканные пальцы, сказал он. — Я заметил, что у вас вертится тут расторопный обер-ефрейтор. Если можно, пригласите, пожалуйста, его.

Хоппе нажал кнопку звонка. И, как обычно, на пороге тотчас же возник Шике.

— Вот что, обер-ефрейтор, — сняв очки и через секунду снова водрузив их на птичий нос, негромко сказал гауптштурмфюрер. — Ступайте на бывшую кварти-

ру оберштурмбанфюрера Дица и вместе с Кеплингом ликвидируйте там эту... еврейку. Все. Хайль Гитлер!

— Хайль! — явно обрадованно гаркнул Шике и, откозыряв, выскочил за дверь.

— Вы даже не хотите взглянуть на нее? — растерянно спросил Хоппе. — Уверяю вас, это девушка редкостной красоты! Жаль, что...

— Охотно верю вам, герр обер-лейтенант, — кисло усмехаясь, гауптштурмфюрер нетерпеливо и твердо перебил его. — Но смазливые девочки, тем более еврейки, меня нисколько не интересуют. Надеюсь, что в данный вопрос я раз и навсегда внес ясность. Скажите лучше, как вы насчет ужина с хорошим вином?

«Фу-у, пронесло! — сбегаю с крыльца фельд-комендатуры, Митька Фурман облегченно вытер пот, обсыпавший лоб и лицо. — Видно, этот офицеришка злой, как цепной кобель. Недаром он такой худой. И угрозило же меня влезть с этой Розой. Проклятие! Да нехай они повесят ее вместо креста себе на шею! Мнечто какое дело? Во всяком случае теперь, пока я еще, можно сказать, нуль без палочки. И чего он такой бешеный? Неужели из-за этого жиденка Геллера? А может, оттого, что Мотя угрохал Дица? Как же, у всех на глазах хрястнуть немецкого офицера! Наверняка от этого. Ну да шут с ним. Нехай психует. А вот как быть мне? Где мне искать этого проклятого Фимку? По всему видать, что этот змей гауптштурмфюрер не слезет с меня, пока я не найду жиденка. Но куда же он скрылся? Ума не приложу! Если отсиживается где-то в балках или в плавнях, то вылезет все равно. Жрать-то ему захочется. А если он прячется у кого-нибудь из хохлов, тогда дело табак. Тогда не скоро его отыщешь. Если сховали, то кто? Може, Федор Положук? Они же с Хаимом Геллером были чуть ли не кумовья. Вообще, с хохлами тоже надо держать ухо востро. Вот и Хведько отказался выполнить мое указание. А вроде казалось, что он надежнее всех. Придется взять его за хрип. Но это потом. А сейчас... Черт, где же мне искать сейчас этого байстрюка? Я же его, щенка рыжего, еще вчера видел лазающим по крыше клуни. Иди знай, что он улизнет! Ну, подожди, найду — шкуру с живого спущу и солью посыплю! От меня не скроешься даже на том свете!»

Подойдя к невысокой каменной огороже, отделявшей дворик бывшего сельсовета от подворья расстрелянного пастуха Соломона Баскина, Фурман легко перемахнул через нее и поспешил к дому, где в этот вечер безудержно и шумно пировали его полицаи.

31

Фимка Геллер попал в руки немцев на другой день после расстрела трехкутновцев. Случилось это уже километрах в тридцати от колонии, из которой он накануне сравнительно легко скрылся. С западной стороны двор Геллера был крайним на верхней улице Трехкутной. У самого прясла их огорода, каждую весну кусок за куском отхватывая землю, извивался широкий и глубокий овраг, по крутым склонам поросший кустарником и бурьяном. Этой-то балкой, ящерицей проскользнув мимо солдат охранения, Фимка пробрался в плавни. А там, юркнув в камыши, непролазными зарослями тянувшимися по берегам Ингула на сотни километров, он оказался уже в относительной безопасности.

Правду сказать, так Фимка очень не хотел уходить из дому. Но мать прямо-таки силком вытолкала его. Вероятно, она уже догадывалась, какая участь ждет всех колонистов, и из всей своей семьи пыталась спасти хоть его, старшенького сына.

— Беги, Фимелэ! — слезно умоляла она его. — Може, хоть ты уцелеешь. Тогда расскажешь папе и всем людям, что с нами тут сделали немцы. Всем нам скрыться не удастся, а ты утайся. Ты ведь у меня уже большой!..

С трудом продираясь сквозь густые камыши и осоку, уже не раз порезав о них руки и ноги, Фимка за день прошагал километров двадцать. Ночь он провел почти без сна, дрожа от холода и страха, а чуть забрезжил рассвет, он снова пустился в дорогу, нутром чуя, что надо убраться подальше от Трехкутной. Пробираясь краем плавней, Фимка около полудня увидел огромный сад, раскинувшийся по склону косогора. Ему бы надо было пройти мимо, поскольку колхозные сады обычно находились вблизи сел, а там — немцы или полицаи. Но Фимка очень хотелось есть. Ведь с той минуты, как он ускользнул из дому, у него во рту не было и маковой росинки. И он решил. «Прокрадусь

в сад и сорву хоть несколько зимовок, если ничего другого нет», — подумал он.

Бурьяном Фимка незаметно пробрался в сад и был несказанно обрадован тем, что тот стоял пустынно-строгий, молчаливый и неохраняемый. Деревья были сплошь уже обобраны, и лишь на грушах-зимовках, сквозь их поредевшую шафранно-желтую листву, заманчиво рдели каменно твердые плоды. Убедившись, что кроме него в саду больше никого нет, Фимка забрался в самую глубь его, мигом вскарабкался на развесистое старое дерево и, удобно пристроившись на толстой ветви, жадно съел две крупные, вяжущие язык кисловато-терпкие груши. Слегка утолив голод, он стал торопливо срыгивать и складывать груши за пазуху, про запас. Фимка так увлекся этим, что не сразу услышал хриловатый, резкий окрик на чужом языке:

— Ты что тут делаешь?

Фимка вскинулся и замер, затравленно глядя на двух немцев, не спеша направлявшихся к нему. Один из них, постарше годами, был коренастый, широкий в плечах и, вероятно, очень сильный. На лбу его тускло поблескивали квадратами стеклышек кожаные очки. Лицо солдата чуть припорошено пылью. И только вокруг глаз да на переносице кожа была немного почище.

Второй солдат, тот, что помоложе, облизнув черные от пыли губы, коротко засмеялся:

— Разве ты не видишь? Ворует груши! В этом деле все мальчишки на свете одинаковы, — сказал он, но вдруг приглядевшись к Фимке, догадливо добавил: — Гейнц, смотри! Да ведь этот Рыжик — еврей!

— Действительно! — тоже попристальнее взглядевшись в Фимку, промолвил коренастый солдат. — Да, но откуда он тут взялся? Насколько мне известно, здесь до самого Привольного сплошь русские и украинские хутора. Слушай, Хорст, а не из того ли он села, где вчера расстреливали евреев?

— Вполне возможно.

Солдаты о чем-то тихо пошептались, затем тот, которого звали Гейнцем, подошел к дереву и повелительно взмахнул рукой, что, как понял Фимка, могло означать только одно: «Ну-ка, слазь!»

Задравшейся рубашкой обдирая с ветви последние усыхающие листья, про себя кляня и немцев, и ту минуту, когда соблазнился садом, Фимка с замирающим сердцем слез с дерева.

— Подойди поближе! — велел ему Гейнц, но, видя, что скованный страхом парнишка не в состоянии оторваться от ствола груши, подошел к нему сам, печально улыбнулся. — Не бойся, мы тебя не тронем. Ну, скажи нам, кто ты и откуда?

Но Фимка молчал, хотя и понял, что ему говорил немец. Расширившиеся, выбеленные страхом глаза подростка немигающе смотрели на солдата.

Видя, что таким образом от парнишки толку не добьешься, Гейнц достал из большого накладного кармана френча узкую плитку шоколада в красочной обертке, подул на нее и, по-прежнему грустно улыбаясь, протянул ее Фимке. Судорожно сжимая трясущиеся пальцы рук, тот не мог сдвинуться с места.

— Как ты напуган! Ну, бери! — слегка повысив голос, сказал Гейнц и, силком разжав трясущиеся руки Фимки, вложил в них шоколадку. — А теперь беги. Только прячься хорошенько, понимаешь? Ну, беги!

Подозрительно поглядывая на немцев, все еще боясь поверить в то, что они отпускают его, Фимка, преодолев слабость, наконец оторвался от груши и, с трудом переставляя непослушные ноги, начал медленно пятиться, пятиться и, вдруг сорвавшись, вихрем запетлял между деревьями и вскоре исчез.

Глядя ему вслед, солдаты расхохотались. Затем, подобрав рассыпанные Фимкой груши, они тоже подались из сада. Уже на дороге, усаживаясь в коляску мотоцикла, надкусив грушу и кисло морщась, Хорст сказал:

— Гейнц, ты мой земляк, ты старше меня, но все же я не могу тебя понять... Зачем это нужно тебе?

— Что именно?

— Да вот, что ты сделал. Я бы мог как-то все это понять, если бы знал, что ты коммунист. Но ведь это не так, правда? Зачем же ты рискуешь, да и еще меня к этому пристегиваешь? Думаешь, это нам когда-нибудь зачтется? Уверю тебя, что нет! Я вижу по глазам русских, что для них мы, немцы, и теперь, и, наверное, еще очень долго будем все на одно лицо — фашисты.

Что мог Гейнц ответить своему молодому напарнику? Что война и истребление ни в чем не повинных людей чужды его натуре? Что он, Гейнц, остался в душе социал-демократом, хотя Гитлер и разогнал его партию? Нет, до поры Хорсту незачем об этом знать. Од-

нако что-то ведь надо было ему ответить. И, вздохнув, Гейнц, прежде чем завести мотоцикл, сказал:

— Хорст, мы с тобой находимся сейчас на этой земле лишь потому, что стали подневольными людьми. Пойди мы против, и нам сломают шеи. Но мне хочется, чтобы ты, рабочий парень, крепко усвоил одну истину: война — это всегда дерьмо! И, кроме всего, она еще и палка о двух концах. Сегодня сила на стороне одних, а завтра — уже других. Кто мы с тобой? Фельдгегери, полевая связь. Не стреляем, не грабим... Но ты обратил внимание, какими глазами на нас глядел этот Рыжик? В нас, в людях, одетых в эту униформу, он видит зверей. Вот так! Когда я смотрел на него, испуганного, измученного, то на миг представил — а вдруг на его месте оказался бы мой Карл! Представил — и дрожь пошла по телу! Нет, Хорст, при всем происходящем нам с тобой надо оставаться людьми. Хорошенько подумай об этом!

Когда наступили сумерки, Фимка, уже километрах в пятнадцати от злополучного сада, переплыл Ингул и весь мокрый, дрожа от озноба, наобум пошатал в ночную степь. На рассвете он случайно вышел к небольшому, в полдесятка саманных хат, хутору с веселым названием Зеленый Гай. Этот хутор был ему немного знаком. До войны здесь была свиноводческая ферма одного из привольненских колхозов, и как-то позпрошлым летом, возвращаясь с Фимкой на телеге из города Вознесенска домой, Хаим Геллер заночевал тут у своего давнишнего приятеля, бригадира Мирона Стаценко.

Фимка припомнил хату старика и, отыскав ее, под ошалевший лай забесновавшегося на цепи кобеля постучался. Дверь долго не отпирали, но идти куда-либо еще у Фимки уже не было сил, и, решив — будь что будет, он в изнеможении опустился на нахолодавший каменный приступок крыльца. Он, с трудом унимая бившую тело дрожь, решил ждать здесь утра.

Спустя несколько минут, видно, отважившись, двери открыли, и на крыльцо вышел Мирон Стаценко. Кутаясь в накиннутый на плечи армяк, старик цыкнул на кобеля, и, когда тот, виновато поскуливая, понуро побрел в свой закуток, он, склонившись, ладонями упираясь в колени, с минуту пылливо вглядывался в съежившуюся ребячью фигурку. Затем, нагнувшись еще

ниже, так что его лицо почти коснулось Фимкиного плеча, он изумленно спросил:

— Слушай, хлопчик, ты, случаем, не сынок ли Хаи-ма Геллера?

Стуча от холода зубами, Фимка что-то нечленораздельно промолвил и кивнул головой.

— Эге ж! Та я ж тебя признал по волосам! Уж больно рыжие они у тебя! — веселым голосом произнес старик, но, вдруг осекшись, неожиданно легко присел около Фимки. — Подожди, подожди, но как ты попал сюда? Один, ночью?..

Фимка ткнулся лицом в полу старикова армяка и заплакал.

— Дедушка, — весь сотрясаясь уже от рыданий, еле выдавил он из себя. — В колонии... немцы-ы... все-ех рас-стреляли-и-и...

— Та мы уже слышали про это горе, сынок, — подхватывая Фимку под мышки и затаскивая его в дом, кричал старик. — Неужто всех порешили? Ах ты ж, господи боже мой! Но ничего! Поверь мне, придет и наш час! Ничего!

Уложив Фимку на лавку, Мирон, с присвистом дыша, гукнул жену:

— Гэй, старая! Спишь, что ли? А ну иди сюда! Скорее!

Из боковушки, дверь в которую была задернута цветастой ситцевой занавеской, вышла невысокая сухонькая старушка. В руках у нее был горящий огарок свечи. Увидев в его неверном, колеблющемся свете лежащего на лавке Фимку, она чуть гнусаво и торопливо запричитала:

— Господи Сусе!.. Да что же это делается!

Но, дунув на свечку, Мирон так свирепо гаркнул на нее, что старушка, оборвав свои причитания, уже молча и проворно захлопотала над Фимкой.

— Да чего ты его спать укладываешь! — через минуту снова вмешался старик. — Его надо сперва накормить, а уж потом уложить.

— Иди, иди! Без тебя знаю! — огрызнулась бабка.

— Ну, добре! — понаблюдав за ее хлопотами, уже довольно произнес Мирон. — Управляйся сама. Только свечку больше не зажигай. А то еще нелегкая кого-нибудь принесет. Ага. А я пойду гляну, что на улице творится. Барс-то своим лаем поди всех разбудил.

Утром, когда Рабинские вышли из дому, чтобы, как все трехкутновцы, идти к месту сбора у новой школы, стоявший неподалеку от крыльца здоровенный эсэсовец преградил дорогу Розе.

— Вы идите, куда направились, — с каменно-бесстрастным выражением на конопатом лице сказал он Мане и деду Мойше. — А вам, фройлен, велено никуда из дому не отлучаться.

— Это кто же мне велел? Уж не твой ли Диц? — по-немецки спросила Роза и, презрительно взглядывая на эсэсовца, попыталась обойти его.

Но, бесцеремонно взяв ее за плечо, немец без лишних слов сильно толкнул ее назад к крыльцу.

— Мама, дедуня! — спиной ударившись о выступ крыльца, Роза быстро выпрямилась и с протянутыми руками устремилась к Мане и старику.

Но эсэсовец снова, теперь уже со злостью, отшвырнул ее назад. Роза так сильно отлетела, что, опять ударившись о крыльцо, упала на землю. В глазах сверкнули багряные искры и словно бы качнулись каменная кладка палисадника и стоявшие около нее мать с дедом. В нос поползла удушливая пресная пыль, обжигающе запахло кровью...

— Прощай, доченька! — тряся головой, бессильная что-либо сделать, чуть слышно сказала Маня.

Она долгим, помутневшим от слез взглядом посмотрела на Розу, потом взяла за руку старика, и они медленно, обреченно побрели со двора.

Роза не помнила, как поднялась и вошла в дом. Подойдя к окошку на кухне, постояла, отрешенно глядя на затравевший двор. Затем, умывшись, прошла в спальню, села на кушетку, забравшись на нее с ногами, и так, недвижимо, не замечая течения времени, просидела до самого вечера.

На закате солнца она, бледная и осунувшаяся, как бы очнулась. Опустила на пол ноги, потеряла занемевшие икры, потом поднялась и, неуверенно ступая, прошла на кухню. Постояла у обеденного стола, пальцами машинально отбивая на нем дробь, затем спокойно взяла с посудной полочки длинный и узкий, негнувшийся столовый нож и, прикусив губу, с силой вонзила его в грудь...

Однообразной цепочкой потянулись пасмурные, зачастую ветреные осенние дни и холодные ночи. Если солнцу изредка и удавалось пробиться сквозь тучи, скудного тепла его все равно уже не хватало, чтобы прогреть насыщенный влагой воздух и раскисшую землю. Поля, частью убранные, а частью — так и не дождавшиеся человеческих рук, по-прежнему угнетали своей заброшенностью. Над степью не стлался сизый дымок от выволочки и соломы, при подъеме зяби обычно сжигаемой пахарями. Не наносило и терпким духом земли, вывернутой лемехами. Не было в степи ни плугатарей, ни сеяльщиков, и оттого она была еще более пустынной, хмурой, скучной. Лишь чрезмерно расплодившиеся галки да вороны властвовали над ней. На беженцев особенно угнетающе действовали вороны. Они черными комьями облепляли прошлогодние копны и скирды соломы, покинутые гумна, опустелые лесополосы, телеграфные столбы и упорно провожали обоз угрюмым, прямо-таки недоброжелательным взглядом да редким хриплым карканьем.

У Лии Дудинской на душе было так же пасмурно и тоскливо, как и в растерявшей летние краски донской степи, по которой, то соприкасаясь с обозами других беженцев, то уединяясь, трудно тащились телеги трехкутновцев. Не имея никаких известий о муже и старшем сыне, душой страдая за измученных дорожными скитаниями младших детей, она со все возрастающим беспокойством уже задумывалась о надвигающейся зиме. Где жить и работать, чем кормиться, как учить детей — эти и многие другие проблемы лишали ее покоя. И думая над ними, она все чаще склонялась к мысли, что пора бы им уже и остановиться, найти хоть какое-нибудь временное пристанище. По этому поводу она уже несколько раз заводила разговор с Айзиком Твердовским, бывшим теперь у колонистов за старшего, с Петром Боровиком и другими трехкутновцами. Однако большинство односельчан пока не помышляло об остановке. Даже женщины, на чью долю в дороге выпадало больше забот и лишений, чем на мужчин, и те не хотели слышать об этом. Однажды решившись кинуть родные хаты, они стремились теперь уехать как можно дальше от войны, куда-нибудь за Волгу, а то и за Урал, куда влекло и большинство других эвакуирован-

ных людей. «Ну, хорошо же! — слушая подобные рассуждения колонистов, все намеревалась повернуть по своему Лия. — Не хотите, бог с вами! Можете катиться хоть за Волгу, хоть на край света! А я дальше не поеду! Вот возьму да в следующей деревне и останусь зимовать!» Однако проходили дни за днями, обоз трехкутновцев оставлял позади себя все новые села, хутора и станицы, а она так и не могла еще решиться отстать от своих. Страшновато было Лие остаться с детьми на чужбине, ее пугала печальная перспектива оказаться одной среди незнакомых людей. Но, как нередко бывает, делу помог случай.

Однажды пасмурным утром, примерно через полчаса после того, как обоз миновал крытые соломой крайние хаты большой слободы с чудным названием Самбек, у арбы, на которой ехали Боровики и Лия с детьми, вдруг начисто развалилась ступица заднего колеса. Начавшее вихлять колесо незаметно перетерло стопорящую чеку, сползло с оси и покатилося в кювет. Арба накренилась, осью и углом окованной подушки бороздя раскисшую дорогу.

Путаясь в мокрых полах старого дождевика, Петро Боровик слез с арбы, обошел вокруг нее, а затем, присев над откатившимся колесом, стал кнутовищем за чем-то сковыривать с его шины налипшую грязь. Посидев так минуту-другую, он вернулся к арбе и начал выпрягать правую в упряжке вороную кобылу. Тут к арбе и подошел Айзик Твердовский. Снова начал накрапывать мелкий косой дождь, порывами задувал холодный ветер, и Айзик, хороня в кулаке дымящуюся сигарку, спросил:

— Что, Петро, обломались?

— Та обломались, хай йому грець! — связывая на шее кобылы постромки, неохотно буркнул в ответ Боровик.

— Что же ты намерен делать?

— Буду искать. Вернусь обратно в слободу. Может, где-нибудь выпрошу другое колесо.

Поравнявшись с арбой Боровика, сбоку дороги остановился со своей телегой Айзик Шор, за ним придерживал своих коней, запряженных в легкую рессорную бричку, Абрам Бобрик, мужичонка невзрачный, вечно всем недовольный. Он-то первым и зашумел, когда Твердовский спросил Боровика, подождать ли обозу его здесь или потихоньку двигаться дальше.

— С какой стати я должен сидеть посреди степи, под ветром, и мокнуть! — вскричал своим сварливым тенорком Бобрик. Узкое небритое лицо его враз набухло кровью, а клочковатые брови зло запрыгали. — А если он вообще не найдет это чертово колесо, так что — всем тут подышать? Нет, лично я еду дальше!

— Абрам! — повернувшись к Бобрику, сплевывая горькую табачную слюну, спокойно проговорил Твердовский. — Слушай, когда ты уже уймешь свой паршивый язык? Что ты все ноешь? Ведь сказано было, чтобы нам держаться вместе, значит, прыгай ты хоть до потолка, а мы так и будем делать. А если тебе лично не нравится, так мы никого не держим. Не хочешь как все, тогда катись на все четыре стороны!

— Я сам знаю, что мне делать! — еще визгливее крикнул Бобрик. — Катиться или нет! Но и ты тут поменьше командуй! И за всех не отвечай! Мы можем сами решать. Верно я говорю, мужики, бабы?

Трехкутновцы угрюмо молчали.

— Я же тебе только что сказал: лично тобой никто не командует. Можешь ехать, — повторил Твердовский и подчеркнуто равнодушно отвернулся от надоевшего всем своими капризами, претензиями и ворчанием Бобрика.

— Да что ты с ним связался, — обращаясь к Твердовскому, почесывая на жилистой кадыкастой шее густую щетину, вмешался Айзик Шор. — Что ты, Бобрика не знаешь? Погавкает, и ему надоест. Только всем здесь торчать, я думаю, и впрямь нет никакого смысла. Ты же видишь, дождик все мочит и мочит. Да еще этот ветер проклятый. Давай сделаем так: возьмем у Лии детей и поедем до ближайшего хутора. Там и подождем Петра.

— Ну, что? — пожевывая вислый прокуренный ус, Твердовский выжидающе поглядел сперва на Лию, затем на Боровика. — Может, так и сделаем, а?

— Не-е, детей я от себя никуда не отпущу! — решительно отказалась Лия. — Вы поезжайте, а мы тут подождем. Достанет ведь Трохимыч колесо!

— Ладно, погоняйте, — неприязненно косясь на Бобрика, Боровик развернул к арбе лошадь, примащиваясь сесть на нее со штыльваги. — Починю арбу, и догоним вас. Только вы езжайте потихоньку.

Из слободы Боровик вернулся часа через два. Он с трудом удерживал совершенно новое колесо. Пове-

селевший, Петро с помощью Даньки и женщин быстро посадил колесо на ось, впряг кобылу, и они, торопясь, тронулись догонять своих.

Они проехали уже два небольших, по пятнадцать—двадцать дворов, хутора, но трехкутновцев пока так и не настигли. Лия с Килиной, да и сам Петро Боровик, расстроенные, терялись в догадках, не знали, что и подумать, пока после полудня встретившаяся им на выгоне за армянской слободой пожилая темноликая и носатая женщина с черными волосами над верхней губой не сообщила, что незадолго до этого видела проезжавший тут большой обоз беженцев. И хотя тетка не знала, кто эти люди и куда держат путь, они по ее описанию догадались, что это были колонисты. На душе стало легче.

Потихоньку двинулись дальше. А день понемногу угасал. Косматые тучи снова, в который уж раз, разверзлись мелким, секущим холодным дождем. Дорогу совсем развезло. Вязкий чернозем налипал на колеса широкими пудовыми шинами, и кони, осклизаясь, потные, в ошмотьях мыла, волокли арбу из последних сил.

К концу дня выбился из сил и Боровик, поочередно с Данькой на ходу очищавший колеса от налипающей грязи. В очередной раз после такой чистки забравшись на арбу перевести дух, он вдруг повернулся к Лие и, запыханно дыша, вытирая взмокшее, продубленное ветрами лицо, проговорил с таким раздражением, словно бы не он, а она до сих пор противилась их остановке:

— Все, конец! Лия, ты как знаешь, а мы с Килиной дальше не поедем! В первом же селе остановимся и попросим приюта. А дорога эта нехай горит синим пламенем! Ну сколько еще можно мыкаться, а? Все, хватит!

Ослабив вожжи, он даже перестал понукать лошадей, ожидая, что на это ответит Лия. А та, только про то и думавшая, сразу же согласилась:

— Так и я с большим удовольствием останусь! Трохимыч, я же вам про это не раз говорила. Вы что, забыли? Я бы уже и сама где-нибудь пристроилась, да все боязно было отстать от своих. А вместе, что же, давайте остановимся. И на самом деле, сколько еще можно по холоду тащиться? Вон дети попростывали, кашляют. Их надо хорошенько обмыть, прогреть. Да и нам тоже бы не мешало...

— Вот и я об этом же толкую,

Они решили заночевать в большом хуторе, прилепившемся у подножия покато́й горы с выступающими известковыми козырьками, не зная о том, что здесь же сделали привал и остальные трехкутновцы. Подпрыгивая на колеях и промоинах, оставшихся, должно быть, еще от бурливых весенних потоков, арба въехала в верхнюю улицу. Ветер разогнал сизую толщу туч, наконец-то проклюнулось низкое солнце, открыв взору лоскут голубого неба, холодно и ярко пламенеющего у горизонта в пурпуре закатных лучей. Тотчас же весело вспыхнули, зазолотились стекла окошек, над отсыревшими крышами хат показались выходящие из труб дымки.

В лихую годину хозяевам крайних изб селений чаще других перепадает хлопот от непрошенных гостей. Поэтому они неохотно пускают на постой чужаков. Наученный этим немудреным опытом, Петро Боровик и поступался в высокие дощатые ворота на середине улицы. Из приземистой хаты выглянул сухощавый, крепкий на вид старик с сивобородым горбоносым лицом. Выйдя за ограду и поправляя зипун, накиннутый на приподнятые костистые плечи, он какое-то время зоркими ястребиными глазами пристально разглядывал топтавшихся у ворот Петра, Килину и Лию, нахохленно сидевших на арбе детей. Лишь после этого он недружелюбно спросил:

— Чего громыхаешь, чего надо?

— Да вот, добрый человек, нам бы обсушиться, переночевать, если можно... — потупясь, кнутовищем сковыривая грязь с сапог, просительно произнес Боровик и посмотрел на старика.

— А вы кто ж такие будете? Бессарабцы какие или из цыган? — осведомился старик.

— Какая тебе разница, хозяин? Люди мы, — ответил Боровик. — Беженцы...

— Это я и сам вижу. — Старик достал кисет и, неторопливо свернув сигарку, закурил. — Похоже, ты обиделся на мои слова, а? Только зря, скажу я тебе. Ну, к примеру, пусти я вас в свой курень, а вы меня же и обчистите. Кто вас знает, может, вы шпана какая. А то еще хуже — хворые. Тогда как, а? Как же я должен поступить?

— Ты, дед, голову мне не дури! — взглядывая в лицо старика, начал злиться Петро. — Нету у нас хворых, и никакая мы тебе не шпана! Понял? Ты лучше сразу

скажи:пустишь к себе переночевать или нет? Видишь, детишки уже посинели от холода.

— Мил человек, так а я о чем веду разговор? О том, что нельзя вам у меня ночевать. Старуха моя шибко хворает. Оно бы и можно было, но...

— Чего же ты, старый шовях, виляешь, как собачий хвост! Развез тут антимонии! Тыфу, куркуль! Тебя бы сейчас на наше место, тогда бы я поглядел! — с трудом сдерживаясь, чтобы матерно не ругнуть старика, Боровик пошел назад к арбе.

Взяв под уздцы коней и громко чертыхаясь, он побрел дальше улицей.

— Старуха у него хворает! — громко негодовал он. — Тыфу, куркуль несчастный! Жаль, что жареный петух тебя еще не клюнул! Та хай ты подавишься со своею хатою!

И еще в одном месте колонистам отказали в ночлеге. Повезло им лишь через десяток дворов от хаты зажиточного старика. Хозяйка дома, статная казачка с красивым моложавым лицом, неожиданно для разубежденного уже было в здешних хуторах Боровика без лишних слов пустила их на постой. Пропуская во двор арбу, она, одной рукой придерживая на высокой груди расстегнутый вязаный жакет, другой проворно раскрыла хлипкие жердевые ворота. Показав Боровику, куда поставить арбу, а куда коней, хозяйка помогла женщинам и детям снести вещи в дом. После, быстро собрав на стол сытный ужин, она успела и собственных детишек умыть и отправить спать на печь, и приласкать Люську, и подробно расспросить своих гостей, откуда они родом, далеко ли путь держат.

— Куда же вы, горемычные, дальше-то поедете? — осведомлялась казачка мягким певучим голосом и, жалостливо поглядывая на оголодавшего Даньку, все подсовывала ему то хлеб, то миску с крутой сметаной, то холодную курятину, то пшеничную кашу.

— А бес его знает, — шамкая набитым ртом, за всех неопределенно отвечал раскрасневшийся, тоже подналегший на еду Боровик. — Мы сейчас как тот курай — катимся куда глаза глядят.

— И-и, родимые вы мои! — сокрушенно кивала головой сердобольная хозяйка. — Так ведь осень на дворе: сыро, холодно... Детей совсем позастудите!

— А они и так уж попростывали, дальше некуда. Но что делать?

— Да-а, трудное ваше положение.

— Можно подымить? — поужинав и поблагодарив хозяйку, Боровик достал кисет.

И когда женщина, безразлично махнув рукой, сказала: «Та курите! Один черт мой мужик тут все продымил!», он присел на корточки перед топящейся плитой, закурил и, продолжая начатый разговор, раздумчиво поведаль:

— Вот так и блуждаем. Уже третий месяц. А куда нас несет, так бог его знает. Может, за Дон поедem, а может, еще дальше...

— Оно, конечно, и за Доном неплохо, — убирая в поставец помытые после ужина чашки и ложки, промолвила хозяйка. — И где-то там еще люди проживают. Страна у нас большая. А только чего вам по свету-то мотаться? Остались бы у нас, а?

— У вас? — недоверчиво взглянул на нее Петро Боровик.

— Ага, — кивнула она и, перехватив заинтересованный взгляд Лии, принялась уговаривать их уже настойчивее. — А чего же? Хутор наш хороший, колхоз — богатый. Одна только беда — работать сейчас почти некому. Казаки-то, почитай, все на войне. Дома одни старики да бабы остались. А вы, если надумаете, и сами пристроитесь, и колхозу поможете. Детишек в школу бы определили. Учиться-то им надо! Ну, вот. Поживете у нас сколько придется, а там, даст бог, и домой вернетесь. Не век же война будет.

Однако разморенный сытным ужином и теплом Боровик, видно, уже отошел душой, позабыл о дорожных невзгодах и о своем намерении быстрее остановиться на временное жительство.

— Спасибо вам на добром слове! Но дело это серьезное, и с ходу его не решишь, — боясь обидеть отказом гостеприимную хозяйку, уклончиво ответил он. — Понимаете, мы эвакуировались из села целым обозом, и нам бы не хотелось отстать от своих. Другое дело, когда нагоним их, посоветуемся между собой, тогда и решим что-нибудь определенное. А пока мы ничего конкретно сказать не можем...

Вскоре после ужина все уже крепко спали. И только хозяйка, тихонько возясь в просторной кухне, долго еще не ложилась. Лия тоже уснула мгновенно, лишь только голова ее коснулась подушки. Но посреди ночи она вдруг проснулась. Разбудила ее падавшая на лицо

узкая полоска света, пробивавшаяся между неплотно сдвинутыми у входа в горницу ситцевыми занавесками. С кухни слышались быстрые, легкие шаги хозяйки, позвякивание ведра и плеск воды в корыте. «Стирает», — догадливо вздохнула Лия.

Она пододвинула к себе разметающуюся во сне дочку, укрыла ее одеялом и, пытаясь уснуть, закрыла глаза. Но, перекрывая все прочие звуки, на кухне зарокотал мужской голос, и Лия невольно подслушала происходящий там разговор.

— Что за люди, разузнала? — нутужно пыхтя, гудел с небольшими паузами мужчина.

— Тише ты, иерихонская труба! — шикнула хозяйка. — Люди перезябли, намаялись!.. А то нет. Спрашивала, конечно. Они эти... ну, эвакуированные.

— Да я не про то! И так понятно, что беженцы. Я спрашиваю, деревенские они или из горожан.

— Да вроде бы деревенские...

— Это другой разговор! А куда они правятся, не сказывали?

— Они и сами не знают. Метутся куда глаза глядят.

— Когда прижмет, небось побежишь. Жизнь-то у каждого одна... Глания, а много их, не заметила?

— Давеча я насчитала поболее сорока телег. Они остановились в нижнем конце хутора. А с одних ли мест те беженцы с нашими — не скажу, не знаю.

Голоса на кухне смолкли. Слышался лишь плеск воды. Затем, вполголоса ругнувшись, хозяин досадливо попросил:

— Гланы, подсоби стянуть сапоги. Они так намокли, проклятые, что чуть ли не влипли в ноги! Никак не сниму...

— Ох, горюшко луковое! Что же ты сразу-то не сказал? Сидит, пыхтит, матюкается, черт бессовестный! — незло укоряя мужа, казачка, видно, помогла ему разуться. — Нехай твои чоботы чуток полежат в углу. Я сейчас стираюсь, тогда почищу их от грязи и поставлю сушить.

— А-а, сойдет и так. Не возись ты с ними, — несколько раз клацнув соском рукомойника, сказал хозяин и снова вернулся к прерванному разговору. — Гланы, а мужики есть среди беженцев, а? Не заметила?

— Не шибко как будто, но есть. Интересно, а чего ты все допытываешься?

— А то ты не догадываешься. Понимаешь, Глания,

хорошо бы их в хуторе подзадержать! Сама ведь знаешь, что дел у нас сейчас неуприворот. А останься они у нас, глядишь, и помогли бы колхозу. Как ты думаешь, если их хорошо попросить, останутся, а?

— Не-е, не останутся, — не сразу ответила хозяйка.

— Почему ты так решила? Или уже спрашивала?

— Так, скользом, — тихо засмеялась хозяйка. — Твой интерес соблюдаю. А не останутся потому, что они, видно, уж немцами напуганные, хотят подальше от них уехать.

— Гланы, ты ведь сама говорила, что они колхозники. А если так, значит, должны они войти в наше положение. Хлеб-то он повсюду хлеб! Гланы, ты вот что. Утром обойди все дома, где эти беженцы заночевали, и растолкуй им что да к чему. Если не получится, придумай что-нибудь такое, только подзадержи их, пока я съезжу в район. Сделаешь, а?

— Ладно, попытаюсь... А зачем едешь?

— Не знаю. Райкому зачем-то понадобился. Гланы, так ты постарайся, а? А я немного сосну. Да и ты ложись. Хватит колготиться.

Спозаранку, не позавтракав, постояльцы принялись таскать вещи снова из хаты в арбу. За этим делом их и застал Гланын муж.

Высокий, рослый, широкий в плечах и кругогрудый, он был, вероятно, очень сильный. Перешагнув порог кухни, хозяин дома сразу заслонил всю дверь. Как-то одним махом смахнув с плеч потертую, выдавшую виды кожанку, он бодро прогудел:

— Добро ночевали!

— Слава богу! Здравствуйте! — вразнобой ответили увязывающие последние узлы Лия и Килина и поджидавший тут же Боровик.

«Так вот почему он просил жену помочь ему разуться, — украдкой поглядывая на хозяина и увидев пустой рукав его косоворотки, заткнутый за наборный кавказский пояс, подумала Лия. — Такой ладный, видный мужчина и... на тебе».

Гланын муж между тем повесил на гвоздь у двери щеголеватую кубанку с алым верхом, чуть пригнул голову перед вмазанным в печь зеркалом, расчесал густой русый чуб, сполоснул руку и, подняв крышку, заглянул в стоявший на загнетке полуведечный чугунок. Взяв с

поставца большую глиняную миску, он с верхом набрал в нее из чугуна еще дымящийся картофель в «мундирах», поставил на стол, развернул промасленную газету, в которой оказалась лежавшая горкой знаменитая азовская тюлька, и радушно пригласил ночных гостей:

— Садитесь есть!

— Спаси Христос! — опустившись на увязанный узел, за всех поблагодарила Килина. — Мы после поспоем.

— Да чего там. Садитесь, пока картошка горячая. И мне за компанию веселее будет! — шурия веселые светло-карие глаза, хозяин широко улыбнулся крепким, без единой морщины, круглым лицом.

— Да нет, спасибо! — чувствуя себя не вправе еще раз поесть в гостеприимном доме, отказалась Килина.

— Тогда прошу прощенья! Я мигом перекушу, — как-то виновато улыбнулся мужчина. — И это... Мне край как необходимо с вами потолковать. Подождете?

— Чего же, можно подождать, — согласился Боровик. — А вы не торопитесь. Бо, пока мы стаскаем на арбу свое барахло, успеете позавтракать.

— Добро.

Ухватив из чашки горячую картофелину, хозяин покатавал ее на широкой ладони, затем зубами ловко снял с нее кожуру. Таким же манером очистив еще несколько картофелин, он принялся не спеша есть.

— Я вижу, — жуя, переводя взгляд с Боровика на женщин, сказал он, — что вы намереваетесь ехать дальше. А куда, если не секрет?

— Какой же тут секрет? — присев сбоку стола, со вздохом сказал Боровик. — Поедем, конечно. А куда... Шут его знает. Пока — на Ростов.

— Может, у нас останетесь? — не прерывая еду, мужчина снова поглядел на Боровика, затем, выжидающе, на Лию и Килину.

— Нам надо сначала своих отыскать. Мы ведь отстали от них. А уж потом можно будет и по этому поводу поговорить, — как и накануне в разговоре с хозяйкой, опять уклонился от прямого ответа Боровик.

И тут в разговор вмешалась Лия. Возмущенная непостоянством Боровика, она, вся раскрасневшись, запальчиво накинулась на него:

— Трохимыч, ну как вам не соромно так говорить! Что вы мне вчера говорили? Что устали от дороги, от этих скитаний! Так чего же вы сейчас мудрите? Нехо-

рошо так! Вот попались нам добрые люди и хотят помочь от чистого сердца, так вы вместо того, чтобы отблагодарить их, вертите туда-сюда!

— И то правда! — вдруг встала на сторону Лии и Килина. — Петро, може, останемся, а? Ей-богу, уже сил никаких нету больше мыкаться.

— Вот чертовы бабы! — подхватился со стула Боровик и оттого, что, собираясь свернуть новую сигарку, вгорячах просыпал табак, озлился уже по-настоящему: — Чего вы заладили: «Мыкаться, мыкаться!» По-вашему, так мне не осточертела эта проклятая дорога? Но ведь надо сперва отыскать своих! Это вы понимаете или нет?

Видя, что измотанные дорогой женщины решительно настроены остаться, хозяин стал давить на Боровика.

— Дорогой мой человек! — посунув от себя миску и вытерев кухонным полотенцем рот и руку, сказал он. — Найдете вы своих! Для этого я вам даже свежих коней и бричку дам. Поезжайте по ближним хуторам, поищите их. А ваши женщины пусть пока у нас погостят, пусть все поглядят.

— Не-е, это невозможно, — не задумываясь, словно отрезал Боровик.

И вдруг дверь хаты открылась и на пороге вырос Айзик Твердовский.

— Петро, что невозможно? — привычно теребя себя за вислый ус, спросил он.

— О-о, Айзик! — обрадованно поднялся Боровик. — Откуда ты взялся?

— Да вот, она привела, — сказал Твердовский и посторонился, пропуская в дом раздумавшуюся Гланю. — Сказала, что здешний председатель колхоза хочет с нами поговорить и что у них, мол, ночуют какие-то беженцы. Ну, я и подумал, может, то вы. И хорошо, что пошел... Петро, так что все-таки невозможно?

— Да вот они, — Боровик показал на хозяев дома, — просят остановиться пожить в ихнем хуторе. И бабы мои как ошалели. А я им толкую, что это невозможно, и все!

— Так вы об этом хотели поговорить? — догадавшись, что перед ним председатель колхоза, спросил Твердовский.

— Да, об этом, — глядя в лицо Твердовскому, прокашлявшись, густо зарокотал председатель. — Да вы садитесь! В ногах правды нет. Хочу попросить, чтобы

вы со своими земляками пожили в нашем хуторе. Вы ведь не будете все ездить да ездить? Так не лучше ли это сделать у нас? Жилье мы вам подыщем, продуктами, топливом обеспечим... Ну а вы поможете нашему колхозу. Дел в хозяйстве сейчас непростор. А если немца в скором времени не остановят и на фронте дела будут плохи, поедете дальше. Держать не станем, наоборот — поможем. Ну, так как вам мое предложение?

— Ваше предложение очень заманчиво, — опустившись на пододвинутый хозяйкой стул, Твердовский поскреб затылок. — Но тут дело такое... Понимаете, я не могу решать за всех. Надо бы посоветоваться с другими мужиками.

— Во-во, и я про то же толкую! — подхватил Боровик.

— Ну что ж, посоветуйтесь, — поднялся из-за стола хозяин. — Только мне интересно бы знать: лично вы согласны остаться?

— Пожалуй, да... Но людей все равно надо спросить.

— Хорошо! — встав против Твердовского, решительно заявила Лия. — Если уж на то пошло, то послушай и мое мнение. Значит, так! Вы, Айзик, как хотите, а я остаюсь! Эти мытарства у меня уже сидят в печенках! Дальше я никуда не поеду! Все, хватит! Данька, снимай наши узлы! — Она заплакала от накипевших на сердце невзгод, но тут же, улыбнувшись сквозь слезы, повернулась к хозяину: — Так вы мне с детьми дадите какое-нибудь жилье? Ну и работу тоже...

— Вот это верное решение! Только плакать ни к чему, — улыбнулся председатель. — Дадим жилье, какой разговор! Да оставайтесь жить хоть у нас! Места всем хватит. Верно, Гланя? А что касается работы, гм-м, то, как говорится, была бы шея, а ярмо найдется. Подыщем вам занятие. Кстати, уважаемая, как вас величать?

— Лия Дудинская.

— А я Платон Ильинов. — Председатель надел кожанку и кубанку, взглянул на Твердовского: — Ну, что же, пошли, потолкуем с вашими людьми. Я надеюсь на них! Ведь если не подсобите, у нас прахом пойдет много подсолнуха, кукурузы, буряков...

Во дворе Ильинов стал сноровисто подтягивать подпруги седла на своем рослом гнедом дончаке.

— Упрашиваю я вас не от хорошей жизни, — сказал

он вышедшим вслед за ним Твердовскому и Боровику. — А что прикажете делать, если одной необмолоченной пшеницы у нас стоит еще двенадцать скирд! Кроме этого, надо зябь подымать да еще часть озимых посеять. А коровы? Да мы только из ваших краев приняли их не меньше полтыщи голов! Дойть и ходить за ними надо? Надо! А где я людей возьму? Они, эти коровы, считай, уже вторые сутки не доенные стоят. Это, по-вашему, порядок? То-то! Наши бабы придут, из жалости подоят десяток-другой коровенок, а на большее их рук не хватает. Вот я и ношусь по райкомам да райисполкомам, прошу, христарадничаю, ловлю людей и бегучих, и катучих, — невесело усмехнулся он.

— Очень трудно, я вас понимаю, — сказал Айзик Твердовский, невольно проникаясь дружеским сочувствием к этому издерганному всякими неурядицами и заботами, однако, по всему видать, неунывающему человеку. — Но и вы должны войти в наше положение. Если немцы, не дай бог, снова нажмут, нам опять надо будет тикать дальше. Вы думаете, это легко? Только сядешь на место, только начнешь привыкать к людям, к работе, и на тебе — снова срываешься... Это тоже трудно. Но... давайте попытаемся. Мытарства всем надоели...

После того, как Твердовский и Ильинов переговорили с трехкутновцами, двадцать четыре семьи колонистов, в основном те, где за главу были женщины, остались в хуторе. Остальные, и в их числе невеста отчего заупрямившийся Петро Боровик, поехали дальше. Помня наказ Степана Костюченко ни в коем случае не рассеиваться группками, а держаться только вместе, Айзик Твердовский, расстроенный, одинаково переживающий за всех колонистов и оттого казавшийся непривычно сердитым, долго и настойчиво наставлял отъезжающих:

— Об одном прошу, вы уж нигде больше не останавливайтесь. Езжайте прямо на Сталинград. Иначе я не знаю, как мы снова соберемся до кучи. Якова Сандлера с колхозной чередой мы уже потеряли на этих проклятых дорогах, теперь еще вы надумали отбиться... В общем, пробирайтесь на Сталинград. Там, я слышал, действуют эвакупункты, регистрируют всех беженцев, которые переправляются за Волгу. Если надумаете переехать за Волгу, то обязательно пройдите эту ре-

гистрацию. Тогда мы хоть будем знать, где вас искать. Ну, с богом! Погоняйте, раз надумали.

Лия Дудинская в тот же день пошла работать на колхозную животноводческую ферму. Ильинов полностью передал на попечение ее и других колонисток стадо коров, пригнанное в хутор откуда-то из-за Днепра. Впервые подойдя к временному загону, где на студеном ветру сгорбленно жались одна к другой истощенные, с распухшим выменем грязные коровы, Лия, дружно поддерживаемая другими женщинами, с несвойственной ей горячностью набросилась на вертевшегося тут же мозглявого смуглого мужичонку — пастуха этого эвакуированного стада.

— Как же вы их довели до такого состояния? — сердито переходя от одной коровы к другой и слегка дотрагиваясь до их набрякших, потрескавшихся доек, гневно взглядывала она на шедшего рядом пастуха.

А тот, донельзя обрадованный тем, что председатель наконец-то нашел доярок и для его коров, в ответ лишь покорно улыбался да виновато разводил руками.

Достаточно, как ей казалось, отчитав мужичонку, Лия, морщась от трубного, жалобного мычания коров, попросила его лишь об одном — поскорее нагреть бочку воды и расстараться, хотя бы немного, сливочным или подсолнечным маслом, а остальное — уж их дело. Потом колонистки до позднего вечера сноровисто подмывали, смазывали, массажировали и выдаивали набухшие вымя коров, без передыха таскали из колодца воду, чтобы напоить их, и все подкладывали им прошлогоднее, с легким запахом прели сено.

Уже в крутых потемках добравшись до председателя дома, где хозяева оставили ее жить, Лия еще нашла в себе силы написать коротенькое письмо сестре Циле в далекий Биробиджан. Но опустить его в почтовый ящик, висевший на лавке селпо, наискосок от хаты Ильиновых, она послала Даньку. А когда тот через несколько минут вернулся, Лия, примостясь на лежанке, уже крепко спала.

Недели за две до ноябрьских праздников на юге Приамурья вдруг резко похолодало. Тихую, обычно теплую и ласковую в тех краях осень как-то сразу сдунул

ледяной ветер, навалившийся с северо-востока, со стороны оголившихся отрогов Малого Хингана. Словно всполошенный табун одичавших коней, ветер несколько дней кряду куражился в степи, круша на релках, елянях и марях уцелевший от пала бурьян и камыш. Но к исходу четвертого дня ветер понемногу стих и блеклое нахолодавшее небо стало быстро затягивать курящейся свинцовой наволочью. Давящая пасмурь копилась всю ночь. А на рассвете повалил густой снег.

Спозаранку выйдя из вагончика, Филипп Журавлев, в ту осень нередко ночевавший на полевом стане, был неприятно поражен.

— Эх ты, пророчица! — неторопливо обходя цистерны, тракторы и свезенные уже за ненадобностью культиваторы, лушильники, сеялки и плуги, досадливо пенял он на свою левую руку, еще в шестнадцатом году простреленную австрийцами под Перемышлем и с той далекой поры болезненно ноющую на близкое ненастье. — Ну к чему эдакое-то наворожила?

Попетляв по стану, Журавлев понуро поплелся к лежащему метрах в шестистах не сжатому еще до конца соевому полю. Встав на меже и глядя то на комбайны, едва проступающие сквозь снежную муть, то на стыло гнущиеся кустики сои, он сокрушенно вздыхал: «И как же мы ее теперь убирать-то будем? Эх-ма, не могла погода, будь она трижды неладна, сдюжить хотя бы еще недельку!»

После завтрака, видя, что снег еще не скоро уймется, Журавлев вдруг спешно засобиравшись в село. Заседлав своего маштаковатого коня, понуро стоявшего с подветренной стороны вагончика, он, уже сидя верхом, приоткрыл дверь будки.

— Изот! — громко позвал он одного из находившихся в ней механизаторов. Но разглядеть того с седла ему мешала возившаяся у плиты дебелая повариха, то и дело заслонявшая мощной фигурой дверной проем, и Журавлев прикрикнул на нее: — Ольга, ну-ка по-сунься в сторонку! Весь свет застишь. Изот, ты чего помалкиваешь?

От угловых нар оторвал свою кудлатую голову пожилой комбайнер и недовольно уставился на раскрытую дверь.

— Чего тебе? — хрипло, нехотя спросил он.

— Изот, ты тут того, поменьше спи и почаще поглядывай на поле, — слегка свешиваясь с седла и ру-

кой удерживая норовящую захлопнуться дверь, наказывал Журавлев, — может, к обеду все же распогодится, так вы с Цилей попробуйте жать. Глядишь, что и получится.

— Да какой там получится! Если снег и перестанет валить, то все одно надо еще полдня, чтобы стручки обдуло. Да только снег долго еще будет сыпать.

— А ты откуда знаешь?

— Так по небу видать. Я ведь тоже к полю ходил, сопок-то и в подзорную трубу не разглядишь. Не, сегодня толку уже не будет.

— И все-таки, если что — попробуйте.

— Ладно, мне-то что... Африканыч, а ты надолго?

— Должно, к вечеру вернусь.

— Ладно, поезжай.

От полевого стана бригады до села было километров восемь, и спустя какой-то час Журавлев был уже в деревне. Не заворачивая домой, он подался прямо в правление колхоза. В конторе теперь было непривычно тихо, зачастую там шуршал бумагами один лишь старичок счетовод, и ходивший с месяц в председателях бывший бригадир молочно-товарной фермы артели Давид Горелик долго жал большую озябшую руку Журавлева.

— Ну, немного отогрелся? — отпустив наконец бригадира, Горелик, нещадно коптя самодельной трубкой, обрадованно затопал по тесному, с прочно устоявшимся затхлым запахом табака кабинету. — Тогда присядь и Расскажи, что случилось такое экстренное, что ты с утра заглянул до меня?

— А ты, паря, слепой, что ли? — перестав дышать на руки, Журавлев с непритворным удивлением глянул в узкое, с резко выступающим костистым подбородком, плохо выбритое лицо Горелика. — Не видишь, снег!..

— А-а, ну и что? — Выколотив трубку о ножку стола и большим пальцем вдавливая в нее новую порцию табака, Горелик поднял на Журавлева широко расставленные, круглые, спокойные темные глаза. — Что мы до этого не видели снег?

— Да? Гляди, какой умник выискался! А ты позабыл, что у меня половина сои еще не убрана?

— И рад бы забыть, да вот такие, как ты, разве дадут.

— Гляжу я на тебя, Давид, и поражаюсь! Веселый

ты человек. Ну, ежели снег тебе нипочем, подскази тогда, что делать.

— Ха, если бы я знал!..

— Чего же веселишься? — сердито проговорил Журавлев и подошел к висевшему на стене, за спиной председателя, телефону. Сняв трубку, он рывками прокрутил ручку.

— Але, але!.. Почта? Дайте мне, пожалуйста, Поляковского! Да, да, директора МТС, кого же еще! — досадливо прокричал он в трубку и обернулся к Горелику: — Придвигайся, послушаем, что он скажет хорошего.

— А-а, — отказываясь, Горелик безнадежно махнул рукой. — Ну что он тебе может сказать? Помощи от него теперь не жди, он сейчас сам гол как сокол.

— Ничего. Может... Але, Абрам Яковлевич? Это я, Журавлев... Да здоров! Чего звоню-то? Так ведь снег... Нет, не у меня одного снег, но сою-то как убирать? А что мне два комбайна, когда еще... Да я этими комбайнами в самый раз буду убирать до самого нового года! Что?.. Стало быть, не можешь? Эх, жизнь, ядри твою!.. Да не ругаюсь я. Будь здоров, говоришь? Ага, будь и ты!..

— Ну, что я тебе говорил? У него теперь на хозяйстве — одна печать, и все! — коротко засмеялся Горелик, до этого с интересом вслушивавшийся в разговор. Плутувато щурясь, он шутиливо погрозил Журавлеву: — А ты, Африканыч, тоже не прикидывайся таким сиротой! Я же тебя знаю не первый день. Ты же не ехал сюда только ради того, чтобы позвонить Поляковскому? Правильно? Если ты появился в такое время, значит, у тебя в голове уже что-то возникло. Что, я не прав? Тогда выкладывай.

— По дороге сюда, — подойдя к протопленной голландке и прикладывая к ней то ладони, то нахолодавшие щеки, сказал Журавлев, — я, конечно, кое-что перебирал в уме. Но другого выхода, кроме как просить помощи у школы, не вижу.

— У школы? А что ты имеешь в виду?

— Надумал я, паря, попросить у директора ребят-старшеклассников. Есть у меня на стане две старые лобогрейки...

— Я тебя понял! — внезапно озаренный догадкой, горячо перебил его Горелик. — Ты хочешь сказать, что часть скосишь этими жатками? Сложишь ее в копны,

а когда комбайны станут на прикол, то будешь ее спокойно вымолачивать? Так?

— Угадал, умник.

— Я-то умник, а вот ты — не знаю. Это еще надо будет проверить. Ты что же надумал, хочешь погубить мне всю сою?

— Как так?

— А ты разве забыл, что на морозе ее стручки лопаются от малейшего удара? Ну, если бобы чуть раньше вышелушиваются во время работы комбайна, так черт с ними. Там часть из них хоть попадает на полотно. А куда бобы будут падать у жатки, об этом ты подумал? На землю они будут сыпаться, вот куда! Потом ты станешь подбирать эту сою? Нет уж, спасибо твоей бабушке за такую уборку! Мне соя нужна, а не гектары!

— А если снег будет валить еще несколько дней, тогда что? Завалил он сою, и ты ее снова увидишь только в феврале. Так будет лучше? Словом, не гонишь, Давид. Я, наверное, не дурнее тебя и знаю, что делаю. Понял? Теперь в сое еще много зеленой травы, и при косьбе это маленько смягчит удар ножа. Соображаешь? Ну, слава богу, стало быть, ты еще не конченный человек. А разве снег не смягчит прикосновение ножа? То-то! Вот если мороз ударит покрепче, тогда все. Тогда пой лазаря. Тогда жатки уже ни к чему.

— Значит, по-твоему, должно получиться? — присев было, Горелик, нещадно попыхивая трубкой, снова возбужденно заходил по кабинету, то и дело взглядывая в окно, за которым, не переставая, все сыпал снег.

— Должно выгореть.

— Филипп, я всегда считал, что у тебя на плечах не голова, а целое правление колхоза! Отлично придумал! Да, но как уговорить директора школы? Вот вопрос! Я, к примеру, не берусь просить у Чеботарева пацанов. Заранее знаю, что это пустые хлопоты.

— Что же, Чеботарев прав, ребятишек надо учить. Кроме того, им за лето и так достается. Но думаю, что на одну недельку он отпустит старшеклассников. Я сам потолкую с ним.

— Да, да, ты поговори с ним. У меня на него терпения не хватает. Так, ну а что же тогда требуется от колхоза? — снова повеселел Горелик.

— Немного, — стал загибать пальцы Журавлев. — Первым делом я заберу у тебя тепляк, что стоит у

фермы. Только ты побыстрее поставь его на полозья, чуть проконопачь, застекли окошки, и еще — дайнемного досок для нар. К вечеру я пригоню за ним трактор. И второе. В помощь моей Ольге пришли с утра в бригаду еще одну женщину. И, конечно, кинь дополнительно продукты. Надеюсь выпросить у Чеботарева человек двадцать, поить-кормить ребят надо будет?

— Ладно, Филипп. Считай, что все уже сделано!

— Что-то ты уж больно легко обещаешь, — недоверчиво взглянув на председателя, скупно улыбнулся Журавлев. — Ну, гляди! Я подался в школу, а ты действуй. Бывай здоров!

Из школы Журавлев наконец-то поехал домой. У ворот он неторопливо слез с коня и, намотав поводья на стояк, пошел в избу. Но прежде чем войти, он постоял, задумчиво взглядывая на росшую у окошка горницы черемуху. Снег уже густо присыпал ее ветви, и те из них, что висли над крышей, от его тяжести прилегли теперь на самые доски. Полынным веничком обмахнув снег с телогрейки и с сапог, Журавлев шагнул в притемненные сени и там лицом к лицу столкнулся с Ефросиньей, собравшейся по воду. Он взглянул на жену, и она, догадываясь, чего ждет от нее муж, ответно улыбнулась так жалко, словно в чем-то перед ним провинилась. У Журавлева защемило сердце. Перед мучительной неизвестностью, вот уже несколько месяцев кряду терзавшей их с женой, ему ненужным стал вдруг и Горелик, и соя, далекими и мелочными показались и все другие вроде бы неотложные хлопоты и заботы. Но в таком состоянии он пребывал недолго. Боясь выказать слабость, Журавлев, отворачиваясь, молча перехватил ведро из рук жены и торопливо вышел во двор. Успокаивая себя, он уже не спеша пересек дорогу, крутой, враз ставшей скользкой тропинкой осторожно спустился к Амуру и, ведром отгоняя от берега навьюженное ветром снежное месиво и льдинки, зачерпнул воды.

На кухне, поставив ведра в угол, Журавлев скинул телогрейку, вымыл руки и присел к столу. Обжигаясь, дуя на горячие кусочки картофеля и рыбы, торопливо жуя, он, не глядя на жену, спросил:

— А Зинка где?

— К Наташке Козыревой подалась. Они вместе уроки делают.

— А-а, ну ладно тогда... Слышь, мать, я сейчас в школе был. Пришлось мне на уроке немного посидеть,

на ботанике... Чудно как-то получается. Я, можно сказать, всю жизнь с хлебом, с пшеничкой вожусь, а по-ди ж ты, не знал, что каждое ее зернышко насчитывает семь частей: какие-то почки с листочками, всякие там семядольки... Я знал, что зерно — это зерно. А тут — какие-то семядольки. Чудно!..

Он pokrutil головой, удивленно усмехаясь. Но, под-няв глаза на жену, растерянно крикнул. Ефросинья не слушала его. Худым плечом прислонясь к печи, краем передника вытирая слезы, она беззвучно плакала.

— Ну что ты, мать, ей-богу! — Журавлев в сердцах отложил ложку.

Наткнувшись на досадливый взгляд мужа, Ефросинья торопливо сглотнула слезы.

— Подлить щец? — спросила она.

— Хватит, наелся, — сразу потеряв аппетит, Журавлев сердито посунул от себя миску. Нарочито-благодарное настроение его улетучилось мгновенно, как летний сполох. — Однако нечего сырость-то разводить! Если от Павлухи нет письма, это ни о чем еще не говорит!

— Так ведь пятый месяц пошел, Филя!

— И что? Может, почта где-то подзадержала письмо. Там, мать, война идет...

Журавлев не меньше жены переживал за сына. Один бог знает, чего только он не передумал за это время, сколько здоровья ему стоило молчание Павла. Но он не позволял себе расслабляться ни на минуту. Он понимал: стоит один только раз поддаться горьким раздумьям о судьбе сына, и они, эти мысли, сломают тебя, как съедают сосульку лучи вешнего солнца.

— Другим почта почему-то не задерживает письма, — гнула свое Ефросинья.

— Будет, будет еще письмо!.. Жив Павел, чувствует мое сердце! Надо потерпеть. А чем попусту слезы точить, ты бы лучше собрала кое-что поесть. Мне ехать надо.

— Опять на неделю заладишь? — спросила Ефросинья и недовольно поджала тонкие губы.

— Может, на неделю, а может, и на целый месяц! Откуда я знаю! — огрызнулся он, поднимаясь из-за стола. — Сою-то мне надо убрать или нет? Что же я в таком разе, дома должен рассиживаться? Говоришь несуразное.

Через полчаса, ничего не сделав по дому, толком даже не поговорив с женой, Журавлев снова уже трусил по дороге к полемому стану.

Ночью снегопад прекратился, и к утру снова стал набирать силу ветер. Но, хоть ледяной и колючий, он был кстати. Ветер сдувал снег с полей, не давал ему слежаться, и Журавлев торопился воспользоваться этим. Спозаранку запустив в работу оба комбайна, он поспешил назад на стан и начал нетерпеливо расхаживать вокруг тепляка, накануне прибуксированного из села. В тепляке еще спали ребята-старшеклассники, добровольно вызвавшиеся помочь колхозу. Погода изменилась, и теперь можно было бы отказаться от их помощи, но, хорошо все взвесив, Журавлев решил пока не отправлять их назад в школу. Однако и будить их ему было жалко, и он ждал, когда они проснутся сами.

Через какой-то час ребята уже косили сою, а незадолго до обеда, поглядеть на их работу, в поле появился и Горелик. Горбясь в седле, пряча от студеного ветра лицо в воротник полушубка, он первым делом и подъехал к их загонке. Не спешиваясь, Горелик долго глядел на ребята, стынувших и на стульчиках лобогреек, и на копнении уже сжатой сои. Неодобрительно покачивая головой, он все же слез с коня, пошарил в нескольких копнах и воочию убедился, что Журавлев оказался прав: слегка отсырев, стручки действительно не вышелушивались. Тогда председатель подался на соседний участок.

Журавлева Горелик увидел на комбайне Цили Кривошеевой. Африканыч стоял на мостике рядом с Цилей и, чуть повертывая штурвальным колесом, что-то настойчиво втолковывал ей. Закутанная в теплый платок, в подпоясанном полушубке, Кривошеева ответно понимающе кивала и улыбалась полиловевшими от стужи губами. Увидев Горелика, Журавлев передал ей штурвал, слез с комбайна и, переждав, пока агрегат, окутанный половой и снежным куревом, прогрохотал мимо, подошел к председателю.

— Что, проконтролировать меня заявился? — потирая почерневшие от холода щеки, спросил он.

— Филипп, — не отвечая на подначку, Горелик ребром ладони выразительно ударил себя по шее. — А нас с тобой не вздернут за это место, а? Ты посмотри на пацанов, они же очугунели от холода! Не дай бог попростывают, начнут болеть, тогда и с нас шкуру спустят.

— А ты допрежь не каркай! Если кто из них и заболит, значит, это лодырь. Стынет тот, кто не рабо-

тает. Ветра-то нечего бояться. Главное, не покрепчал бы мороз.

— Не, не говори. Все-таки боязно. Чем так убирать сою, то уж лучше пусть она простоит, как ты говоришь, до февраля.

— Ничего, паря, не переживай. Поработают еще с какой-то часок, а потом согреются. В тепляке жарко, да и обед им готовят хороший. Я не стану подолгу держать их в поле, не больше четырех часов в день. Так что не волнуйся. Да-а, а все ж таки от них помощь большая! Как бы то ни было, а вместе все сегодня скосят гектаров двадцать. Это тебе что? Сегодня двадцать, завтра столько же, глядишь, недели за две и управимся. А там... пускай снег валит.

— Не спорю, дело хорошее. Но гляди, Филипп, не подведи под монастырь.

— И то гляжу! Чем каркать-то, ты бы лучше снова смотал в село да собрал бы кое-что мальчикам.

— Что ты еще надумал?

— Ничего я не надумал. А просто не мешало бы раздобыть ребятам рукавицы шубяные, полушубки. Сделай, Давид, а? Вон Витька Ярославкин да Эдик Кацев в телогрейках работают. А я знаю, что в каждом доме что-нибудь да найдется.

— Попробую. Не идти же мне под суд из-за твоей выдумки. Ну так я поехал. Да, чуть не забыл. Передай вот письмо Циле Кривошеевой.

— От Иосифа? — пряча в карман телогрейки изрядно помятый, еще довоенной поры конверт, спросил Журавлев.

— А ты что, сам не можешь прочесть обратный адрес? — взбираясь в седло, буркнул Горелик. — Помоему, нет. Штемпель на нем не воинский, а обычный, круглый. А в общем, не знаю... Ну, так я погнался.

— Давай!

Выбравшись на дорогу, Горелик помчал коня шибкой рысью. А Журавлев, ежась от ветра, побрел навстречу комбайнам. Пропустив «сталинец» Изота Драгунова, он помахал рукой Леонтию Городникову, Цилиному трактористу, а затем ей самой, чтоб они остановились.

— Цили, слазь! — достав письмо, размахивая им над головой, крикнул Журавлев.

— От кого оно, Африканыч? — нетерпеливо отозвалась Цилия. — От Иоськи?

— Понятия не имею! — бегло взглянув на конверт, ответил Журавлев.

Из-за гулкого грохота работающего вхолостую комбайна она не расслышала ответ и, оттянув край туго повязанного платка, снова прокричала:

— Я ничего не поняла! От кого письмо?

— Говорю — не знаю! Да тебе что, лень слезть?

На этот раз Цилия все расслышала. Улыбнувшись, она проворно сбежала с мостика, схватила письмо и, укрывшись от ветра за копнители, одревеневшими от холода пальцами надорвала конверт. Не прошло и минуты, как она с радостным возгласом кинулась догонять Журавлева, ухившегося к краю поля.

— Филипп Африканыч, подождите! Письмо это от Лии, от моей сестры!

— Значит, отыскалась сестра! — подождав Цилию, участливо проговорил он. — Вот видишь! А ты переживала.

— А как же было не переживать? Ну, слава богу, нашлась, живая! — выдохнула Цилия. — Но это не все. Мне кажется, тут и для вас есть кое-что интересное. Вот послушайте, что сестра пишет. Ага, вот здесь она упоминает молодого красноармейца Журавлева, которого отвезла в госпиталь...

— Где? Ну-ка, покажь! — с захолонувшим вдруг сердцем Журавлев потянулся к письму.

— Вот здесь, видите, она пишет, что в конце августа вместе с другими беженцами из их колонии помогла поместить несколько раненых бойцов в Мелитопольский госпиталь, и среди них — какого-то Журавлева.

— Вижу... Но это еще ни о чем не говорит, — пробежав глазами строчки, указанные Цилей, и возвращая ей письмо, тихо промолвил Журавлев. — Знаешь, сколько по стране наберется народу с такой фамилией? Тыщи! Почему же ты решила, что твоя сестра пишет о Павлухе?

— Ну как же! Ведь Лия дальше сообщает, что этот боец откуда-то с Дальнего Востока! Разве этого мало?

— И Дальний Восток тоже большой. Почитай, только у нас по Амуру да Биджану в каждом селе проживают десятки Журавлевых. Но все равно, спасибо тебе на добром слове! А сестре будешь отвечать, ей тоже передай мой низкий поклон.

Непривычно сутулясь, Журавлев медленно пошагал дальше. И хотя он угрюмо глядел себе под ноги, в душе

его с новой силой затеплилась надежда, что сын жив. В эти минуты он даже подсадовал на Горелика, потопившегося ускакать в деревню. Не поспеши он, мог бы и Ефросинью порадовать этой весточкой...

Предзакатным часом в один из октябрьских дней к загону колхозной фермы, где все еще ютилось эвакуированное с Украины стадо коров, подскочил на своем взмыленном дончаке Ильинов. По всей вероятности, председатель проделал на коне большой пробег, ибо дончак загнанно поводил боками и был словно испуганный. Спешившись и захлестнув поводья на верхней жерди изгороди, Ильинов торопливо пошел по загону, на ходу здороваясь с работавшими женщинами. Отыскав Лию Дудинскую, доившую корову, он постоял, молча наблюдая ее работу. Дело, ради которого он приехал, не терпело отлагательств, и все же, глядя то на тонкие пальцы Лии, быстро, привычно отжимавшие соски коровы, то на тугие струйки молока, глухо цвиркающие в ведро, он терпеливо ждал, пока она закончит дойку. Затылком почувствовав его взгляд, Лия оглянулась, смущенно одернула юбку и проворно поднялась. Ласково шлепнув корову по кострецу, она подошла к Ильинову.

— Поправились коровы, — сказала она. — Понемногу стали прибавлять молоко.

— Молоко — это хорошо, — теребя махор плети, глухо ответил он. — А где бригадир?

— Был где-то здесь, — повертела головой Лия. — Позвать его?

— Не надо. Потом... Вам еще много доить?

— Нет, в моей группе это была последняя. А что?

— Тогда пройдемте со мной. Разговор есть.

— Одну минутку, ладно? Я только солью молоко в бидон, — Лия спешно пошла вдоль ограды в дальний, крытый угол загона.

Когда Лия, уже без ведра, подошла к воротам, Ильинов, отвязав коня, растопыренными пальцами, словно гребенкой, расчесывал его густую, темную у шеи гриву.

— Я вот что должен сообщить вам, Дудинская, — избегая смотреть на нее, сказал председатель. Голос его

был по-прежнему глуховат, с какими-то беспокойными нотками. — Уезжать вам надо отсюда. И поскорее.

— Ради бога, что случилось?

— Самое худшее, к сожалению. Сегодня утром немцы заняли Новоазовское. Это недалеко от нас, — Ильинов виновато понурился. В углах твердого рта не таяла горечь. — Ведь вот как нескладно все получилось: то я упрашивал вас остаться в хуторе, а сейчас вынужден выпроваживать. Жаль, а ничего не попишешь.

По усталому, слегка осунувшемуся лицу его метались тревожные тени. Он оставил коня, вытер руку о штаны, достал из заднего кармана галифе потрепанный блокнот, прижав его к колену, что-то черкнул огрызком карандаша и, выдрав листок, протянул его Лие.

— Это распоряжение бригадиру конедвора. А не окажется его — покажите конюху. Возьмите бричку и немедленно уезжайте. Кое-кого из ваших мужиков я по пути сюда уже известил о случившемся, а вы передайте своим женщинам.

Ухватясь за луку, Ильинов легко метнул в седло свое большое тело и машистой рысью поехал от загона. Но вдруг он так круто осадил и развернул коня, что тот от неожиданности даже присел слегка на задние ноги. Вернувшись к все еще потерянно стоявшей Лие, Ильинов сказал:

— Знаете, Дудинская, я не хотел раньше говорить вам про это, а сейчас скажу. Хочу, чтобы вы знали. Когда вы остались в хуторе, тут про вас разное говорили: что евреи, мол, не хотят работать, ловчат и прочее... Теперь вижу — брехали люди. Вы добрый работник. Дай бог каждому! И земляки ваши тоже. Жаль, что приходится расставаться, а то бы нам сто лет трудиться вместе... Вот так. Ну, не стойте. Собирайтесь, а как поедете, гоните на Аксай. Туда и поближе будет, и мост через Дон имеется. Когда переберетесь на тот берег, поезжайте на Сальск, на Зимовники. Мы тоже этим маршрутом поедem. Авось еще встретимся.

— Хорошо! Я передам ваши слова Твердовскому. Платон Григорьевич, а как же эти коровы? — оглянувшись на стоящих в загоне животных, с тревогой спросила Лия.

— Не волнуйтесь, тут не оставим. Погоним их вместе с нашим стадом! — заверил ее Ильинов и, надавав каблучками коня, усакал.

Лия некоторое время с растерянной задумчивостью

глядела вслед усакававшему председателю. Она понимала, что этот человек хотел им добра. Хотя какое уж тут добро... Ведь им придется снова скитаться, опять мерзнуть и голодать, вновь замирать от страха перед сеющими смерть на дорогах немецкими самолетами. И, подумав обо всем этом, неотвратимом, Лия, привалясь грудью к изгороди, бессильно заплакала.

В станицу Аксайскую, где, по словам Ильинова, через Дон был перекинут деревянный мост, трехкутновцы добрались только на третьи сутки, когда время уже перевалило за полночь. Но, несмотря на поздний час, тут, как когда-то у днепровской переправы, прямо-таки кишел человеческий муравейник. Это угадывалось еще издали по слитному гулу, бившемуся под обрывистым берегом Дона.

Было зябко. Холодок тек и с пепельно-стылого неба, по которому с юга на север торопливо уносились всклокоченные, подсвеченные месяцем прозрачно-белесые тучи, и с притемненного Дона, морщившегося крутой рябью. Гулявший по берегу ветер разносил далеко окрест острые запахи конского пота, бычиной мочи, ременной сбруи, угарный душок отработанного бензина и едучий дым тлеющих в кострах кизяков.

Постоянный мост через реку был разбомблен немцами, саперы наводили понтонный, и, в ожидании переправы, трехкутновцы снова промаялись на пятачке под обрывистым донским яром без малого неделю. А когда наконец-то настала их очередь перебраться на левый берег — тяжело заболела Люська Дудинская. В трудном положении оказалась и семья Моти Светлицкого. У его жены, Фаины, давно уже страдавшей туберкулезом, от сырого и холодного воздуха болезнь начала быстро прогрессировать. Но Фаина не захотела из-за себя подвергать риску детей. Она велела им ехать со всеми колонистами до конца. Лия же была в полной растерянности. Приведенный откуда-то Айзиком Твердовским пожилой, вконец измотанный военврач, тщательно осмотрев Люську, сказал Лие:

— У вашей дочери двустороннее воспаление легких. Ехать дальше вам пока нельзя. Девочке крайне необходим постельный режим. Хотя бы на неделю.

— Но, доктор, ведь целая неделя!.. А если немцы?.. Военврач зачем-то снял простые, в железной оправе

очки, повертел их и снова водрузил на небольшой костистый нос. Достав застиранный, серый, как земля, носовой платок, он вытер им руки и только сочувственно посмотрел на Лию. Он пошел уж было от брочки, кивнув на прощание Лие и стоявшему тут же Твердовскому, но, вспомнив что-то, вернулся. Достал из кармана гимнастерки небольшой пакетик, перетянутый красной резинкой от велосипедной камеры, протянул его Лие:

— Возьмите, это аспирин. Хорошо действует. К сожалению, ничем большим помочь не могу.

Еще раз бегло взглянув на Люську, уже метавшуюся в горячем бреду, военврач, что-то бормоча себе под нос, быстро зашагал прочь. Примерно через полчаса он неожиданно снова появился на берегу. Увидев одиноко стоявшую брочку Лии, он недоуменно вскинул седеющие кустистые брови.

— Что, ваши попутчики уже уехали? Переправились?

— Еще нет. Но они уже направляются к мосту. Я не просила их не покидать нас. Как можно требовать от людей такой жертвы?

— Да, да, разумеется, — скороговоркой, но с явным осуждением пробормотал военврач и, одной ногой встав на подножку брочки, наклонился к Люське, приложил маленькую сухую ладонь к ее лбу.

— Вы дали ей таблетку? — не оборачиваясь, спросил он Лию. — Мда-а... Пока жар не спадает. Правда, и времени-то прошло еще мало, но... Собственно, уважаемая, я пришел сказать, что вы можете временно устроиться на ту квартиру, с которой я съехал. С хозяйкой, кстати милейшей женщиной, я уже обо всем переговорил. Если не возражаете, я покажу дорогу.

— Спасибо, доктор! Сам бог вас послал! — сдерживая слезы, горячо благодарила его Лия.

— Ну что вы! Пустое!..

Спустя еще четверть часа Лия с детьми и военврачом были уже на удаленной от Дона окраинной улице Аксайска. У небольшого, с верандой, двухэтажного дома, сложенного из пиленых блоков розовато-желтого ракушечника, военврач тронул плечо Даньки:

— Молодой человек, придержите-ка ваших буцефалов. А теперь, — не спеша слезая с брочки, сказал он, — идите в этот двор. Хозяйка вас ждет. Возможно, что и я еще наведаюсь. Думаю, дней через шесть вы

сможете ехать дальше. Главное, не волнуйтесь, все обойдется. Организм у девочки крепкий. Ну, желаю здравствовать!

Люська металась в жарком бреду две недели. Сумев как-то выкроить время, военврач еще раз наведился к Дудинским. Внимательно осмотрев Люську, он, задумчиво покачав головой, вышел на крыльцо, долго курил там, глядя на галок, шумно ссорящихся в опустевшем саду, затем вернулся в дом, дал Лие какие-то новые, принесенные с собою порошки. Наказал прикладывать девочке горчичники или натирать ее скипидаром, а если не найдется ни того, ни другого — разогревать ее обычными водочными компрессами. Потом попрощался и больше уже не приходил. Вероятно, военные дороги увели его куда-то из станицы...

Наконец Люська переборола недуг. Однажды после полудня она вдруг приподняла над одеялом исхудавшую руку и протянула ее к багряному лучу солнца, падавшему из окна на постель. Накрыв его просвечивающей ладонью, слабо улыбаясь, Люська повернула голову и долгим, теперь уже осмысленным взглядом посмотрела на сидевшую возле нее мать. В глазах ее уже не было горячечной мути, так пугавшей Лию.

На пятый день после того, как у Люськи миновал кризис, Лия спешно засобиравлась в дорогу.

— Господи Сусе! И куда ты ее, болезненную, потащишь? — помогая Лие укладываться, отговаривала ее хозяйка, опрятная, как все казачки, не старая еще женщина с разлатыми бровями на круглом молочно-белом лице. — Ну, перегодила бы еще хоть недельку.

— Спасибо, Антонина Михайловна! Я бы с удовольствием, — отвечала Лия и кивала на черную тарелку радиорепродуктора на стене. — Но ты же сама слышишь, что за сводки передают?

И действительно — больше ждать было уже некуда. Шла вторая половина ноября, и немцы подходили к Ростову.

В ночь, когда Лия Дудинская с детьми снова оказалась на стылом берегу Дона, у разбомбленного в кото-

рый уж раз и вновь наспех наведенного плавучего моста творилось что-то невообразимое. Сотни всевозможных повозок, мажар и бричек, орудия, тракторы, автомашины, кавалерийские части, группы отступающих красноармейцев и полевые госпитали, толпы беженцев, гурты овец и стада коров, табуны лошадей — вся большущая, не поддающаяся никакому учету и почти неуправляемая скрежущая, громыхающая и напиральная масса людей и животных, техники, гужевого транспорта, казалось, только и ждала именно эти ночные часы, чтобы поскорее, раньше других, ступить на узкий спасительный настил.

Даньке удалось протиснуться со своей бричкой к мосту перед самым рассветом. От ударов холодных крутых волн реки и сотен тонн груза мост угрожающе раскачивался, черпал воду низко огороженными краями. Временами казалось, что эта покачивающаяся, хлопающая дощатая лента не выдержит навалившейся на нее тяжести и вот-вот погрузится в Дон или разорвется, разъединится на отдельные секции.

Все еще опасаясь за дочку, Лия не села на бричку. Взяв Люську на руки и поминутно оглядываясь на Даньку, который вел в поводу коней, она пошла впереди него. Но как только она вступила на мост, слитный людской поток тотчас же цепко подхватил ее, оттер от брички и увлек с собой.

Данька продвигался медленно. На мосту раз за разом возникали пробки, коням часто приходилось сдерживать шаг, и тогда дышло брички, задираясь вверх, неизменно упиралось в забрызганный грязью задний борт шедшей впереди полуторки. С черепашей скоростью проехав каких-то полсотни шагов, полуторка и вовсе остановилась. Охранявший в ней груз боец встал в кузове и, вытягивая тонкую юношескую шею, несколько секунд вглядывался в роящуюся темно-серую мглу. Затем, нагнувшись к кабине, он громко сказал сидящему в ней человеку, что впереди видно лишь стоящую эмку и приткнувшиеся возле нее две подводки. Вскоре Данька и сам разглядел виновницу образовавшегося затора. Он увидел, как черную легковушку с приподнятыми боковыми капотами после короткого ожесточенного спора попросту сбросили в Дон, и движение по мосту возобновилось.

Но отвлеченные возникшей пробкой и озлобленным препирательством люди проглядели звено немецких бом-

бардировщиков, вынырнувших как бы из-под самого яра. Один из «юнкерсов» пролетел низко над мостом в тот самый момент, когда Данька вновь тронул коней. Не успев даже испугаться, он увидел искрящийся столб воды, поднявшийся вверх где-то впереди полуторки, услышал пронзительное ржание смертельно раненной лошади. Оторванную от остального моста часть понтона стало кренить и быстро заносить в сторону. Почуввав плеск воды, заливающей настил, кони Даньки, дико всхрапнув, шарахнулись вбок, попятились. Бричка, переваливаясь за низкий борт, встала дыбом. Испуганно храпя, кони упирались изо всех сил, но вода все больше заглатывала бричку, и через несколько секунд над нею, лошадьми и над зацепившимся за дышло Данькой сомкнулся холодный мрак.

Ветер гонял по Дону высокие, темные, с белыми гривками волны, в редющих сизых сумерках пронзительно и тоскливо кричали уже проснувшиеся, носящиеся над рекой чайки. Волны с шумом накатывались на низкий песчаный левый берег, и пенистые студёные брызги обдавали почерневшее от горя лицо Лии, стекали по ее растрепавшимся волосам, мочили платье. Но она ничего не видела и не слышала. Раздирая в крике рот, она одиноко, дико металась по берегу, проклиная тот миг, когда оставила Даньку одного с бричкой.

— Данька-а-а-а, сыно-о-че-е-ек! — рвался в черный рассвет ее обезумевший зов.

Но ответом Лие были лишь бухающие всплески донских волн да стонущие крики чаек...

37

Данька не утонул, он выплыл и уже на берегу потерял сознание. А когда очнулся, над оголившимся прибрежным лесом за Доном уже всходило солнце, и лучи его, зажигая воду, искрящейся стежкой пересекли реку, скользнули по берегу и уперлись в яр. Он лежал на сыром холодном песке у воды, и ноги его до колен не насытно облизывала накатывавшаяся волна. Его слегка поташнивало, а когда он попытался подняться, у него закружилась голова. Но понемногу вялость проходила. Вскоре он поднялся и, пошатываясь, пошел к тому мес-

ту, где еще недавно был мост. Узкой хлюпающей дощатой полоски уже не было. Лишь на левом берегу, несенное могучим течением, виднелось уцелевшее звено настила, да над обуглившимися сваями у его ног, к которым крепился мост, еще вихлялись тонкие чадные струйки дыма.

Берега реки опустели. С левого — успевшие переправиться люди пошли дальше на восток, а с правого — почти все беженцы отхлынули к Ростову, где, по слухам, через Дон был еще один мост на Батайск.

Посидев у обгоревших свай, Данька встал и берегом тоже побрел в сторону Ростова. Но не прошел он и двух сотен шагов, как с яра, строча из автоматов, начали скатываться солдаты в чужой, серовато-мышиного цвета форме.

— Не-е-емцы-ы-ы! — полоснул воздух чей-то неистовый крик и тотчас же оборвался, словно бы захлебнулся.

Данька кинулся бежать к расщелине балки, выходящей к Дону. Он пулей влетел в поросший чертополохом овраг и, пригибаясь до самой земли, побежал вверх, к станице. Так для него началось 21 ноября — день, запомнившийся ему на всю жизнь.

В Аксайске были уже немцы. Они почти непрерывным потоком по всем дорогам двинулись к Ростову, так что никуда и не сунешься. Потеряв всякую надежду перебраться через Дон и где-нибудь там, на левом берегу, отыскать мать и Люську, если только они остались живы, Данька весь день беспечно слонялся по станице. А под вечер немцы схватили его. Проходя мимо школы в центре Аксайска, он, поглядывая на вывалившую из нее шумную толпу солдат, непроизвольно замедлил шаги. Выйдя за ограду, солдаты, обмениваясь репликами, перебрасываясь шутками и посмеиваясь, начали весело рассаживаться по стоявшим тут же огромным крытым грузовикам. Вслед за ними к ограде прошествовал высокий сухопарый генерал в очках и длинном кожаном пальто с меховым воротником. Его сопровождали два немца в штатском. Тоже чему-то улыбаясь, генерал и штатские сели в продолговатую легковую автомашину. Но на беду один из штатских, молодой, с квадратиком темных усов под прямым коротким носом, заметив вдруг Даньку, поманил его рукой в замшевой перчатке.

— Иди, иди сюда! — ощеря тонкогубый, нащипо-

ванный золотом рот, громко позвал он, и когда Данька, опасливо озираясь, несмело приблизился к машине, немец быстро, вкрадчиво спросил: — Кто ты? Армянин? Нет? Возможно, ты этот... айсор, ну... ассириец? Нет? Ну, грузин или грек? Тоже нет?..

Данька понимал, о чем спрашивает немец. Но, опустив низко голову, он молча, упорно глядел на грязные, сбитые носки своих ботинок. Тогда немец вылез из машины и, рукой держась за ее дверку, повторил вопрос. Заинтересовавшись происходящим, из кузова ближнего грузовика соскочили несколько солдат. Полукольцом плотно обступив Даньку и словно бы ожидая для себя что-то развлекательное, они усмешливо поглядывали то на него, то на штатского немца. Неожиданно один солдат, толстый, с широким бабьим задом и посиневшим от холода рыхлым пористым лицом, подошел к Даньке и короткими пухлыми пальцами больно схватил его за подбородок. Поворачивая его голову то в одну сторону, то в другую, солдат стал пристально разглядывать Данькины уши, глаза, жесткие кудрявящиеся волосы. Наконец он разжал пальцы и, хихикая, повернулся к штатскому:

— Так это же еврейчик, герр оберст*.

— Еврей? Очень любопытно! Беккер, как вы об этом догадались? — удивленно спросил толстого солдата немец в штатском и неожиданно вскрикнул фальцетом: — Ну-ка, снимите с него брюки!

— О-о, у меня на них особый нюх, герр оберст! А брюки — один момент! — под смех толпившихся вокруг солдат самодовольно хохотнул жирным голосом толстяк Беккер и с удивительным для его комплекции проворством мигом спустил с Даньки штаны.

— Проклятая скотина! — едва взглянув на низ смуглого Данькиного живота, брезгливо скривил рот штатский немец. — Что за напасть! Всюду натыкаешься на это крапивное племя! Их нет, может быть, лишь на луне! Беккер, в машину его!

— Кто его знает, кто его знает, дорогой мой полковник, — слегка высунувшись из машины, сказал генерал и чуть загадочно, пренебрежительно усмехнулся.

Между тем толстяк Беккер, дулом автомата подталкивая Даньку к грузовику, поторапливал его.

— Ну, ты! Прячь скорее свое богатство, не то отморозишь!

* Оберст — чин полковника в гитлеровском вермахте.

Солдаты втокнули Даньку в кузов, и, пока ехали по станице, они под гогот и улюлюканье крепко избили его. На краю Аксайска немцы втокнули его в продолговатое, на кирпичном фундаменте, деревянное строение, охраняемое часовым. Вероятно, это строение было когда-то складом или кладовой, поскольку, как только Данька оказался за толстой, обитой жестью дверью, его тотчас же обволокло сладковатым, устойчивым душком постного масла, муки, яблок и еще каких-то вкусных запахов. Ничего еще не различая в густых потемках, он уже от входа почувствовал, что в бывшем складе кто-то есть. Раздавшийся откуда-то сбоку хрипловатый голос подтвердил его догадку:

— Двигай сюда, братишка!

Касаясь рукой шершавой дощатой стены, Данька пошел на голос. В темном углу зашевелились какие-то люди, негромко заговорили, кто-то из них приглушенно застонал. Данька тихонько опустился на пол и сквозь ткань штанов сразу же ощутил холод настывшего цемента. Прислонясь спиной к стене, он слегка уже свывшимися глазами стал разглядывать сидевших и лежавших на полу людей. Их было шестеро, моряков-азовцев. Возле Даньки полудежал грудастый крепыш, с вислыми, массивными борцовскими плечами. Укладывая поудобнее ногу, обмотанную закровянившейся тряпкой, моряк спросил:

— Малец, за что они тебя?

Оказалось, что этот моряк и был обладателем хрипловатого голоса.

— Не знаю, — осторожно ощупывая разбитые губы, ответил Данька. — Наверное, за то, что я еврей.

— Понятно...

— А вы настоящие матросы, военные? — после недолгого молчания спросил Данька.

— Военные, — нехотя буркнул моряк и, тоже откинувшись к стене, рукавом порванного бушлата вытер испарину со лба. — Военные, только не настоящие. Настоящие флотские не сидят по сараям, как курицы, отобранные на лапшу. Они бьют немцев! Так-то, братишка. Так, говоришь, залетел? Ну, не робей! Авось еще обойдется. Жизнь, кореш, это такая штука, что в ней случается семь пятниц на неделе.

— Чудак ты, Куповых! — приподнялся на локте лежавший с другого края худощавый моряк с забинтованной, будто кокон, головой. — Конечно, обойдется.

Только как? Вот вопрос! А ответ на него один — ногами вперед, прямым курсом на цугундер!

— Ладно, нишкни! — Куповых небрежно отмахнулся от раздраженно брюзжащего товарища. — Не слушай его, братишка. Он у нас и в мирное время все фыркал да недовольно крутил носом: и шамовка ему была невкусная, и клеш у брюк узкий, и девчата чересчур курносые... Такой уж он несуразной породы человек. Лучше расскажи, кто ты да как тебя угораздило к немцам попасть.

Выслушав Данькин рассказ, Куповых, все стараясь поудобнее устроить раненую ногу, невесело посочувствовал:

— Да, братишка, не повезло твоей семье. Разметало вас во все стороны, как в ветер зонтик одуванчика. Да что поделаешь — война. Она еще никому не приносила счастья. Из-за нее, проклятой, по земле теперь много горя бродит. Эх!..

Куповых скрипнул зубами, со злостью стукнул кулаком об пол и удрученно опустил большую, стриженную под ежик голову.

А спустя какой-то час, когда по стылой земле поползли сизые сумерки раннего осеннего вечера, их повели на расстрел. Приволакивая раненую ногу, одной рукой слегка налегая на худое плечо Даньки, Куповых, сжимая губами ленточки бескозырки, отчего он шепелявил, подбадривал его:

— Ничего, ничего... Главное, братишка, не робеть!

Было непонятно, на что надеялся этот обреченный, однако неунывающий моряк. Но рядом с ним Даньке было не так жутко идти.

Западнее Аксайска, в полукилометре от его окраинных домов, пролег к Дону глубокий овраг. Весной, скатываясь в яр бурными ручьями, талая вода размывает его обрывистые откосы, метр за метром крадет у степи плодородный чернозем. А к осени яр зарастает, шебуршит под стенающим ветром пожухлым бурьяном, топчется оголенными побегами ивняка и терна, копится в яминах и промоинах сухой колючий курай*.

К этой угрюмой балке немцы и привели пленных. У самого обрыва невысокий, болезненного вида офицер, потирая рукой в черной кожаной перчатке стынувшее на ветру остроносое лицо, командовал тонким, озябшим голосом:

* Курай — перекасти-поле.

— Стойте! Все, пришли.

До самой смерти не забыть Даньке те короткие кошмарные мгновения, когда черный глазок автомата, подрагивавшего в озябших руках солдата, тщательно целился ему в грудь. Как загипнотизированный, глядел он на этот как бы приноживающийся к нему пяточок. Ему даже казалось, что сердце его бьется в такт с подпрыгивающей прицельной мушкой.

— Внимание! — пискляво скомандовал офицер и тут же суетливо опустил поднятую руку. — Огонь!

Куповых как-то непостижимо быстро качнулся в сторону, локоть его правой руки сильно толкнул Данькино плечо. Данька пошатнулся и стал заваливаться на спину. И все же одна из пуль зацепила его. Она больно ударила его в предплечье, обожгла и словно бы швырнула вниз. Ломая бурьян и хрусткий сушняк, ударяясь о земляные выступы, Данька стремительно полетел в пропасть. Ударившись о дно яра, он потерял сознание...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Жарким июльским полднем к перрону небольшой степной станции Терень-Узьяк, что в семидесяти километрах севернее областного города Кзыл-Орда, подошел сборный товаро-пассажирский поезд. С подножки предпоследнего, судя по частично сохранившимся надписям о наличии спальных и сидячих мест, плацкартного вагона на пышущую зноем щебенчатую платформу соскочил молодой, подтянутый и, по всему видно, очень расторопный и жизнерадостный капитан. Оправив под широким, туго затянутым комсоставским ремнем линияющую, но чистую гимнастерку, он помог сойти молодой смуглой женщине, державшей на руках спящего ребенка.

— Ну, Ганна, вот вы и приехали, — капитан принял поданный кем-то из теснившихся в тамбуре пассажиров фанерный сундучок женщины и поставил его у ее ног.

— Если бы так, — пальцами свободной руки вытирая бисеринки пота со лба и подбородка, ответила Ганна своим певучим мягким южным говорком. — А то ведь мне предстоит еще в это такое пекло добираться с ребенком до дальнего аула. Ума не приложу, как мы туда попадем.

— Ничего. Вы проделали уже гораздо больший путь, и тоже в жару, так что ничего страшного. А насчет того, каким образом туда добраться, спросите кого-нибудь — подвезут! Не может быть, чтоб не помогли, тем более, что вы с мальцом, — оглядывая беглым, каким-то беспокойно-веселым взглядом перрон и пристанционные постройки, проговорил капитан. — Однако, Ганна, надо торопиться. Идемте! Пока паровоз утоляет жажду, я успею проводить вас в здание вокзала.

— Не надо утруждаться, Алексей Иванович, — ти-

хо вымолвила Ганна. — За эту ужасную поездку вы и так сделали для меня очень много. Не знаю, как вас и благодарить!

— Пустяки! Эх, Ганна, милый вы мой человек! Только одно ваше слово, и я... Я сам не представляю, что для вас сделаю! Поверьте, я все... — горячо, хотя и с некоторым налетом выпренности, произнес капитан и поднял на Ганну слегка прищуренные, ждущие зеленовато-серые глаза.

— Опять вы за свое! Не надо, Алексей Иванович. У меня муж... А вы свое дорожное увлечение скоро забудете. Вот попадется на вашем пути красивая девушка, и забудете... В общем, спасибо вам большое! — перешла почему-то на полупшепот Ганна, слегка коснувшись руки капитана, быстро нагнулась, взяла сундучок. — И не провожайте меня, пожалуйста. Я уж как-нибудь сама.

В это время тонко, призывно засвистел паровоз, и почти тотчас же скрежещуще застучали тарелки вагонных буферов. Немногие пассажиры, отважившиеся выйти на жаркий перрон, поспешили назад, к поезду. Оглянувшись на медленно тронувшийся состав, капитан, все еще питающий какие-то иллюзии, попросил:

— Ганна, ну скажите хоть ваш новый адрес.

— Да на что он вам? — уже явно досадуя на назойливость капитана, Ганна недовольно повела плечом. — Я же вам сказала — не надо!..

— Не хотите? Значит, не судьба. А жаль! Ну, что же, тогда я побегу, — огорченный отказом капитан, быстро взглядывая на все набирающий ход поезд, тем не менее топтался на месте. Лицо его, после госпиталя слегка уже посвежевшее, но все еще худое, было сейчас как у обиженного ребенка.

В тамбуре проплывшего мимо плацкартного вагона толпились любопытствующие пассажиры. Кто-то из них громко подначил:

— Ну что, капитан, улестил? Может, сбросить чемодан?

Ганна густо покраснела.

— Да бегите же! Вот человек! — в сердцах воскликнула она.

И тогда капитан метнулся к поезду. Клонясь вперед всем корпусом, он уже через несколько секунд поравнялся с последним вагоном, рванулся, и протянутые руки двух красноармейцев, стоявших на подножке, оторвали его от платформы и втащили в тамбур.

Ганна облегченно вздохнула.

— Счастливо вам доехать, Алексей Иванович! — спохватившись, что напоследок не сказала ласковое слово доброму человеку, крикнула она.

Ухватясь за поручни и высунувшись вперед, капитан тоже что-то кричал ей в ответ. Но слов его было уже не разобрать, они тонули в плотном, чугунном грохоте вагонных колес, и Ганна, как-то сожалеюще улыбаясь, только махала вслед рукой. Когда поезд отъехал уже настолько, что последний вагон его, казалось, бежит дальше не по рельсам, а плывет по водянистому мареvu, затопившему железнодорожное полотно, Ганна не спеша пошла к вокзалу.

После людных, оживленных промышленных городов и больших рабочих поселков Южного Урала и Северного Казахстана, мимо которых Ганна недавно проехала, разомлевший от зноя, большей частью глинобитный Терень-Узяк показался ей забытым богом и людьми зачехленным местом. Здание вокзала, беленая, кирпичной кладки водокачка да окрашенные темно-красной охрой десятка два больших и малых деревянных стандартных строений — вот и вся станция. Правда, по левую сторону вдоль железнодорожной насыпи стояли еще в три ряда плоскокрышие глинобитные домики, окруженные высокими саманными заборами. А сразу же за ними простиралась безмерная, с выгоревшей никлой полыньей бурая степь, и ничто не скрашивало ее унылого однообразия...

Приземистый, снаружи вроде бы небольшой вокзал внутри неожиданно оказался довольно-таки вместительным. В нем было сравнительно просторно, от выложенного красно-белыми кафельными плитками пола тянуло прохладой, и Ганна, отыскав незанятый краешек скамьи, облегченно присела. Но она недолго наслаждалась покоем. Ребенок проснулся, заерзал у нее на коленях и вдруг басовито заплакал.

— Тише, Ленечка, перестань, — прижимая к груди сынишку и смущенно поглядывая на дремлющих пассажиров, ласково заворковала Ганна. — Не плачь, мое солнышко! Скоро уже доберемся до бабушки, она даст тебе молочка. Хочешь молочка? Ну, вот и попьешь. Там и девочка есть, Люськой зовут. Она будет с тобой играть. А ты будешь играть с Люськой? Вот и хорошо! Вот Ленечка уже и не плачет, он опять хороший

мальчик! Он опять будет спать. Будешь спать? Ну спи, спи, моя ласточка!

Ганна баюкала мальчика, а сама все не переставала размышлять о том, как ей все-таки добраться до свекрови. «Придется людей порасспросить, — подумала она. — Может, кто-нибудь подскажет что-то стоящее».

Между тем по станции, с небольшим интервалом, проходили поезда. Они налетали шумно, с грохотом и ветром и, сливаясь в сплошную зеленовато-красную полосу, пронеслись мимо. Вот, сотрясая все здание, по путям проследовал очередной тяжело нагруженный состав. А через несколько минут, вытирая платком загорелый морщинистый лоб и покрытую испариной розовую лысину, с перрона в зал ожидания вошел невысокий, слегка припадающий на правую ногу пожилой железнодорожник с жезлом и поношенной форменной красной фуражкой под мышкой. Ганна, решив: «Вот кто должен знать», поднялась ему навстречу.

— Скажите, пожалуйста! — остановила она его и, от неловкости путаясь в словах, спросила: — Где находится... Вернее, как добраться до Айна-Куля?

— Где находится Айна-Куль и как туда добраться? — нахлобучив фуражку и громко, привлекая внимание сидящих вокруг пассажиров, переспросил дежурный. — Отчего ж, знаю! Сорок годков тут тружусь, как не знать. Мда-а, дочка. Далековато до того аула будет, целых тридцать верст! Так-то! А ты чего же забираешься в такую глухомань? Гляди-ка, теперь народ в другую сторону едет. Ты поди тоже беженка? То-то я поговору твоему чую. Так чего же ты наоборот поступаешь?

— Мать туда уехала, — смущенно оглядываясь на пассажиров, так как железнодорожник по-прежнему говорил очень громко, ответила она. — Почти три года искала.

— Тогда понятно. По нынешним временам отыскать мать — это тебе, дочка, здорово повезло. К матери отправившись и на край света. Мда-а... Что же делать-то с тобой? Теперь редко кто в Айна-Куль ездит. Не с руки, да и далековато. Что же нам придумать? — Дежурный помолчал, подумал, потом все так же громко сказал: — Впрочем, попробую тебе помочь. Из этого аула через день приезжает за почтой один старик. Это мой давнишний приятель. Если Ербол тут, он обязательно тебя прихватит. Ты жди. Я сейчас все разужнаю.

Выставив впереди себя жезл, лавируя между пассажирами, железнодорожник скорым шагом прохромал в свой служебный закуток. Спустя несколько минут, показавшихся Ганне очень уж долгими, он, направляясь, видимо, встречать очередной поезд, на ходу бросил ей:

— Везучая ты, дочка! Ербол еще на почте. Обещался заехать.

— Ой, спасибочки вам большое, дяденька!

— Ладно, ладно, — торопясь к выходу, отмахнулся дежурный.

А вскоре по станции проследовал напрямик товарняк. Он шел с такой большой скоростью, что тонко вызванивали стекла высоких окон вокзала. Сквозь шум и грохот колес в зал залетали обрывки красноармейской песни. «Все на фронт да на фронт! Господи, и когда уже все это кончится», — пригорюнилась Ганна, не замечая высокого старика казаха, который, открыв широкую входную дверь, изучающе разглядывал сидевших в зале людей. Она всполошилась лишь тогда, когда старик, пройдя на середину зала, громко спросил на ладном русском языке:

— Товарищи, кому из вас надо ехать в Айна-Куль?

— Ой, лышенько! — подхватила сундучок Ганна. — Да мне ж это!.. Мне надо.

— Ой-бай, — подойдя к ней, старик, чуть сдвинув на затылок беловато-серую войлочную шляпу с остро загнутыми разрезными полями, укоризненно поцокал языком: — Я уже несколько раз спрашивал тебя. Нехорошо так долго молчать! Больше ничего нет? Это весь твой шурум-бурум, все вещи? Ну, давай, помогу.

Жилистой, коричневой от загара рукой он взял у Ганны сундучок и, не оглядываясь, легкой, отнюдь не старческой походкой пошел к выходу. На небольшой утоптанной площадке с тыльной стороны вокзала Ганна увидела повозку. Это была короткая и широкая двуколка с непривычно высокими колесами. Впряженный в двуколку темно-серый ослик с мохнатой белошерстой мордой казался таким маленьким, что Ганна поначалу даже растерялась, не зная, то ли садиться в повозку, то ли нет. Она ждала, как поступит старик. А он поставил рядом с кожаным почтовым мешком ее сундучок и молча помог Ганне забраться на двуколку. Затем отвязал длинный волосяной чумбур от большого ржавого кольца во врытом в землю столбике и сам тоже преспокойно уселся в повозку. Умостившись, свесив свои

длинные, слегка искривленные ноги, обутые в легкие кожаные сапоги без каблуков, старик дернул за чумбур, очевидно, служивший ему вожжами.

— Ык, ык, — причмокнул он.

Но ослик стоял себе так невозмутимо, словно бы и не помышлял тронуться с места. Оглянувшись на седоков, он лишь мелко-мелко перебрал тонкими передними ногами. И тогда старик концом чумбура хлестнул его вдоль черной полосы на спине. Задрав большую голову, ослик вдруг зычно протрубил и только после этого двинулся с площадки. Поскрипывая рассохшимися колесами, двуколка сразу же за вокзалом по дощатому мостику перевалила через железнодорожные пути и покатила одной из песчаных пустынных улиц пристанционного поселка.

Убаюкивая сынишку, вновь разбуженного криком осла, Ганна с тоскливым равнодушием поглядывала на стоявшие по обе стороны улицы низкие глиняные мазанки и окружавшие их такие же серые глухие заборы, на очень редкие и почти не отбрасывающие тень деревца.

Степь начиналась сразу же за поселком. У нее не было — во всяком случае, в эту пору лета — ничего схожего с той степью, что знала и любила Ганна. Вокруг ее Христиновки, да и по всему югу Украины, который она еще девчонкой, помогая перегонять скот, исходила когда-то вдоль и поперек, а последний раз — с Ильей, — там тоже пролегли безбрежные просторы. Но то раздолье было ковыльное, ласковое даже в макушку лета, с трелями неугомонных жаворонков, боем перепелов, пересвистом сусликов. Здесь же трава была скудная, местами она дотла выгорела под палящим солнцем, и земля, обнаженная, потрескавшаяся, напоминала огромный вытертый бурый ковер. И лишь редкие заросли тамариска да почти безлистного черного саксаула и искрящиеся на солнце солончаки временами как-то разнообразили весьма тусклый пейзаж.

Сбоку дороги, в нескольких шагах от заклепшей от зноя пыльной колеи, по земле вдруг поплыла большая тень. Подняв глаза, Ганна увидела огромного степного коршуна, парившего над ними на небольшой высоте. «Вот кому теперь, наверное, хорошо, — облизывая пересохшие губы, с легкой завистью подумала Ганна. — Летает себе в прохладной выси, и ни забот ему, ни горя».

Старик возница, с самой станции не проронивший еще ни слова, полуобернулся к Ганне, вероятно, собравшись что-то сказать, но, проследив за ее взглядом, прикованным к царственно парящей птице, вдруг заулыбался. Он разгадал в молодой женщине душу, родственную его степняцкой душе. Далеко сплюнув сквозь крепкие желтые зубы, сощурился и без того черные щелочки-глаза, он спросил:

— Скажи, женщина, Титыч кто тебе будет? Знакомый, да?

— Какой Титыч? — внезапно выведенная из своих раздумий, не сразу сообразила Ганна.

— Ну, дежурный по станции.

— Не-е! — мотнула она головой. — Я его впервые увидела. Но он, должно быть, хороший человек. Отзвучивший.

— Да, Титыч — хороший человек! Я его давно знаю.

Бормоча что-то еще, шевеля при этом тонкими сухими губами, старик, развязав кожаный хурджум, где лежала почта, и пошарив рукой, достал из него войлочную шляпу, очень похожую на ту, что была у него на голове, только новую, и протянул ее Ганне:

— На, возьми эту шапку. Надень своему сынишке. А то солнце очень жарит. Напечет баранчуку* голову, еще заболит.

Завязав мешок, он отвернулся и снова надолго умолк. Примерно через час, словно бы очнувшись от дремы, старик повернулся лицом к Ганне:

— Скажи, пожалуйста, зачем в наш аул едешь?

— Свекровь моя у вас живет. Она из эвакуированных.

— Эвакуированная, свекровь? — переспросил он. — Что такое свекровь? Не понимаю.

— Свекровь это... ну, в общем, мать.

— А-а, апа, значит, — переиначил он по-своему. — Кто такая?

— Фамилия ее Дудинская. Зовут — Лией. Может, знаете?

— Я почтальон и знаю всех эвакуированных. Твою мать тоже знаю. Лейла хороший человек, — улыбнулся старик, снова на свой лад переделав имя Лии. — Она в колхозе работает. Много работает. Хороший человек!

— А как идут дела в вашем ауле? — из деликат-

* Баранчук — ребенок (каз.).

Далее все сноски следуют на казахском языке. (Прим. автора.)

ности поддерживая разговор, в свою очередь спросила Ганна.

— А что дела? Джаксы* идут дела, помаленьку. Все живем, работаем, фронту помогаем. Ты тоже будешь работать. В поле будешь кетменем работать или на ферме. Все равно. Ты молодая, здоровая женщина, тебе все равно где работать.

— А что это такое — кетмень?

— Кетмень? — улыбнулся старик, удивляясь, казалось бы, полнейшему невежеству своей собеседницы. Но, сообразив, что эта русская женщина вовсе не обязана знать про их знаменитый кетмень и, по всей вероятности, никогда в жизни не видела его, он, погасив улыбку, достал из кармана легкого бешмета** кожаную табакерку, заправил под верхнюю губу добрую щепоть мелкого тертого зеленого табака, затем, тщательно подбирая слова, стал чуть шепеляво пояснять: — Кетмень — это будет такая большая лопата. Нет, не лопата, а как это... Тьфу, забыл, как это по-русски называется... А-а, это называется тяпка. Кетмень похож на тяпку, только большую. Казахи все работы в поле делают кетменем: чиним арыки***, вскапываем землю, обрабатываем посевы. Все делаем. Понимаешь? А твой мужик где? — неожиданно сменил он разговор. — На фронте, да?

— Там, — вздохнула Ганна.

— Ничего, — выплюнув большой темный сгусток табака, утешил ее старик. — Теперь все мужики на фронте. Теперь у всех людей одна беда. Что у казахов, что у русских, узбеков или евреев. Два моих сына тоже на фронте. С осени сорок первого года. Про генерала Панфилова слышала? Нет? Ой-бай, нехорошо! Генерал Панфилов Москву защищал, мои сыновья с ним на фронт ушли. А твой муж письма пишет?

— Нет.

— Не падай духом, однако. Придет время и, как у нас говорят: «У белого верблюда разверзнется живот»****. Ждать надо! Вот мои сыновья давно не пишут, а я ничего... Третий год жду писем, — вдруг дрогнувшим голосом проговорил старик и поспешно отвернулся.

«Ох, лышенько! Так вот почему он через день та-

* Джаксы — хорошо.

** Бешмет — верхняя одежда, род кафтана.

*** Арык — оросительный канал.

**** Казахское выражение о грядущей радости.

щится в дорогу по такому пеклу, — участливо подумала Ганна. — А ведь в его годы это, должно быть, нелегко. Ох, горе, горе! И когда она уже сгинет, эта проклятая война!»

Успокоившись, старик заправил под губу очередную порцию табака и снова надолго замолчал. Он даже перестал понукать и подгонять медленно тащившегося осла. Молчала и Ганна. Мысленно она то и дело уносила далеко-далеко и от этой степи, изнывающей от зноя, и от еле-еле катящейся двуколки. В думах она была возле Ильи. После того, как они расстались, она еще долго не могла привыкнуть к тому, что опять осталась одна и что рядом нет ни одной близкой души, а есть лишь пустота. Пустоту эту она ощущала особенно по ночам. Первое время Ганна испытывала такое чувство, какое бывает у человека, проснувшегося после короткого радужного сна и вдруг, вместо ожидаемой радости, соприкоснувшегося с мрачной действительностью. Доехав с эвакуированной МТС до глухого уральского полустанка, она там же и осталась работать. Не могла она бросить людей, оказавших ей поддержку и доверие. Но, забравшись далеко на восток и таким образом увеличив расстояние между собой и Ильей, она все равно постоянно, будь то наяву или во сне, была с ним, жила теми днями, что они провели вместе. Рождение сына, заботы об этом маленьком создании, этом дорогим человечке, все же не развеяли ее тоски по Илье.

...Молчала Ганна, погруженная в тяжкие раздумья. Тихо сидел и старик. И словно бы проникшись участием к этим людям, придавленным каждый своим горем, безмолвствовала и неоглядная, покрывшаяся сиреневой дымкой степь...

Ближе к вечеру очертания степи начали меняться. Гуще и выше становились заросли саксаула вдоль дороги, а между ними стали все чаще попадаться такыры*, поросшие кустами чия и тальника. Вдали, у розовой кромки по-прежнему безоблачного предзакатного небосклона, постепенно вырисовался и уже не исчезал легкий, будто сотканный из свежих луговых трав лиловый гребень каких-то зарослей, напоминавших Ганне

* Такыр — ровный, глинистый участок степи, полупустыни.

очертания лесополос родной степи. Понемногу спала жара. Чище и влажнее стал воздух.

— Там наша река течет, Сырдарья называется, — как бы угадывая мысли Ганны, наконец-то заговорил старик, сухой коричневой рукой указывая в сторону пышно расцветившегося заката. — Там много разных деревьев, камыш. Птица всякая живет, чушка есть, кабан. А скоро и в нашем ауле будем, Айна-Куле.

Но это «скоро» длилось еще больше часа. Уже синели густые сумерки, все больше сливавшиеся с длинными, перехлестнувшими дорогу тенями зарослей, и плотным стал протяжный стрекот цикад, когда их двуколка, прогрохотав по расщепленному, разъезжающемуся дощатому настилу моста, перекинутому через широкий мутный арык, наконец-то вкатилась в кривую узенькую улочку аула. Метров через триста, у другого порядка невысоких глинобитных мазанок и войлочных юрт, толпившихся у крутого изгиба канала, старик придержал ослика и обернулся к Ганне.

— Все, приехали, — сухо прокашлявшись, сказал он. — Вот в этой кибитке живет Лейла, твоя мать.

Ганна слезла с двуколки, подхватила поданный стариком сундучок и, поблагодарив его, пошла к указанной им мазанке. Вокруг этого стоявшего с краю домика было непривычно голо: ни хозяйственных построек, ни забора, ни даже махонького деревца. Во дворе лишь сложенная неумелыми руками летняя плита, и все. Внутри мазанки, состоявшей всего из одной, затопленной сумерками большой комнаты, не было никого.

Опустив у порога сундучок, Ганна принялась разглядывать комнату, в которой, она полагала, ей теперь предстояло жить, небогатое убранство в ней. У небольшого глубокого окошка, глядящего то ли на заднюю часть двора, то ли прямо в степь, стоял грубый самодельный стол. По бокам его, тоже самодельные, — длинная скамья и две табуретки. У тыльной стены комнаты, друг другу в торец, примостились два широких топчана, из-под которых виднелись обшарпанные чемоданы. На чистом, утрамбованном земляном полу — небольшая дорожка из мешковины. А на беленной мелом плите — алюминиевый чайник без крышки, два чугуна и несколько составленных горкой, погнутых, тоже алюминиевых мисок. «Да-а, небогато живет моя свекровушка», — вздохнула Ганна.

Она усадила на краешек стола сынишку и, придержав

живая его, сама опустилась на табурет. Дав ребенку кусочек сахара, еще в поезде подаренного попутчиком-капитаном, Ганна, поджидая хозяев, принялась снова, теперь уже обстоятельным взглядом, рассматривать комнату.

Вскоре с грохотом откинулась дверь, и с улицы шумно вбежали две девчушки лет одиннадцати-двенадцати. Ворвавшись в дом, они все еще полностью находились во власти какой-то игры или возни, что было видно по их смеющимся, разбурлявшимся лицам. Но, увидев у стола незнакомую женщину и ребенка, девчушки мгновенно как-то смешались, притихли и смущенно попятились назад, к порогу.

По рассказам Ильи, Ганна знала, что у него есть младшая сестренка, помнила даже, что зовут ее Люськой, но теперь, поднявшись с табурета и поглядывая то на одну девочку, то на другую, она терялась в догадках, кто же из них эта самая Люська. Обе они были примерно одного роста, обе румянощек и большеглазые, и даже русые волосы у обеих были одинаково заплетены на казахский манер — во множество тонких косичек.

— Дивчатки, — прервав затянувшееся молчание, невольно засмеялась Ганна. — Знаю, что одна из вас Люська, а кто — не могу догадаться. Вы уж сами назовите себя. Ну, так кто из вас Люська?

— Я, — чуть слышно отозвалась девочка, показавшаяся теперь все-таки чуть-чуть выше своей подружки. — А вы кто? Мамина знакомая?

— Нет, — сказала Ганна, — маму твою я не знаю. Но мы родня. Я жена твоего брата Ильи. А это наш сын Ленька. Значит, я тебе — невестка, а ты мне — золовка. А Ленечка тебе племянник. Поняла, какие мы родственники? Хорошо будет, если мы подружмся. Тогда я бы стала тебе вроде старшей сестры. Ну, иди поближе. Так мы с тобой подружмся?

Пожав плечами, Люська бочком несмело подошла к Ганне, постояла, никак не отреагировав на ее ласковое объятие. Видно, трудно ей было вот так, сразу, почувствовать себя близкой этой женщине. Совсем другое дело — мальчонка. Толстенький, держа у рта пухленький, с грязными потеками кулачок с зажатым куском сахара и поглядывая вокруг любопытными пуговками глаз, он был ну просто прелесть! Его-то Люська,

уже без всякого смущения, схватила на руки и, лицом тыкаясь ему то в животик, то в шею, затормошила:

— Ой, какой он маленький и смешной!

2

Лия Дудинская с группой женщин — эвакуированных и местных — уже в полных сумерках возвращалась домой. Весь долгий знойный день женщины работали на бахче, ворочая полупудовые арбузы и дыни. Они вносили их под легкие камышовые навесы, клали на продолговатые столы, разрезали на дольки и, сняв кожуру, развешивали на тонкие жерди для сушки. Подвяленные арбузные и дынные дольки затем упаковывали в деревянные ящики. Это прессованное и засахарившееся лакомство, которое по-казахски называлось каунчук и каункорт, отвозилось на станцию Терень-Узак, откуда оно переправлялось дальше — в госпитали для раненых и в детские дома.

Работа на бахче тяжелой, за день женщины изрядно намаялись и теперь, наслаждаясь покойной вечерней прохладой, брели в аул неторопливо, разморенно. Усталость, однако, не мешала неугомонной Ксане Доценко веселить своих подруг шутками и анекдотами. Эта высокая красивая брюнетка была женой командиратанкиста, беженкой из Могилев-Подольского. В эвакуации ей доставалось не меньше других, но, энергичная и жизнерадостная, она никогда не поддавалась унынию.

Лия Дудинская и Ева Светлицкая, рослая шестнадцатилетняя дочь бывшего председателя трехкутновского колхоза Моти Светлицкого, поотстав, шли позади всех. Держа в руках разношенные босоножки, за день порядком набившие ей ноги, Лия, расспрашивая девушку, по-матерински выговаривала ей:

— Живот все еще болит? Ох, горе ты мое! Ева, ну сколько раз я тебя предупреждала, просила, а? Так нет, ты все делаешь по-своему! Таскаешь эти арбузы, как заведенная! Они же тяжелые, будто каменюки. Мало того, так еще норовишь выбрать какой побольше. Все хочешь потягаться с Ксаной Доценко или Дорой Левиной? Так они же здоровые тетки. А ты кто? Девчонка зеленая. Ох, Ева, смотри! Надорвешься, делаешь себе беды, потом будешь всю жизнь маяться.

В общем, я вижу, что одними разговорами тебя не урезонишь. Так вот, с завтрашнего дня будешь работать только на резке и развешивании. Я уж сама посмотрю за тобой.

— Хорошо, тетя Лия, — смиренно соглашалась девушка.

Несколько минут шли молча, каждая думая о своем. Потом Лия снова заговорила:

— Я вот что хочу спросить. Конечно, если тебе неудобно, можешь мне ничего не отвечать. Но я думаю, что для тебя же будет лучше, если ты всем поделишься со мной.

— Чем именно, тетя Лия? — насторожилась Ева.

— Скажи мне, Ева, только честно, какие такие дела у тебя с Мариком Ковалем?

— Никакие, тетя Лия, — тотчас же отозвалась девушка.

— Точно? Ну, дай бог, чтобы так оно и было на самом деле, — промолвила Лия.

В голосе Дудинской, однако, скользнуло легкое сомнение, и Ева, радуясь, что темнота скрывает ее полыхнувшие румянцем щеки, уже спокойно завершила:

— Вы не думайте плохо, тетя Лия. Между нами действительно ничего такого нет! Я ему даже не разрешаю поцеловать себя, хоть он и лезет. Просто мы встречаемся, и все.

— Ну, допустим, о том, что вы встречаетесь, я уже сама давно догадалась, поэтому и завела с тобой разговор. Ты девочка здоровая, симпатичная, и парни не дураки, чтобы это не видеть. Хотя бы и твой Марик. Но я не об этом. Я о том, что, по-моему, тебе еще рановато гулять с парнями. Вот ты сама сказала, что Марик пристаёт с поцелуями. Это-то меня и беспокоит. С поцелуев все и начинается. Скажи, а он хоть любит тебя, или у него это так себе, баловство?

— Не знаю, — помолчав, нерешительно ответила Ева. — Наверное, любит. Он так говорит.

— Вот видишь, ты даже сама в этом не уверена. Ох, молодежь, молодежь! — вздохнула Лия. — Все куда-то торопится! А куда? Что ты, засиделась в девках? Поверь мне, я ничего не имею против Марика. Парень он вроде бы неплохой, работающий. Но все равно тебе еще рано гулять. Потом, не забывай главное: по возрасту он, как мой Данька, а это значит, что его могут в любой день призвать в армию, а сейчас война...

— Тетя Лия, я все прекрасно понимаю.

— Одного понятия иногда бывает мало, дочка. Бывает, что надо уметь вовремя сдержаться. В общем, ты уже не маленькая, сама должна соображать, что к чему, — жестче, чем сама того хотела, сказала Лия и умолкла, задумалась.

А думать ей было о чем. Забот и горя Лие хватало. Минуло уже целых три года, как она проводила на войну старшего сына и мужа, но по сей день не знала, где они и что с ними. Ушли из дому и как сгинули, будто их и на свете никогда не было. Хорошо еще, что с несчастьем иногда и счастье блуждает рядом. Так, к великой радости ее, с помощью сестры Цили отыскался Данька. И вдруг новое беспокойство — раннее увлечение Евы, ее ночные свидания. Теперь, после состоявшегося между ними откровенного разговора, может быть, она одумается, не допустит глупости. Ева послушная, а главное — умная. В этом Лия уже успела убедиться. Тем не менее, считала она, в этом возрасте за девушкой нужен глаз да глаз. Ведь там, на берегу Дона, Лия дала слово умиравшей Елене Светлицкой сбересть ее детей. И она это сделает. Потом, если бог даст, с войны вернется Мотя Светлицкий, уже станет легче. Тогда она передаст ему его детей, и пусть он уж сам о них заботится...

Женщины подошли к аулу. В домах уже кое-где слабо светились окна. В мазанке Дудинских тоже желтел огонек горящего светильника, и Лия немало удивилась, когда, подходя к растворенной двери, услышала мягкий грудной голос незнакомой женщины. Она приостановилась и недоуменно оглянулась на подошедшую Еву. В ответ та тоже непонимающе приподняла плечи. «Кто эта женщина? Откуда она взялась? И что за дело привело ее в мой дом? Может, она принесла какую-нибудь весточку с фронта?» — подумала Лия, прежде чем шагнула за порог.

Ганна медленно поднялась. Непроизвольно пригладив волосы, она, чуть склонив голову, шагнула навстречу Лие.

— Добрый вечер! — запинаясь, произнесла она и облизнула почему-то вмиг пересохшие губы.

— Здравствуйте! Это что за гости к нам пожаловали и с чем? — с простодушным любопытством разглядывая то Ганну, то Ленку, спросила Лия.

— Я не знаю, поймете ли вы меня... Как вам это

получше объяснить? — Ганна застревала в собственных словах, путалась в них, как при ходьбе в густой высокой траве. К тому же она улыбалась такой виновато-растерянной улыбкой, что Лие, теперь уже не спускавшей глаз со смуглого красивого лица молодой женщины, одновременно стало и как-то неловко за нее, и жаль ее. — Видите ли... — наконец-то решилась начать Ганна, — я жена... вашего Ильи... Правда, мы с ним не зарегистрированные. Но так уж получилось... А это — наш с ним сын...

— Что... — взявшись за край стола, чтобы устоять на ногах, еле вымолвила Лия. — Илюша жив? А этот мальчик его сын?..

Ей вдруг показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди — так бурно оно заколотилось. Подбежав к своей нежданной невестке, Лия припала к ней, заплакала в голос. Не удержалась от слез и Ганна.

На время забытый всеми Ленька, увидев, что мать и чужая тетя плачут, испугался, потянулся к Ганне и тоже заплакал. И тут Лия опомнилась. Перехватив ребенка, она, неистово целуя его голову, зареванное лицо, шею, липкие от сахара ручки, прижимая к себе, сквозь слезы и смех, радостно зачастила, произнося еще непривычные для себя слова:

— Не плачь, мой внучек! Ах я никудышная бабка! Ах, старая курица! Раскудахталась, разревелась, а про внученька своего забыла. Напугала его, рыбоньку мою. Ну, не плачь, моя крохотулечка, не плачь, мужичок мой! Возьми вот и своей рученькой побей бабку! Побей... Вот так, так, — и Лия, безмерно счастливая, взяла в свою шершавую руку пухленькую ручку ребенка и стала ею слегка шлепать себя по лицу.

Когда возбуждение немного улеглось и на руках у Лии, присевшей на край топчана, успокоился ребенок, она спросила у Ганны:

— Что же ты про Илюшу не рассказываешь? Как он, где? Что пишет?

У Ганны опять задрожали губы:

— Ничего о нем не знаю...

Лия горестно уставилась на колеблющийся огонек светильника и, помолчав, сказала:

— Что ж, будем ждать... будем ждать... Ну, а как ты нас нашла?

— О-о, это целая история. Когда мы с Илюшей прощались, он наказал мне списаться с вашей сестрой, что

живет где-то в Биробиджане, и через нее узнать про вас. В сорок первом году попала я на полустанок Юрюзань, недалеко от Златоуста, и стала работать в МТС, с которой эвакуировалась. И сразу же написала в горсовет Биробиджана, чтоб дали мне адрес вашей сестры. Мне долго не отвечали, а потом сообщили, что такая в Биробиджане и пригороде не проживает. Илья-то и сам не помнил точного названия того места, где она живет...

— Ну, ну, — поторапливала Лия, а сама с горечью думала: «А вот Наум-то знал ведь адрес Ильи. Значит, все — погиб мой Наум...»

— Добрые люди и надумили меня написать в Бугуруслан, — продолжала Ганна. — В этом городе, оказывается, находится центральное бюро розыска. Почти через полгода пришел ответ, что, по сведениям Сталинградского эвакупункта, вы в конце декабря сорок первого года должны были эвакуироваться в Казахстан. И вот по адресу, что мне дали, я и поехала сюда.

— Да, в Сталинграде мы отметились, а в Энгельсе нас посадили в эшелон, который направлялся в Кзыл-Ординскую область. Но все-таки как ты решилась? Мы ведь могли сойти с поезда и раньше или поехать дальше, в Ташкент. Тогда все хотели в Ташкент, к теплу. Ну да слава богу, что все так получилось! Теперь мы уж вместе.

3

Спозаранку — по стерне ползли еще только первые солнечные лучи — на поле появился новый бригадир тракторной бригады Степан Коновалов. Он всего лишь с месяц как сменил на этой работе ушедшего на фронт Ивана Дугина.

Коновалов приехал на бедарке, и не один. По левую руку его примостился паренек лет пятнадцати, в форме фэзэушника. Паренек сидел как-то съездившись, острым локтем опираясь на поржавевший железный подлокотник бедарки. Угловатый и темнолицый, он в своей старенькой черной робе чем-то напоминал нахохлившегося, обиженного грачонка.

— Эгей-ей, подождите! — видя, что трактор с комбайном, не сбавляя скорость, заворачивают на очередной круг, еще с летника зычно крикнул Коновалов и

погнал коня напрямком по жнивью. — Стойте, кому говорят!

Данька Дудинский, работавший в паре с пожилым, подслеповатым и скупым на разговоры комбайнером Богданом Непорожним, беженцем откуда-то из-под Житомира, заметив несущуюся к ним бедарку, остановил трактор и, соскочив на землю, стал свертывать сигарку.

— Что случилось? — сплевывая прилипшие к языку табачинки, спросил он подъехавшего бригадира.

— Куда тебя несет? — не отвечая, сердито спросил Коновалов. Он слез с бедарки, подошел к Даньке и, прижмуря свои светло-серые глаза, назидательно помахал пальцем у самого его лица. — Ты что, парень, порядка не знаешь? Видишь, что к тебе едут, остановись! Сейчас просто так, за здорово живешь, никто не разъезжает. Едут, значит, дело есть! Ну вот что, давай сдавай свой «челябинец» вот этому молодцу. Сдавай, сдавай! Чего головой машешь? На это есть приказ директора. Так что давай, Дудинский, по-быстрому познакомь его с трактором, растолкуй, что да как, и поедешь со мной в МТС.

— Товарищ бригадир, а в чем все-таки дело? — спросил Данька, донельзя озадаченный этим непонятным и скоропалительным решением.

— Ничего я не знаю. Приедем в контору, там тебе все скажут, — ответил Коновалов и отошел к слезшему с мостика комбайнеру. — Богдан, закурить найдется?

— Есть.

Возвращая кисет комбайнеру, Коновалов, взглядывая на его заросшее седоватым волосом узкое лицо, спросил:

— Только на первый круг пошли?

— Не-е, то уже третий.

— Сегодня dokonаете это поле?

— Кто ж его знает! — пряча кисет в карман, неопределенно ответил Непорожний и, оглянувшись на несжатый участок, добавил: — Тут еще гектар двенадцать наберется... Если бы с Данькой — тогда ясно. А так...

— Заладила сорока!.. Должен бы знать, поди не первый год работаешь! — непонятно отчего разгораясь, Коновалов, слишком глубоко затянувшись дымом, закашлялся, зачертыхался. — Кончайте, и к завтрашнему утру чтоб духу вашего тут не было! Сам приеду проверить. До вечера не успеешь убрать, жни ночью! Надо, чтоб как на фронте — умри, но сделай! И с парень-

ком, если что на первых порах — ты помоги ему. Пообвыкнет, будет работать не хуже твоего Даньки.

— Это когда еще будет!

— Будет! — нетерпеливо оглядываясь на парней, возившихся у трактора, убежденно сказал Коновалов. — Только зря не пошумливай на него. Надо — учи, показывай, только не шуми.

Он поманил Непорожного и, когда тот приблизил лицо, зашептал ему прямо в волосатое, припорошенное пылью и половой ухо:

— Я почему говорю, чтобы ты помогал фэззушнику? А потому, чтобы ты больше не надеялся на Дудинского. Уезжает он, понял? Тут, можно сказать, государственное дело! Иначе я бы тоже ни за что не отдал его. Знаю, что он хороший тракторист. Только ничего не напишешь, надо!

— Уезжает? А куда?

— Тише, чего орешь? Про это я тебе ничего пока не могу сказать. Не велено. Так-то! Дудинский, ты скоро? Чего вы там возитесь?

Примерно через полчаса сквозь зеленые кружева редких деревьев завиднелись рыжеватые черепичные крыши села Прашковка. Данька всю дорогу раздумывал над странным приказом директора МТС, решившего снять его с трактора в самый разгар страды. И он еще раз попытался расспросить Коновалова:

— Степан Лукич, все-таки мне непонятно: зачем вы везете меня в МТС? Что за игра в прятки?

— Не знаю, милоч, — думая о чем-то своем, нехотя буркнул Коновалов. — Велено, значит, везу.

Директора МТС в конторе не оказалось. Куда он ушел и когда будет, никто из работавших там женщин не знал, и Коновалов, подождав несколько минут у крыльца, поехал с Данькой к ремонтным мастерским. У ворот мастерских — разошедшихся, давно некрашенных, кособоко повисших на погнувшихся самодельных навесках-шарнирах, Коновалов, по-стариковски кряхтя, снова неторопливо слез с бедарки и, обмотав веревочные вожжи вокруг полуобглоданной козами осины, кивнул Даньке:

— Айда за мной.

— Куда?

— Известное дело куда, в мастерские! Идем, идем, покажу трактор, который погонишь... домой.

Данька, шагавший за Коноваловым, встал в воро-

тах как вкопанный. Ему показалось, что бригадир неудачно пошутил.

— Погодите, Степан Лукич. Мне не послышалось? Что вы сказали? Какой дом, что за трактор?

Коновалов, щуря глаза, плутовато посмотрел на Даньку:

— Так я ведь всю дорогу только и толковал тебе, что погонишь домой колесник! А ты — снова переспрашивать! Я слышал, будто ты с Украины? Верно? Стало быть, считай, что теперь прибудешь домой не абы как, а на тракторе Харьковского завода!

— Ну и ну! — обрадованный приятной, а главное — неожиданной новостью, Данька широко заулыбался. — Степан Лукич, тут такое дело, а вы только теперь сказали мне об этом!

— Не хотел говорить допрежь директора.

В дальнем, притемненном углу пустовавшей сейчас мастерской, хранившей устойчивый запах солидола, горючего и остывшей окалины, одиноко стоял «ХТЗ». Трактор, очевидно, недавно подремонтировали, судя по белевшим краям самодельных картонных прокладок и сальников мотора, и он сейчас тускло поблескивал очищенными от грязи и пыли, вымытыми лигроином железными боками. «Выходит, бригадир и на самом деле не обманывает!» — подумал Данька.

— Так что, можно приступить к приемке? — спросил он.

— Давай, — ответил Коновалов.

Кинув телогрейку и сумку для харча на седло колесника, Данька принялся осматривать его. Поначалу заглянул в железный ящик для инструмента. Ящик был пуст, и Данька вопрошающе повернулся к вертевшемуся тут же бригадиру. Но тот лишь пожал плечами.

— Как же я теперь буду? — спросил Данька.

— А я откуда знаю! — рассерженно огрызнулся Коновалов. — Что я тебе, комплектовщик? Я отсюда ключи не забирал. И ежели на то пошло, надо было свой инструмент прихватить.

— Да? А чем бы тот фэззушник гайки крутил? Пальцами?

Но Коновалов дальше не стал слушать. Посчитав, что сделал все, что от него требовалось, он пошел из мастерской. Уже у двери, прорезанной в воротах, его настиг громкий, окаяющий бас кузнеца Демина:

— Лукич, погоди-ка уходить! Я слышал твой раз-

говор с Дудинским и подумал, что негоже нам отправлять парня таким-то манером. Что же там, на пограбленной земле, люди о нас скажут? Об этом ты позабыл, еловая голова?!

— Небось не дурнее тебя! — возвращаясь назад к трактору, обиженно произнес Коновалов. — Думать-то я подумал, да что толку? Ключи-то от этого не повяжутся.

Данька между тем нашел изогнутый болт и начал отворачивать барашки крепления боковых лючков блока, чтобы проверить затяжку шатунных подшипников двигателя. В то же время он прислушивался к перепалке между кузнецом и бригадиром и немало удивился, когда подошедший Демин протянул ему увесистый брезентовый сверток.

— Что это? — спросил Данька.

— Возьми, — улыбаясь прокопченным рябым лицом, пробасил кузнец. — Инструмент тут. Я кое-что понасобирал у себя.

— Спасибо, дядя Федор! — даже растерялся от неожиданности Данька.

— Правильно, парень! За доброе дело стоит поблагодарить. — Подойдя к трактору, пристально оглядел Даньку невысокий сухощавый мужчина лет сорока с небольшим, вместе с директором МТС незаметно появившийся в мастерской. — Значит, как я понял, ты и есть Дудинский?

— Он самый, Евгений Карпович, — подтвердил директор. Рослый, могучего телосложения, он на целую голову возвышался над всеми.

— Ничего, вроде бы крепкий хлопец, — одобрительно заметил мужчина.

— На него можно положиться, — снова подал голос директор.

Несмотря на прохладу в мастерской, ему, большому и грузному, к тому же страдающему одышкой, было душно здесь, и, сняв защитного цвета фуражку, он слегка помятым платком вытер сначала наголо выбритую шаровидную голову, а затем — короткую шею и круглое мясистое лицо.

— Мне сказали, что ты уроженец Николаевщины, — вопросительно обратился к Даньке спутник директора.

— Да. Я из Батаншевского района, — ответил Данька, сообразивший, что разговаривает с каким-то начальником и что все происходящее связано с решением

директора МТС отправить его с трактором на Украину.

— Даже так! Выходит, мы с тобой не только земляки, но еще и близкие соседи. Сам-то я трихатский. Слышал про такое село? Ну, вот! — доброжелательно говорил Евгений Карпович. — Да-а, бывал я как-то в Батаншеве. Ничего не скажешь, большое и красивое село! Ставок посредине, гребля, обсаженная вербами. В жару в их тени прохладно... Хорошо!.. Ну что, земляк, давай знакомиться. Я Шамолук, новый первый секретарь Прашковского райкома партии.

По-прежнему поглядывая на Даньку внимательными, слегка прижмуренными глазами, мужчина протянул руку. Конфузясь своих испачканных ладоней, Данька торопливо вытер их о штаны и ответил несмелым пожатием.

— Комсомолец? — спросил Шамолук.

— Конечно!

— Это очень хорошо! Ты здесь один или с родными?

— Один. Мать с сестренкой живут теперь в Казахстане, а отец с братом — где-то на фронте.

— Ну, хлопец, то, что вот этот трактор ты повезешь домой, для тебя, как я понял, уже не новость. Рад? Вижу, что рад. Поедешь ты не один. Через двое суток, — Шамолук зачем-то взглянул на часы, — с нашей станции отправится эшелон с сельскохозяйственной техникой — это наша область посылает в дар труженикам Николаевщины. Так что готовься, земляк. Рад был познакомиться. Надеюсь, мы еще с тобой увидимся.

Когда Шамолук с директором МТС, а следом за ними и Коновалов через медницкую вышли из мастерской, Демин, почесав затылок, пробасил:

— А этот новый секретарь, видать, толковый и душевный мужик. — И, что у кузнеца являлось высшей мерой одобрения, добавил: — По всему чувствуется — фронтовик!

— Мне он тоже понравился, — согласился Данька.

4

Из Прашковки Данька уезжал в воскресенье. Проводить его на станцию пришла одна только Антонина Михайловна, ставшая ему как бы второй матерью. Единственная дочь Антонины Михайловны, молодая вдова солдатка, работавшая в районной больнице старшей

сестрой, как раз в эти сутки дежурила, и Данька простился с ней накануне.

Время перевалило за полдень. До отправления состава оставалось менее часа, и на погрузочной площадке, несколько удаленной от железнодорожного вокзала, несмотря на жару, к этой поре собралось довольно-таки много народу: механизаторов, провожающих и просто любопытных. И это никого не удивляло. Да и как могло было людям, даже случайно шедшим мимо погрузочной площадки, не остановиться, не порадоваться такому примечательному событию. Ведь за время войны они уж привыкли к поездкам, сначала увозившим еще куда-то дальше в тыл беженцев, заводское оборудование, другую технику, раненых красноармейцев, а позднее — направлявшихся на фронт солдат и военное снаряжение. А тут, впервые за многие месяцы грозного лихолетья, на железнодорожных путях стоял, убранный свежими сосновыми лапами, по-настоящему мирный эшелон. Вот люди и радовались, видя на платформах не танки и пушки, а тракторы и комбайны, плуги и сеялки.

У одной платформы, с как бы дремлющим на ней под солнцем комбайном «Сталинец-6» и выдавшей виды, с порыжелыми боками веялкой, стояла группа стариков. Покуривая и словно бы какую-то невидаль разглядывая комбайн то с одного конца платформы, то с другого, они бойко обменивались мнениями.

— Теперь-то уж точно видать, что война идет к концу, — оглаживая большую, лопатой, бороду, довольно говорил высокий благообразный старик.

— А до этого ты разве сомневался? — становясь напротив него в задиристую позу, спросил низкорослый крючконосый дедок с широкими седыми бровями.

— Не то чтобы сомневался, — ответил бородач, — а только не вполне конкретно себе это представлял.

Неподалеку от стариков, у другой группы любопытствующих, вновь подошедшая тетка, в промасленной спецовке, попыталась:

— Верно говорят, что эти механизмы на Украину посылают?

— Как будто туда...

— Ну и правильно делают! — весело заключила тетка. — Люди-то нашенские, как не помочь!

Антонина Михайловна, как и все в этот час находившиеся на погрузочной площадке, ходила от плат-

формы к платформе, останавливалась, разглядывала сельхозмашины. Но вот она нашла Даньку и, взяв его под руку, увлекла в дальний угол площадки, чтобы попрощаться без посторонних. Спиной прислонясь там к корявому стволу старого дуба, Антонины Михайловна долго глядела на Даньку усталыми, в сеточке морщин добрыми глазами, в которых ему виделись неподдельная материнская боль, тревога и ласка. Данька не мог без душевного смятения встречать ее грустный взгляд. Выдавая его волнение, на крепкой загоревшей юношеской шее учащенно пульсировала жилка. Молча прощаясь теперь с Антониной Михайловной, он вспоминал, до мелочей видел в эти минуты ту ветреную, промозглую ноябрьскую ночь в Аксайске, когда во второй раз оказался у ее дома...

Когда Данька пришел в себя, в небе, очистившемся от туч, искристыми льдинками переливались нахолодавшие звезды и стертой подковкой повис месяц. Слышно было, как на верху яра, словно постанывая, завывал ветер, как шумел под его порывами старый бурьян. А на дне балки было очень тихо...

Немецкие солдаты со своим мозглявеньким офицером, вероятно, давно уже убралась куда-нибудь в тепло, а Данька, с трудом припоминая, что с ним произошло, долго еще лежал неподвижно. Потом, от жарко щиплющей боли в предплечье сцепив зубы, он перевернулся на живот и на четвереньках пополз в темноту. И почти тотчас же натолкнулся на чью-то негнущуюся, уже застывшую ногу. С заколотившимся сердцем Данька быстро отполз в сторону и опять коснулся окоченевшего трупа. В голову ударила тошнотворная муть. Даньку забила дрожь. И все же ему стало душно, как в знойный полдень, пот застилал глаза.

— Эй, есть кто живой? — крикнул он. Но от навалившейся жути голос его прозвучал очень слабо, и он понял, что его не слышно.

Данька подождал, крикнул еще раз, громче, и опять ответом ему была все та же гнетущая тишина. И тогда властно ворохнувшаяся в нем жажда жизни толкнула его наверх. Однако выбраться из яра оказалось не так-то просто. Последние дни тут часто выпадали дожди, а по ночам уже слегка подмораживало, и крутые склоны оврага покрылись скользкой корочкой льда. Но, в

кровь обдирая колени, пальцы и локоть здоровой руки, срываясь и больно ушибаясь о выступы, он упрямо карабкался наверх.

Первое, что увидел Данька, выбравшись, наконец, из яра, был багровый пылающий горизонт. Раздуваемые ветром гигантские языки огня, словно подрагивая от нетерпения, неустанно и алчно лизали небосклон. Наверное, этот огненный смерч бушевал где-то неподалеку от Аксайска, а возможно, и в самом Ростове. Данька слышал отдаленный гул артиллерийской канонады, лязг и рокот немецких танков, бронетранспортеров и автомашин, непрерывным потоком двигавшихся по рассекавшему осеннюю степь шоссе.

Подталкиваемый порывами студеного ветра, Данька побрел к крайним избам Аксайска. Вскоре он постучался в окошко уже знакомого двухэтажного дома. К подсиненному темению запотевшему стеклу, будто кого-то выглядывая, почти тотчас же приникло и отшатнулось выбеленное тревогой женское лицо.

— Кто там? — приглушенно спросил испуганный голос.

— Это я, тетя Тоня, — выдавил из себя Данька, прежде чем обессиленно сползти на землю.

Женщина скорее угадала, нежели расслышала его ответ. Торопливо открыв дверь, она быстро втащила ночного пришельца в дом.

— Господи!.. Данька!.. Да что с тобой стряслось? — в темноте укладывая его на кровать, осторожно раздевая, спрашивала она. — Ой, рана!.. Кто ж это тебя?

— Немцы...

— Ироды! Мальчишку убивать!.. А мать где, Люська?

— Не знаю... Нас бомбили... на мосту, — расслабляясь, чувствуя, что над ним снова смыкается звенящая черная пустота, чуть слышно проговорил Данька.

...Он не знал, сколько времени лежит в этом доме. Случалось, что, ненадолго выбираясь из забытья, с трудом разлепляя словно бы чугунные веки, он напрягал зрение и слух. В эти мгновения ему начинало казаться, будто он слышит знакомые голоса матери, Люськи, Ильи, Петра Боровика, тетки Кирины. Он только не мог понять, почему на глаза ему попадает одна лишь тетя Тоня. И то она почему-то всегда стоит в отдалении, и смотрит, и улыбается ему как бы сквозь зыбкий туман. «Неужели я болен какой-то заразной

болезнью, что все боятся подходить ко мне? — мучительно размышлял он. — А мама? Почему она не подходит?..»

Однажды в боковушке мезонина, где Антонина Михайловна прятала Даньку, вдруг остро и свежо пахло морозом, махоркой и овчиной. В окно, раньше наглухо закрытое ставнями, хлынули желтые потоки солнечного света, а около кровати послышались мужские голоса. Кто-то басовитым простуженным басом, словно бы раздвинув стены тесной боковушки, громко пророкотал над самым Данькиным лицом:

— Это, мамаша, и есть твой хлопец?..

Мужчины в военной форме на носилках отнесли Даньку в одну из санитарных автомашин, увозивших раненых бойцов из освобожденного от немцев Ростова. Антонина Михайловна пристроилась рядом с Данькой. Так они оказались далеко от Аксайска, в большом заволжском селе Прашковка...

Очнувшись от тягостных воспоминаний, Данька глубоко и с облегчением вздохнул. В воздухе пахло мазутом, паровозным паром, с железнодорожного полотна доносился резкий душок разогретых солнцем шпал.

— Тетя Тоня, как только доберусь до места, сразу же напишу. Я вас никогда, никогда не забуду! — горячо заверил Данька.

— Поживем — увидим, — сказала Антонина Михайловна и как-то вымученно улыбнулась.

Привстав на носки, она притянула Данькину голову, поцеловала, на миг припала к его груди и, оторвавшись, вытирая концом платка глаза, прошептала:

— Береги себя, сынок. Кто знает, как там после немцев-то. Ну, давай еще раз обниму тебя, и иди, попрощайся со своими эмтээсовскими...

И вот над паровозом уже взвился султан желто-белого дыма, он тонко и исполошенно загудел, из-под огромных красных колес его, шипя, по площадке закрутился пар. Стукнули тарелки буферов стронувшихся платформ и теплушек. Состав медленно двинулся.

Вскочив на нижнюю подножку тормозной площадки, Данька, держась за поручни, стоял на ней до тех пор, пока все удалявшаяся и уменьшавшаяся станция Прашковка совсем не скрылась за обсаженным тощими деревьями крутым поворотом железнодорожной насыпи...

Сопровождаемый грузной поступью встревоженно-го хозяина, Моисей Маркович Водяник пошел из избы. Он спустился с крыльца и, что-то невнятно бормоча себе под нос, повертел как бы сдавленной с боков сидящей головой. Наткнулся взглядом на исклеванную колуном широкую колоду у плетня, присел на нее. Попеременно поглаживая свои худые, бледные кисти, редко поросшие черными волосками и слегка шелушащиеся от частого натирания их спиртом, Водяник сощурил маленькие невыразительные серо-голубые глаза под щетилистыми пучковатыми бровями и негромко сказал вставшему возле него Журавлеву:

— Садись и ты, Филипп Африканыч. У тебя есть что курить?

— Этим не занимаюсь. Ты уж извини, Моисей Маркович.

— Я думал крепенького самосаду посмолить... Ну, нет так нет, — ничуть не смущенный отказом, произнес Водяник и невозмутимо достал из внутреннего кармана пиджака помятую пачку давно уже исчезнувшего из продажи «Беломорканала» с несколькими папиросами в ней.

Журавлев опустился рядом на принесенный сучковатый березовый чурбак и, с надеждой заглядывая в узкое, плохо выбритое лицо Водяника, спросил:

— Что с ней?

Водяник сидел так, будто не слышал вопроса. Он курил, морщил лоб и острый нос с торчащими из ноздрей волосками и все время так страдальчески водил нижней челюстью, словно гонял во рту прекислую жвачку. Еще три месяца тому назад, когда Ефросинья лежала на излечении в районной больнице, он, тщательно изучив все анализы, понял, что у нее бластома, рак яичников, и, значит, она обречена. Но как об этом сказать Журавлеву?

Доктор долго молчал, спиной ощущая жару набирающего силу августовского дня. А солнце все выше, все круче взбиралось в голубовато-белесую наволоку неба и оттуда, с немыслимой выси, низвергало слепящие потоки зноя. В тени, все уползающей под порожки слегка осевшего крыльца, хоронились с десятков кур. От скотиньей сараюшки наносило тепловатым душком пересыхающего навоза.

— Что ни говори, а все же папиросы слабоватая штука, — попыхивая дымком, отрешенным взглядом скользя по двору, по виднеющимся в огороде кукурузным метелкам и желтеющим шляпам подсолнухов, наконец-то отозвался Водяник. — Иной раз так хочется затануться крепким самосадом, чтобы пробрало до самых печенок и слезы б выступили. Что ты насчет этого думаешь, а?

— Бывает, слеза и без курева прошибает человека. Это смотря к кому жизнь какой стороной повернется. А что касается табака, так наш амгуньский самосад, понятное дело, покрепче всяких папирос. Я тебе его достану и привезу, — пообещал Журавлев и, вздохнув, напомнил: — Ты так и не ответил мне, Моисей Маркович. Говори. Скажи правду. Или ты боишься меня испугать?

Он чуть наклонился и сбоку, искоса посмотрел на удлинненное, как бы стесанное к мелкому подбородку лицо доктора, надеясь хоть по глазам его распознать правду. Но взгляд Водяника по-прежнему блуждал где-то далеко в пространстве, и Журавлеву никак не удалось уловить его.

— Что тебе ответить, Филипп Африканыч? — бросив окурок и безотчетно принимаясь вновь не спеша массировать свои руки, Водяник наконец-то отважился сказать правду: — Мужаться тебе надо, дорогой мой. Плохо дело у Ефросиньи. И помочь ничем нельзя. Вот в чем беда.

Журавлев в душе давно уже был готов к самому худшему. Но такова уж человеческая натура, что, вопреки всему, она все же надеется на лучшее.

— Думаешь, умрет? — облегчая Водянику признание, спросил Журавлев и, внутренние холодея от высканной мысли, все-таки ждал, что тот найдет для него утешительное слово.

Но, сняв выгоревшую велюровую шляпу, Водяник вытер испарину со лба и, опять водрузив ее на голову, бессильно развел руками:

— Да, я так думаю.

— Как же это, Моисей Маркович?! Ведь говорят, что ты все можешь! Сделай что-нибудь! Ведь вся моя надежда была на тебя! Спаси ее! Всю жизнь буду твоим неоплатным должником!

Водяник промолчал.

— Эх вы, костоправы! — отчаянно, с каким-то на-

дрывом вымолвил Журавлев и жалко, беспомощно и часто заморгал. — Учат вас годами, а как несчастье коснется, вы такие же немочи, как мы!

— Медицина еще не дошла до того, чтобы излечивать рак.

— Медицина, медицина! — злобясь, ломая в пальцах поднятую щепку, запальчиво выкрикнул Журавлев. Но, тут же устыдившись своей несдержанности, сбавил тон: — Эхма! Горе-то, оно кого хочешь с ума сведет. Ты уж извини меня, Моисей Маркович!

— Я тебя понимаю...

Они еще какое-то время посидели, каждый углубленный в свои тягостные раздумья. Затем, пересиливая чувство виноватости перед Журавлевым, Водяник встал с колоды, взглянул на часы, сказал глуховато:

— Прости, Африканыч, но мне надо идти. Больные ждут.

— Да, да... сейчас.

Журавлев тоже поднялся и громко позвал дочку. На крыльцо тотчас же вышла рослая, в отца смуглолицая и черноглазая девочка лет тринадцати-четырнадцати. Строго наказав ей не отлучаться из дому и присматривать за матерью, Журавлев взял Водяника за локоть:

— Ну, Маркович, благодарствую, что нашел время заглянуть. Пойдем на хоздвор, постараюсь отправить тебя домой.

— Зря беспокоишься, Филипп. Я сам как-нибудь доберусь.

— Сам ты долго будешь добираться. Теперь мало кто ездит в райцентр, так что вряд ли подвезут. Или ты пеши пойдешь?

— Как придется. Мне не привыкать.

— Нет уж! Пошли со мной.

Упросив третьеклассника Генку, хулиганистого внука конюха Новожилова, вечно отиравшегося на хоздворе, отвезти доктора на рессорной двуколке в райцентр, Журавлев сразу же поспешил домой.

Когда он на обратном пути проходил мимо сельсовета, его окликнул в распахнутое окошко Георгий Дублазов:

— Африканыч, зайди-ка на минутку!

— Может, в другой раз, а, Гоша?

— Зайди, зайди! — настойчиво повторил тот.

Встретив у порога все еще колеблющегося, сетую-

щего на занятость Журавлева, Дуболазов почти силком усадил его на стул и, больше обычного налегая на искалеченную ногу, нервно и как-то рывками заходил между столом и распахнутым окном кабинета.

— Не мельтеши! — нетерпеливо поглядывая на председателя сельсовета, словно бы сидя на иголках, вскричал Журавлев. — Чего звал-то?

— Как там Ефросинья? — пряча глаза, уклончиво спросил Дуболазов. — Все хворает? А Водяник что говорит? Ведь это он с тобой давеча проходил?

— Худо дело, паря...

— Да-а...

— Ты, Гоша, не нуди. Мне сейчас не до этого. Говори, чего звал-то.

Дуболазов с ходу присел к столу, кинул на него свои узловатые руки с намертво въевшимися в них точечками машинного масла, но, усидев едва ли с секунду, снова вскочил, поскреб заметно поредевшую макушку.

— Зачем звал? — вдруг весь как-то сникнув, переспросил он. — Да как тебе сказать?.. Должно, и я к тебе не с добром... Тут тебе письмишко с фронта. До поры не хотел показывать тебе, да секретарша углядела. А она все равно разнесет...

— Какое письмо? — внутренне весь как-то подобрался Журавлев.

— Не знаю... Прав не имею заглядывать в чужие письма. А только не нравится оно мне. Почерк на конверте какой-то круглый, шибко аккуратный...

Дуболазов выдвинул верхний ящик стола, достал письмо и протянул его Журавлеву.

— Ты уж не взыщи... И за какие такие грехи я стал теперь самым проклятушим человеком в деревне?!

— Помолчи!

Внезапно задрожавшими пальцами надорвав конверт, Журавлев неловко выудил из него сложенный вдвое листок бумаги, развернул и, лишь бегло пробежав глазами первые строчки, аккуратно выведенные ко всему привыкшей рукой неизвестного писаря, сразу обо всем догадался. Второй удар за утро... Это было уж слишком даже для такого крепкого человека, как Журавлев. Хватаясь за сердце, он сник, руки его тяжело обвисли.

Дуболазов, вновь было ставший у окошка, услышав за спиной какой-то вхохочущий не то всхлип, не то стон,

стремглав кинулся в смежный кабинет секретаря, зачерпнул там из ведра на табуретке кружку воды и поспешно, расплескивая ее, поднес Журавлеву.

— Ты чего, Филипп? Э-э, так нельзя! Надо крепиться!

— Я что... Я ничего... — отводя кружку, в страдальческой усмешке кривя рот, тихо промолвил Журавлев и, подламывающейся рукой опираясь о край стула, тяжело поднялся, постоял, пошатываясь, и как-то сразу постаревшей, шаркающей походкой пошел из кабинета.

Поглядев ему вслед, Дуболазов вдруг остервенело швырнул кружку об пол и, матерно ругаясь, стал изо всех сил пинать ее ногами.

А Журавлев, сходя с крыльца, словно незрячий, шарил ногою ступеньки и бормотал:

— Нет Павлухи... Три года провоевал... Был тяжело ранен и ушел от смерти... И вот... Господи праведный, за что караешь? Что я сделал тебе плохого? Павлушка, сыночек, как же так!.. Что же я Ефросинье-то скажу? Ведь это ее совсем доконает...

Он потерянно брел улицей, в одной руке зажав конверт с похоронкой на сына, а в другой — свою истерханную кепку. Солнце припекало ему простоволосую голову. На него, ссутулившегося и словно бы невменяемого, с недоумением оглядывались редкие прохожие. А он, не поднимая головы, шел слепо, толчками, будто лунатик. Лишь одна горькая мысль билась в мозгу: «Что теперь делать? Как жить дальше?»

У поворота в свой проулок Журавлев вдруг остановился. На ум внезапно пришло простое решение, как избавить от потрясения хотя бы жену. Потоптавшись, обдумав все в деталях, он, будто норовистый конь, заламывающий оглобли, круто повернулся и быстро зашагал к молодой дубраве за селом, с первых дней войны прочно обжитой солдатами-вносовцами.

С этими связистами и их командиром, худощавым лейтенантом, носившим на украинский манер вислые рыжие усы, ему уже не раз доводилось иметь дело. Вносовцы имели своих лошадей, с их помощью они уже в первую военную осень распахали ближнюю релку, а весной посадили на ней картофель, морковь, капусту и прочую зелень. С тех пор связисты частенько обращались с хозяйственными нуждами в бригаду Журавлева и сами, чем могли, охотно подсобляли колхозу. Так что приязнь была взаимной.

У жердевых ворот, створки которых были крест-накрест туго обтянуты не успевшей еще поржаветь колючей проволокой, торопливо шагавшего Журавлева остановил небольшого роста солдат из новобранцев. Напуская суровость на свое веснушчатое, явно не знакомое еще с бритвой круглое, пухлогубое мальчишеское лицо, он строго окликнул:

— Стойте, гражданин! Куда вас несет?

Журавлев, привыкший беспрепятственно проходить к связистам, слегка возмутился:

— Ты что это, паря! Тебе повылазило? Ведь я Журавлев, здешний тракторный бригадир!

— Да будь вы хоть трижды бригадир, мне-то что? Не положено!

— Ты мне тоже не нужен. Надо мне вашего почтателя. Понял, нет?

— Не знаю никакого бригадира и никакого почтателя. Уходите, гражданин! — невозмутимо произнес солдат и размеренно заходил вдоль ворот.

— Тьфу ты! — уже по-настоящему начиная терять терпение, сердито сплюнул Журавлев. — Не знаешь почтателя, так лейтенанта покличь! Его-то ты хоть знаешь? Ну, слава богу! Тогда позови его! Черт, набирают всякую мелюзгу!..

— Я не мелюзга! Я солдат, мне уже восемнадцатый пошел! — поправляя ремень винтовки, то и дело сползающий с худого, еще неокрепшего плеча, совсем по-детски обиделся боец.

— Ладно, Аника-воин. Позови лейтенанта.

— Лейтенанта? — переспросил боец. — Хорошо, позову. Только вы, товарищ, не ходите за ворота. Там подождите.

Солдат поплотнее сдвинул створки ворот и, оглядываясь, пошел к продолговатому и низкому, барачного типа сборно-щитовому строению, служившему вносцам одновременно и казармой, и постом наблюдения. Вскоре он появился снова, но уже вместе с командиром.

— О-о, Филипп Африканыч! — с порога увидев Журавлева, приветственно поднял руку лейтенант и поспешил к воротам. — Какими судьбами? Да что вы там стоите? Заходите!

— Так не пускает вояка твой. Говорит, не положено.

— Это смотря кому, — засмеялся лейтенант, сбоку ворот открывая калитку. — Вам всегда рады! А на

Кривцова не держите обиду, он у нас новенький, не знает вас. Так с чем пришли?

— Да мне, собственно, нужен ваш почтатель, — зайдя за ограду и пожимая руку лейтенанту, сказал Журавлев уже окрепшим, рассудительным голосом. — Тут видишь ли, какое дело. Жена моя сильно хворает, совсем, можно сказать, никудышная стала. А тут еще горе свалилось на наши головы... — Он вдруг поперхнулся, но быстро взял себя в руки. — Похоронка пришла... на сына. Надо бы домой идти, а как я могу при ее-то теперешнем состоянии показать такое письмо? Ведь оно совсем убьет ее... Ну, и надумал я изготовить другое письмо...

Лейтенант опустил голову и вздохнул.

— Не отчаивайтесь, Филипп Африканыч, — попытался он успокоить Журавлева. — Похоронка — это еще не значит, что все потеряно. В жизни всякое случается. Так что не теряйте надежды. А письмо до поры спрячьте, не показывайте жене.

— Коль оно побывало в сельсовете, его уже не скроешь. Вот в чем беда-то. Там у нашей секретарши язык — чистое помело. Обязательно разнесет всем. Нет, письмо придется показать жене. Другой вопрос, что в нем будет написано, соображаешь?

— Догадываюсь теперь. Так что от нас требуется?

— Письмишко от вас нужно. То есть, не от вас именно. Пусть кто-нибудь из твоих солдат его сочинит. Мол, от имени моего Павлухи... Дескать, что лежит он в госпитале, рука у него раненая или что-то такое еще. Сам, мол, писать пока не может, ну и попросил это сделать своего товарища.

— Теперь я вас понял, Африканыч. Только мне кажется, что ваша жена такому письму все равно не поверит.

— Почему так?

— Да она же поймет, что оно липовое.

— А вы свою треугольную печатку сверху приклепнете. Ей она поверит.

— Что ж, пожалуй, — рассудил лейтенант. — Слушайте, Африканыч, а давайте мы письмо сочиним, и потом вложим его в полученный конверт.

— Нет, так не годится. Я уже думал. Почерки-то не совпадут.

— Тоже верно, — сказал лейтенант и тут сокрушенно добавил: — В таком случае я вам ничем не

помогу. Нет у нас, Африканыч, штатного почтальона и тем более штемпеля полевой почты.

— Как так нету? Что же вы, и свои письма не метите?

— Нет, штемпель есть, разумеется. Но только в другом месте. Ну, сами должны понимать, где...

— Выходит, мне за этим делом надо туда подаваться?

Лейтенант кивнул.

— Поеду, коль так. А к кому мне там обратиться?

— Вы знаете старый парк? Вот сразу за ним найдете связистов. Спросите капитана Самохвалова. Представительный такой мужчина. Ростом с вас будет. Скажете, мол, что от меня. Хотя нет. Вы поезжайте, а я ему сам позвоню.

— Ну, спасибо, Демьяныч!

6

Был уже вечер, когда Журавлев подъехал к дому. Спешившись, он неторопливо расседлал коня, стреножил его и, ласково похлопав по потному крупу, отпустил пастись. Седло он, для просушки, потником вверх положил на поленницу в ограде. Упираясь грудью об остро выступающие края поленьев, постоял, обдумывая, как войдет и что скажет жене.

А день угасал. Рыжеватый поток закатного солнца ярко высвечивал зеленую макушку осинника за селом. Оттуда, с заросших кугой и камышом низких, болотистых берегов Платоновой протоки, громко, как перед дождем, гомонили лягушки. Немного поближе, должно быть, в кустарнике, за зерновыми складами, хриповато и настойчиво кричал фазан. «А-а, найду что сказать. Главное — это держаться натурально», — решил он, направляясь в дом.

У дочки, с подойником в руках вышедшей в эту минуту во двор, Журавлев спросил:

— Зинка, ну как там мать?

— А никак! Лежит лицом к стене и постанывает. И все что-то думает, — ответила девочка, и, явно подражая взрослым женщинам, она, подбоченясь свободной рукой, сурово глядя на отца, стала укоряюще ему выговаривать: — А ты где целый день носишься? Пошел доктора проводить, а сам пропал? Мы тут с мам-

кой одни, а его где-то носит! И дядя Горелик тоже спрашивал тебя. Два раза заезжал, ругался здорово, что тебя в бригаде нет. Где ты был?

— Ладно, ступай себе, дон! — потирая шею, прикрикнул на нее Журавлев и, когда дочка, размахивая подойником, с независимо-сердитым видом прошла мимо него в пригон, к шумно вздыхающей корове, он, устало жмуря ей вслед глаза, добродушно проворчал: — Туда же, отца учить! Ишь ты, стрекоза! Где надо, там и был.

Вынув из кармана письмо, сочиненное солдатами, — слегка помятый треугольник с оттиском настоящего штемпеля полевой почты, — Журавлев, стараясь натянуть на лицо радостную улыбку, шумно прошел прямо в спальню. Заслышав натужные вздохи половиц под тяжелыми шагами мужа, Ефросинья, прикусив губу, чуть повернулась на спину и выбеленными от боли глазами выжидающе уставилась в дверь.

— Мать, ну как ты тут? — бодро войдя, спросил Журавлев и, присев на край кровати, со значительным видом подал ей письмо. — Держи, от Павлухи!

— Живой мой сыночек! — стонуще выдохнула Ефросинья и, высохшими тонкими руками взяв заветный треугольник, прижала его к тощей груди.

— Живой он, только раненый, — упреждая ее, сказал Журавлев. — И то слава богу! Да ты раскрой письмо-то, или мне почитать?

— Не, я сама.

Сдвинув узкие темные дуги бровей, казавшиеся чужими на ее иссушенном болезнью пергаментном лице, Ефросинья развернула письмо и, поднеся его близко к глазам, зашевелила бледными, обескровленными губами. А Журавлев, взглядывая на ее заострившийся нос и морщинистую шею, на высохшую, будто бестелесную, грудь в широком вырезе полотняной ночной сорочки, сидел, незаметно смахивая слезы.

Дочитав письмо, Ефросинья вновь сложила его и, помедлив, сунула под подушку.

— Ну что, теперь маленько полегчает? — наивно спросил Журавлев, про себя подумав: «Слава богу, кажется, поверила письму-то!»

Ефросинья как-то странно, коротко взглянула на мужа, но тут же слабо, вымученно улыбнулась и прикрыла веки. Он взял ее невесомую руку и, как давно уже не делал, нежно погладил ее.

— Может, тогда поешь что, а, Фрося?

Не открывая глаз, она отрицательно мотнула головой и, снова повернувшись лицом к стене, тихо заплакала.

— Вот тебе раз! Чего же ты слезу пускаешь! — про себя сокрушаясь, что его усилия все-таки оказались зряшными, укоризненно сказал Журавлев. — Эх, Фрося, Фрося! Тут радоваться надо, а ты...

— От радости я и плачу, — сдерживая рвавшийся наружу крик, сказала, не оборачиваясь, Ефросинья. — Ты не обращай внимания, Филя. Ведь баба без слез, все равно что щи без соли. Иди-ка сам чего-нибудь поешь. Вон исхудал как, аж почернел весь. Поди намотался за день-то. Поешь да Зинке помоги что надо. Упарилась, однако, девчонка. А она-то знает про письмо?

— Ох, беда! Забыл обрадовать-то. Сейчас скажу.

— Пойди, пойди...

Но Журавлев не торопился. Он посидел какое-то время, думая, что жена скажет еще что-то. Но она молчала, и тогда он, неслышно вздыхая, вышел.

А Ефросинья, по-прежнему глядя в стенку, тихо плакала. Она была взволнована заботой мужа, пытавшегося и трогательным обращением, и этим якобы полученным от сына письмом облегчить ее душевные страдания. Почти всю свою жизнь с ней, с самого рождения Павла, он звал ее не иначе как мать. Сначала Ефросинье нравилось такое благословенное и общепринятое в крестьянских семьях обращение к жене, родоначальнице семьи. Но дальше этого ласка Филиппа не пошла, и постепенно казавшееся было уважительным слово начало ее раздражать. Из-за этого у них однажды дошло даже до крупной размолвки.

Как-то она собралась испечь хлеб, но в то утро у нее все почему-то не клеилось: и тесто плохо подошло, и дрова в печи никак не хотели гореть, и телушка, забравшись в сени, поначалу изжевала висевшее там полотенце, а после — еще и опрокинула ведро с молоком. Она ото всех этих как нарочно низавшихся одна на другую неурядиц была, что называется, будто начинена порохом. И тут повернулся Филипп. Войдя со двора, он, вместо того, чтобы натаскать с Амура воды в кадушку, о чем она попросила его еще с вечера, или нарубить сухих дров, умыл руки, сел за стол и, как ни в чем не бывало, велел подать себе поесть. Тут-то она и взвилась. Сдернув платок с головы и вытирая им покрасневшее потное лицо, перепачканное мукой и са-

жей, она, яростно подступаясь к нему, стала раздраженно выкрикивать всю накопившуюся горечь:

— Что ты все заладил, мать да мать! Какая я тебе мать? Так только старух древних кличут! А я еще молодая! Хоть бы разок по имени позвал! Как в парнях приударял за мной, обхаживал, так все петухом фуфырился: Фрося да ах, Фросенька! А теперь что, иль запытавал, как звать-то меня?

Филипп тогда изумленно глядел на нее, явившуюся, злую, и, не проронив ни слова, поднялся, нахлобучил кепку и ушел. Потом они несколько дней не разговаривали. Собственно, дулась одна Ефросинья, а Филипп привычно отмалчивался. А когда они помирились, муж все равно не изменил своей привычке, и все осталось как было.

Вытирая слезы, Ефросинья через силу улыбалась своей давней никчемной обиде. А боль как будто и впрямь улеглась, уступила место покою. Ефросинья словно бы сквозь накрывшее голову стеганое одеяло слышала голоса: неторопливый, бубнящий — Филиппа и тоненький — Зинки, их сторожкие шаги на кухне. Но уже ко всему безучастная, она не вникала в суть их разговора, ее не занимало то, чем были заняты они. Видно, наступал час ее вечного успокоения...

На другой день к Журавлеву, ненадолго выбравшемуся в поле на жатву, подъехал Давид Горелик. По тому, как председатель колхоза очень уж медленно спешивался и потом, не отваживаясь поднять глаза, нарочно долго возился с седлом, расправляя у него то потник, то крылья с подпругами, Журавлев догадался, что случилось несчастье, что смерть, витавшая вокруг его подворья, проскользнула в дом.

Журавлев постоял, молча, безотчетно перетирая в бугристых ладонях несколько подобранных с земли пшеничных колосьев, сдул остья, веером рассыпал зерна и, отряхнув затем руки, медленно побрел к нерасседланному коню, привязанному к колесу стоявшей на меже заправочной телеги. Вскарабкавшись в седло, он подался с поля.

У Горелика тоже были свои дела в селе. Но он перереждал, не поехал вслед за Журавлевым. Он понимал, что Филиппу сейчас лучше всего побыть одному, что,

должно быть, кроме солнца да степного ветра, никому больше нет надобности видеть слезы плачущего мужчины...

7

Близилась осень, а жаре, казалось, не будет конца. Днями солнце так еще накаляло землю и прожаривало воздух, что даже ночи, ставшие уже намного длиннее, были не в силах перебороть изнуряющую духоту. Обмелевшие арыки кое-как еще утоляли жажду поливных рисовых чеков, а на остальных полях земля до того пересохла, что морщилась трещинами-клетками, будто лицо древней старухи. Зной раньше времени выжелтил густые заросли камыша и осоки вдоль магистральных оросительных каналов, высушил серебристый ковыль, чий, кудрявый перекасти-поле. Разбросанные по степи бесчисленные солончаки еще ярче, стеклистее поблескивали под палящими лучами.

Но даже в эту пору безбрежная казахская степь была по-своему хороша, неповторима. Колыхаясь в расплавленном золоте солнечного света, она буквально полна удивительными сказочными миражами. Эти волшебные видения то, разливаясь гигантскими озерами, дразнят жаждущих, то, колыхаясь верхушками тополей, манят своей живительной сенью, то, превращаясь на глазах в фантастические средневековые города и тенистые оазисы, сулят усталому путнику призрачный покой и отдохновение.

Люська Дудинская любит степь в любое время года. Даже тогда, когда она безжалостно выжжена солнцем. Для нее степь всегда полна всяких таинств и откровений. Почти ежедневно собирая в степи кизяки на топку, она, присев где-нибудь на горячую землю и безудержно фантазируя, может часами наблюдать волшебную игру миражей, долго любоваться парящим в поднебесье коршуном или блуждать взором по голубоватым теням, лежащим на стенах и куполах древних, величаво хранящих мудрое молчание мазаров. Нравятся ей и колючие шары перекасти-поля. При малейшем дуновении ветра курай этот срывался с места и начинал катиться по степи. За ним, с колотящимся по спине мешком собранных сухих кизяков, можно было бежать и полчаса, и даже час, да так и не постигнуть, куда и зачем торопится этот неутомимый степной скиталец и где он найдет себе пристанище...

Правда, в последнее время, с приездом Ганны, Люське стало некогда особо любоваться красотами степи. На ее попечении теперь находился маленький племянник, а с ним хватало забот. Иной раз в этом ей помогала Сима Светлицкая, но шла на это подружка без особенной охоты, и Люська мало полагалась на нее. Уже не раз бывало, что, зачитавшись или заигравшись, Сима начисто забывала про Леньку. Потому-то и сегодня, чуть подсобрав в степи кизяков, Люська тут же заторопилась назад в аул.

Дома, кинув мешок с кизяками у плиты во дворе, Люська направилась было к стоявшей неподалеку на берегу арыка юрте бабушки Зейнек, куда Сима чаще всего уводила Леньку. Но, пробегая мимо мазанки, она увидела, что дверь ее почему-то распахнута. А ведь, уходя собирать топливо, она наказала Симе, чтоб та закрыла дверь, если соберется пойти к бабушке Зейнек. «А еще говорила, что боится оставаться одна с Ленькой. Вот вруша!» — подумала Люська о подружке.

Но дома оказалась мать. Она сидела у стола с поникшей головой и как будто пылливо разглядывала свои загорелые до черноты, в сетках вздутых жил руки, безжизненно лежавшие на коленях. Бледное худощавое лицо было недвижимо, а тонкие обветренные губы скорбно поджаты.

— Мама, что ты так рано? — с порога спросила Люська. — А Сима с Ленькой где? Ты не видела их?

Но Лия молчала. И даже не шевельнулась ответно. Такой неподвижной и пришибленной в своем непонятном молчании Люська еще не видела мать. Она подошла к ней, обняла за плечи, прижалась к ней, улыбаясь, заглянула в лицо. Но мать никак не отреагировала и на эту ласку. Казалось, тормозни ее чуть посильнее — и тогда она вообще мешком свалится с табуретки. Люське стало как-то не по себе. Оробев, она бочком отошла от стола и лишь теперь заметила лежавшее у ног матери раскрытое письмо. Она подняла его и, не читая, даже не взглянув, от кого оно, положила на стол.

— Мама, что это за письмо? — пальцами легонько коснувшись плеча Лии, спросила она. — От Илюши? Даньки?.. Может, от папки? Ну, что ты молчишь?

Но глаза Лии по-прежнему неподвижно смотрели в одну точку, и ни единый мускул не шевельнулся на ее бронзовом от загара, будто окаменевшем лице. Почувствовав в ее отрешенности что-то недоброе, даже зло-

вещее, что, наверное, было связано с письмом, Люська испуганно вышла во двор.

— Может, в поле сбегать? Сказать Ганне? — вслух подумала она и, секунду-другую поколебавшись, побежала в конец аула.

Сразу за шатким мостом через широкий и мутный магистральный канал Люська свернула на проселочную дорогу и, по самые щиколотки утопая босыми ногами в горячей пыли, направилась к бахче.

В летний полдень аул, казалось бы, тоже трудно дышит от нестерпимого слепящего зноя. Он в эти часы почти безлюдный, расслабленно-дремотный. Женщины, девушки и старики, что покрепче, — все они в это время на колхозной бахче или на рисовых чеках, а подростки и немногие оставшиеся по брони мужчины — с табунами лошадей и отарами овец или вовсе далеко от дома — в горах, на отгонных пастбищах. В прохладе кибиток и юрт можно увидеть только детишек да немощных старух.

Трудились все, кто только мог. И все равно в айнакульском колхозе «Жана-Эймир» очень не хватало рабочих, особенно крепких мужских, рук. Аул по этой причине выглядел неприглядно. Многие кибитки стояли необмазанные, их саманные стены ветшали и осыпались, а плоские крыши зарастали бурьяном. изнашивался, протирался давно не менявшийся войлок на юртах. Покошились кошары и конюшни, поизносился сельскохозяйственный инвентарь. Но колхоз жил, работал и без задержек давал фронту хлеб, рис, овощи, фрукты, мясо, коней, полушубки... И во всех делах колхозникам-казахам хорошо помогали эвакуированные.

На третий день после приезда в Айна-Куль пошла работать в колхоз и Ганна. По просьбе Лии ее принял в свою бригаду бахчевод Абиш Оспанов. Строгий, хозяйственный аксакал оценил старательную, трудолюбивую женщину и вскоре уже нередко ставил ее в пример другим работницам. Спокойная и отзывчивая, Ганна быстро сблизилась со всей разноязыкой и разноликой бригадой Оспанова. Но особенно она подружилась со своей звеньевой, младшей невесткой бабушки Зейнек, черноглазой щебетуньей Салихой.

Звено Салихи уже около двух недель работало на отдаленной от аула бахче. В тот знойный августовский день Ганна, как обычно, стояла на разделке всех этих

хандаляков, босвалд, бухарок, арбакешек и прочих дынь. Она так сноровисто орудовала острым столовым ножом, словно бы всю жизнь только этим и занималась. И все бы ладно, не будь той изнуряющей духоты, от которой не было спасения даже под толстой камышовой крышей навеса. К тому же беспрестанно докучали мухи, дикие пчелы и осы, тучами роившиеся вокруг. Полно было и муравьев. Они ползали по земле и пропитавшимся ароматным сладким соком столам, по почерневшим рукам и ногам женщин, забирались под одежду...

Наглухо повязанная белой косынкой, Ганна работала сосредоточенно, молча. Пальцы рук ее лоснились и слипались от сока. Витавшая в воздухе мелкая пыль скрипела на зубах и, оседая на потную шею, раздражающе зудила кожу. От духоты гудела голова, сохло во рту, в горле будто ком застревал. Все время хотелось пить, но теплая вода в арыке лишь усиливала жажду. Даже айран* из припрятанного в тени Салихиного шапаша** не приносил облегчения. Ганна крепилась, терпела, но порой не выдерживала, шла к арыку. Внутренне смущаясь и оглядываясь, она расстегивала кофту, смоченными концами косынки вытирала пот, копившийся в ложбинке между грудей, лицо, шею. На минуту-другую становилось как бы полегче, потом все повторялось.

Как-то к присевшей у арыка Ганне подошла Салиха. Она тоже была как искупанная. Глухая темно-розовая ситцевая рубашка-платье с длинными свободными рукавами на ней была сухой разве что только по широкому подолу. Салиха опустила около Ганны на горячий глинистый бережок, привычно подобрала под себя ноги в тонких, ситцевых шальварах и, стянув с головы кимешек***, вытерла им свое смуглое крутоскулое лицо. Расстегнув верхние пуговицы платья и распахнув ворот, Салиха, улыбаясь лучистыми темно-кариими глазами, стала ладонью, сложив ее лодочкой, черпать воду и брызгать себе за пазуху.

— Ой-бай! — блаженствуя, постанывала и смеялась она. — Ой-бай, джаксы****!

— Ты бы и шальвары сняла, — простодушно посоветовала Ганна.

* Айран — кислое молоко.

** Шапаш — кожаный мешок, бурдюк.

*** Кимешек — головной убор замужней женщины.

**** Джаксы — хорошо.

— Что ты, нельзя! — оглядываясь на навес, испуганно заохала Салиха. — Абиш-бай не должен видеть мои голые ноги. Грех это.

— Ноги русских женщин он же видит, и ничего, не слепнет. Да и нет его сейчас. Так что скидывай шалвары и не бойся!

— Все равно нельзя. Это вам, русским женщинам, можно. Казашкам йок*, нельзя! Если аксакал или другой мужчина увидит голые ноги казашки, он будет о ней плохо думать.

— А-а, глупости! Что ты баба, что мы. Для мужика никакой разницы.

— Все равно нельзя, — твердила свое Салиха.

— Нельзя, нельзя... Эх, ты! Крепко же вас мужики поприжали!

— Не мужики, закон держит.

— К черту такой закон! Стала бы я его держаться. Его же мужики и придумали, закон этот.

— Наверное, — ответила Салиха и вздохнула. — Но ничего. Я думаю, после войны и мы, казашки, станем другими. Как вы, русские.

— Дай-то бог.

Немного освежившись и передохнув, Салиха поднялась первой, тоскливо посмотрела на словно бы неубывающую гору арбузов и дынь, на еще высокое солнце, будто плавающее в блекло-голубой наволочи накаленного зноя неба, и, вздохнув, перевела взгляд на бахчу, откуда два мула тащили очередную телегу с плодами. Поднимаясь к навесу, она случайно взглянула на дорогу, петлявшую в низкорослой шафранно-бурой траве, и остановилась, заинтересовавшись маленькой темной фигуркой, быстродвигающейся со стороны аула. Козырьком приставив смуглую ладонь к своим острым глазам степнячки, Салиха, напряженно всматриваясь, вдруг удивленно произнесла на родном языке:

— Бул кимнык кыз бала кушу!

Но тут же, сообразив, повторила уже по-русски, как всегда, тщательно подбирая и выговаривая слова:

— Там... бежит какая-то девочка.

Женщины прервали работу. Выйдя из-под навеса, они, переговариваясь и гадая, кто бы это мог быть, тоже выжидающе уставились на дорогу.

Ганна неподвижно стояла около Салихи, не сводя глаз с бегущей девочки. Внезапно, будто ее кто под-

* Йок — нет.

толкнул, она инстинктивно сделала шаг навстречу бегущей, потом другой. «Видно, дома что-то случилось! — охнула она, скорее нутром, нежели глазами угадывая в девочке Люську. — Не дай бог, с Ленечкой что-то!»

— Что такое, что стряслось? — крикнула она, чувствуя, как ноги тяжелеют, наливаются словно бы расплавленным чугуном.

— Скорей... домой! — добежав и еле переводя дух, сбивчиво выговорила Люська. — Там мама... какая-то не своя... Сидит... и молчит...

— Фу, хай тебе грець! Напугала как... Чего она сидит? Что значит — сидит?

— Не знаю. Сидит, усталилась в пол и молчит... Может, она из-за письма...

В расширенных бегом глазах Люски все еще виделись пережитый ею испуг, смятение.

— Что же ты молчала! Какое письмо, где оно?

— Ну дома осталось.

— А что в нем написано?

— Так я же его не читала! Говорю, испугалась и сюда, к тебе...

— Эх, ты! Ну как же так можно?

Ганна повернулась к Салихе, и та по ее встревоженным глазам и побледневшему лицу больше, чем из торопливых сбивчивых слов Люски, поняла, что у подруги случилось какое-то несчастье. Обняв Ганну, она слегка прижала ее к себе и подтолкнула к дороге:

— Жугирип, Ганна-хон! Беги...

— Спасибо, Салиха! Ну, так я побежала. А как поживится бригадир, ты уж объясни ему. Ладно?

— Иди, иди. Скажу.

И они заспешили в аул, подхлестываемые недобрым предчувствием. Впереди, часто оглядываясь, бежала легконогая Люська, а позади — бледная, запыхавшаяся Ганна.

Войдя в дом, Ганна кинулась к столу, на котором лежало письмо. Она взяла его, вытащила из конверта четвертушку зеленоватой бумаги и на одном дыхании пробежала ее глазами. Это был ответ на посланный ими в Москву запрос насчет Ильи. В нем сообщалось, что политрук Илья Дудинский погиб смертью храбрых в одном из боев осенью сорок первого года.

Письмо сразило Ганну. Сдавленно застонав, она стала оседать у Лииных ног...

Надломленная свалившимся на нее горем, Лия стала прямо на глазах. Худенькая от природы, она за последние дни до того истаяла, что платье на ней казалось сшитым для другой женщины. Белокурые, некогда пышные волосы, которыми она гордилась, в одночасье поседели и начали быстро редеть. У маленького рта ее пролегли да так уже и не разгладились две глубокие морщины, а в глазах теперь постоянно виделись боль, тоска и еще — суровость. Обычно общительная, Лия замкнулась в себе, избегала людей. Жизнь семьи, соседей, эвакуированных односельчан, местных колхозников как бы обтекала ее и не волновала. Ей все было немило. Она машинально ела, пила, спала, ходила на работу, почти безотчетно что-то отвечала, когда с ней заговаривали. Даже маленький внучек, в котором она души не чаяла, не мог вывести ее из оцепенения безразличия.

Ганна оправилась как будто быстрее Лии. Во всяком случае, внешне, на людях, она казалась спокойной, уравновешенной и, как до этого, вся пребывала в хлопотах.

Но оставшись наедине, Ганна неизбежно страдала от тоски по мужу, и нередко ночами, чтобы не выдать себя рвущимся из сердца криком, она, крадучись, выходила из мазанки и до самой зорьки недвижимо просиживала на берегу арыка...

Но однажды вечером, недели через полторы после похоронки на Илью, в семью Дудинских вдруг пришла радость. Ее доставил в их дом вернувшийся со станции Ербол Амирбеков. Деликатничая на свой манер, старик, прежде чем открыть дверь мазанки, деланно громко покричал на осла, затем покашлял.

— Лейла! — переступив порог, позвал он голосом, слегка шепелявым от насыбая, заправленного за верхнюю губу. — Держи письмо! Мне кажется, что это хорошее письмо!

— Хорошего мне, видно, уже не дожидаться, — тускло ответила Лия.

— А ты прочитай, потом скажешь. Меня чутье не обманывает.

— Ой, да это же от Даньки! — едва взглянув на письмо, всхлинула Лия. — Ты и в самом деле угадал,

Ербол-бай. Спасибо тебе, большой рахмат! Дай бог и тебе такое счастье!

— Вот! А ты плачешь, глупая женщина. Радовать-ся надо!

Узнав из письма, что Данька эшелоном выехал на родину и теперь уже очень скоро будет в Трехкутной, Лия долго просидела в глубокой задумчивости. Близкие не тревожили ее, не отвлекали. Прихватив с собой Ленку, подались к арыку поиграть Люська с Симой. Ева стирала во дворе. Там же готовила ужин Ганна. Занятые каждой своим делом, обе они не сразу заметили появившуюся в дверях Лию.

— Ганна, Ева! — как и прежде немного шумливо, окликнула она их. — А ну идите сюда! Идите, идите и послушайте, что я вам скажу. Девочки мои, так вы знаете, что я сейчас надумала? Нет? Ай-яй-яй, какие вы несообразительные! Так вот, а надумала я вот что — мы едем домой, в колонию! Хватит нам уже париться в этом ауле! Сколько можно! Все, годи! Сейчас я обойду всех наших трехкутников, покажу им письмо Даньки и скажу, что мы тоже надумали выбраться домой. Может, кто-нибудь из них захочет за компанию поехать с нами. Ну как, девочки, хорошо я надумала? Вот вернусь, и потихонечку начнем собираться!

— Уехать домой, конечно, доброе дело, — невольно охлаждая пыл свекрови, задумчиво и негромко сказала Ганна. — Только мне кажется, что нам не надо так поспешать. Поехать в такую даль — это же не на бабчу сходить, надо хорошо подготовиться. И потом, председатель колхоза, наверное, не захочет отпустить нас вот так сразу.

— Кто не захочет, Деркембаев?! Да я его даже слушать не стану! И вообще никого не стану спрашивать! Я сама знаю, что мне делать! Мой сын там будет мыкаться, ему некому будет стоготовить, постирать, а я в это время должна буду тут сидеть! Нет! — впервые недовольная словами Ганны, вскипела Лия.

— Тетя Лия, ну подумайте сами, — распахнув и без того большие янтарно-коричневые глаза, подала голос и Ева. — Как-то нехорошо получится, если мы уедем вот так, торопливо, да еще без согласия председателя колхоза.

На секунду на исхудавшее лицо Лии легла тень.

— Ну, пусть будет по-вашему, — помолчав, сказа-

ла она. — Утречком я схожу к Деркембаеву и не только скажу ему, что мы на днях уедем, но даже попрошу телегу до станции. А что, разве мы ее не заработали? А если он не захочет дать подводу, то шут с ним, уйдем пешком. Нам не привыкать. Слава богу, ноги нас еще носят. Ну, так я пошла.

Крепко прижимая под мышкой Данькино письмо, на ходу покрываясь косынкой, Лия вышла на дорогу. У старого искривленного карагача, росшего метрах в сотню от их мазанки, она вдруг замялась, снова пошла и опять остановилась, словно бы про себя все что-то еще взвешивая. Но затем, решительно махнув рукой, она уже быстрее пошла к дальнему порядку глиняных кибиток, где жили другие трехкутновцы.

Долгим взглядом проводив свекровь, Ганна какое-то время еще простояла задумчиво у двери, машинально, кусочек за кусочком отковыривая глину стены. И кто знает, о чем думалось и что виделось ей в эти пронизанные закатным светом минуты. Может, перед ее мысленным взором вновь уже стелилась дальняя дорога, на время отрывающая от разных мелких, будничных дел и забот? А возможно, в сердце ее всколыхнулась грусть по тем степным тропкам, которыми они с Ильей когда-то шли на восток и которыми вместе им больше уже никогда не ходить?..

Между тем над селением быстро опускалась душная лилово-сиреневая вечерняя тишина. Желто-зелеными лоскутками обвисли узкие листья тальника у арыка, и пыльной чащей недвижно стоял бурьян на пустыре. Почти невидимый во все уплотняющихся сумерках, плыл над редкими кибитками едучий кизячный дым. Неумолчно трещали вездесущие цикады. Поддразниваемый мальчишками, где-то звучно, обидчиво протрубил ишак. И все это, ставшее таким привычным, отчего-то выжимало у Ганны слезы...

9

Дудинские уже собирались спать, когда к ним неожиданно появился Деркембаев. Увидев председателя колхоза, в столь неурочный час переступившего порог их мазанки, Лия тотчас же догадалась, что до него уже дошел ее разговор с колонистами, и она, заранее неговорчиво поджав губы, ждала, что он скажет.

Деркембаев не спеша снял у входа кебисы* и, слышно ступая, прошел к столу. Кряхтя присев на табурет, уважительно пододвинутый Лией, он, поглаживая реденькую седую бородку, стал молча, неторопливо переводить взгляд слегка прижмуренных глаз с хозяйки дома на Ганну, с нее — на Люську и Симу. Нагнулся и шутливо пощелкал сухими смуглыми пальцами у самого носа Ленки, который приковывался к столу и с любопытством глядел на незнакомого человека. Затем Деркембаев негромко заговорил, почти без акцента:

— Я слышал, Лейла, о несчастье, постигшем вашу семью. Примите мое сочувствие. Понимаю, что ваше горе невосполнимо, но все же убиваться не следует. Бесконечным жоктау, плачем по умершему, ничего уже не вернешь. Что поделаешь, женщины? Такая уж у вас да у нас, стариков, доля — крепиться и терпеть.

Неслышно вздохнув, Деркембаев отвернул полу поношенного чапана, достал из кармана брюк табакерку и, ухватив щепоть насыбая, ловко заправил ее за верхнюю губу.

— Да-а, надо крепиться, — посасывая табак, повторил он.

Сложив на коленях руки, Лия внимательно слушала председателя. Она знала, что у Деркембаева, придавленного заботами о большом хозяйстве, личное горе было ничуть не меньше ее собственного несчастья. Она знала, что старый почтарь Ербол принес ему две похоронки. А совсем недавно Деркембаев проводил на войну и своего последнего, младшего сына Шубара. «Да, — говорила самой себе Лия, — тяжело теперь не только мне. Сейчас, наверное, нет такой семьи, которую бы не задела война. Действительно, что же всем раскисать? Кто же тогда поможет нашим фронтовикам? Да, надо крепиться. Конечно, в этом председатель прав. Но если он начнет меня отговаривать, чтобы я не ехала, то дудки! Тут уж ему не помогут никакие слова. Если я уже что-то надумала, то меня никто и ничто не удержит».

Деркембаев надолго умолк. Семилинейная лампа без стекла, тускло чадившая на столе, кидала на председателя слабый подрагивающий свет, от этого под его опущенными долу глазами и небольшим, слегка приплюснутым носом шевелились густые тени. При взгля-

* Кебисы — кожаные калоши.

де на его лицо могло казаться, будто он чему-то усме-
хается. В действительности Деркембаеву было вовсе не
до улыбок. От жившего по соседству с ним беженца ко-
лониста Абрама Бобрика он уже знал, что Лия Дудин-
ская не только сама со своей семьей собирается поки-
нуть Айна-Куль, но говорила об этом и с другими бе-
женцами-односельчанами. Если она в ближайшие дни
уедет на самом деле, ее примеру могут последовать ос-
тальные эвакуированные. А при нынешнем положении
дел в колхозе этого ни в коем случае нельзя допустить.
Надо во что бы то ни стало отговорить ее от такого на-
мерения, попытаться удержать в ауле хотя бы еще на
какое-то время. За этим он и пришел к Дудинским, к
этому и повел разговор дальше. Но не сразу, а издали.

— Лейла, я слышал, что у вас есть еще один
сын? — спросил он. — Это правда?

— Есть, Уразбай Деркембаевич, — глядя председа-
телю прямо в лицо, ответила Лия. — И сейчас ему уже
наверняка лучше, чем нам.

— Чем же? — оставив без внимания послушавший-
ся в ее голосе вызов, вскинул глаза Деркембаев.

— А тем, что он теперь уже должен быть дома, в
нашем селе. Вот письмо от него пришло. Если хотите,
прочитайте.

— И еще я слышал, — из вежливости подержав
письмо в руках и положив его обратно на стол, так как
неважно читал по-русски, невозмутимо продолжал Дер-
кембаев, — что вы как будто тоже собрались ехать
домой?

— Почему же как будто? Собираюсь. А скажите
мне, кто этого не хочет? По-моему, так на свете нет
такого человека, которого не тянуло бы в родные ме-
ста, — сказала Лия и, почувствовав, что она как бы
оправдывается перед председателем, сама перешла в
наступление. — Да, я решила ехать домой и даже по-
думала о том, чтобы утром пойти к вам и попросить те-
легу до станции. Уразбай Деркембаевич, дадите мне
подводу?

— А если не дам телегу, что тогда?

— Что же, уйдем пешком.

— Ладно, телегу я вам дам. Только в ней ли де-
ло? — поглаживая бородку, задумчиво и, казалось бы,
суховато произнес Деркембаев. — Пешком, Лейла, вы
не пойдете. Как когда-то вас привезли со станций, так
на подводе теперь и отвезут в Терень-Узак. Но я дру-

гое хочу сказать: а не рано ли вы собрались домой?
Скажите, ну что ждет вас там? Мне кажется, что ни-
чего, кроме новых лишений. Там же наверняка все раз-
рушено. А впереди зима, и у вас дети. Подумайте об
этом, Лейла. Я знаю, что теперь нелегко и у нас. И все
же я бы советовал вам эту зиму еще пожить в Айна-
Куле. Тут у вас все-таки есть крыша над головой и...

— Все перетерпим, Уразбай Деркембаевич, — сдер-
жанно улыбаясь, нетерпеливо перебила его Лия. —
Пусть нам будет трудно первое время, ну так это же
дома! А дома, говорят, и стены помогают.

Деркембаев опять поднял на Лию глаза. Она по-
прежнему улыбалась, а взгляд ее, неподвижно сосре-
доченный и глубокий, точно ушедший куда-то вовнутрь,
явно говорил о том, что в своих мыслях эта женщина
сейчас уже очень далеко отсюда.

— Это верно, — был он вынужден согласиться с
Лией. — Я тоже и часа не смог бы прожить без своей
степи. Но давайте с вами поговорим начистоту. Лейла,
вы понимаете, что будет значить для колхоза ваш
отъезд? Ведь за вами, я ничуть в этом не сомневаюсь,
сразу же потянутся и другие эвакуированные. А как
быть нам? С кем убирать выращенный урожай? Об этом
вы подумали? Поэтому прошу вас, останьтесь хотя бы
еще месяца на два. Войдите и в мое положение.

— У нас говорят, что летом и качка прачка, — не-
преклонная в своем намерении, ответила Лия. — Вы же
сами предполагаете, что там все разрушено. Значит,
если мы остаток лета пробудем здесь, то потом, дома,
нам и на самом деле будет уже намного труднее. И
опять же, разве вас устроят два месяца? Нет, Уразбай
Деркембаевич, вы уж не держите на нас зла и отпу-
стите с миром. Мы ведь не гулять едем. Я уверена, что
дома теперь работы — сверх головы. А кто ее за нас
сделает?

— Идя сюда, я надеялся, что уговорю вас повреме-
нить, — поднимаясь и ничем не выказывая своего разо-
чарования, сказал Деркембаев по-прежнему бесстра-
стным негромким голосом. — Жаль, что не сумел.

— Вы уж не обижайтесь, товарищ председатель, —
провожая его до выхода, прикладывая руку к груди,
извиняюще говорила Лия. — Но мы уж не станем ме-
нять свое решение.

— Может, по-своему вы и правы, — уже держась
за ручку двери, раздумчиво промолвил Деркембаев. —

Что ж, поезжайте, аллах с вами. Удержать вас силой я не могу, да и проку от этого будет мало. А за подвой приходите, я распоряжусь. Хош*!

10

И еще одну проблему пришлось решить Лие в этот же день. Правда, она и думать не могла, что ее собственное решение будет таким неожиданным.

Время перевалило уже далеко за полночь, когда, чуть скрипнув, приоткрылась дверь и в мазанку, крадучись, проскользнула Ева. Встревоженная затаившимся больше обычного отсутствием девушки, раздумьями о разговоре с Деркембаевым и о предстоящей дороге, Лия не могла уснуть. Она слышала, как глухо стукнулись об пол скинутые Евой босоножки и как, зачерпнув воды, она жадно, без передышки пила.

— Ева, ты что, с ума сошла? — присев в постели, сердитым шепотом встретила ее Лия. — Ты же знаешь, что мы собрались завтра ехать на станцию, а сама досе где-то гуляешь!

— Тетя Лия, — как можно тише прошлепав к своему топчану и там шурша снимаемым платьем, тоже шепотом ответила Ева. — Знаете, я передумала... Я с вами завтра не поеду.

— Ты соображаешь, что говоришь? — возмущенно вскрикнула Лия и, опасливо покосясь на спящих Ганну и детей, чуть понизила тон. — А ну-ка, иди ко мне! Что значит не поедешь? А что же ты будешь делать? Тут сидеть? Что, в Айна-Куле случилось что-то такое экстренное, что без Евы Светлицкой здесь не обойдутся?

Ева, однако, не стронулась с места и с едва заметной неприязнью сказала:

— Напрасно вы насмехаетесь. Ничего такого не случилось, но только я пока не могу ехать.

— Ну, хорошо, не езжай. Но сказать по-человечески, почему — это ты все-таки можешь?

Ева промолчала. То ли потому, что вообще ни о чем не желала говорить, то ли уж очень тщательно обдумывала, как получше обосновать свой ответ. Во всяком случае, она молчала так долго, что Лие уже начало казаться, будто девушка и вовсе уснула.

— Что же ты молчишь, дочка? — совсем уже обеспокоенная, Лия перебралась к ней на топчан.

* Хош — до свидания, прощайте.

— Я не знаю, как сказать... Но только я не могу теперь ехать, — подвигаясь на постели, совсем не сонно прошептала Ева. В ее голосе внезапно явственно зазвучали слезы.

— Но почему?

— Потому что... Тетя Лия, потому что у меня будет ребенок...

— Что ты говоришь! — всплеснула руками Лия. — Значит, тогда ты все-таки обманула меня.

— Нет, я никогда не обманываю. И тогда сказала правду.

— Когда же это случилось?

— Сегодня...

— Сегодня? Ну, это еще не значит, что ты забеременела.

— Нет, у меня будет ребенок! Я знаю, что говорю. Тетя Лия, только я прошу вас, не ругайте Марику, он не виноват. И вообще, не говорите ему ничего. Я сама так захотела, — и девушка, уткнувшись лицом в колени Лии, заплакала.

Лия на какой-то миг растерялась. Она просто не знала, что ей сказать.

— Ну, хорошо, не буду я ничего говорить твоему Марику, — склоняясь к девушке, поглаживая ее голову и вздрагивающие плечи, спустя минуту стала она ее утешать, успокаивать. — Ну, не плачь... Ну, поспешила ты немного с этим делом, так не убиваться же теперь. Бог с ним, раз такое уже случилось. Если ты и в самом деле забеременела, так что делать. Родишь себе на здоровье, и будем вместе растить ребенка. Только одно я все же не возьму в толк — почему это мешает тебе ехать с нами?

— Ей-богу, ну какая вы, тетя, непонятливая! — сразу перестав плакать, приподнялась Ева. — Марику ведь скоро возьмут на войну, как же я от него уеду!

— Значит, ты хочешь его проводить?

— А как же я могу иначе!

Теперь уже Лия надолго умолкла, мысленно поражаясь тому, как быстро взрослеют дети и как они, зачастую не в пример взрослым, просто и верно разрешают самые сложные жизненные проблемы.

— Да, Ева, выросла ты, — вздохнув, произнесла наконец Лия. — Ладно, останемся пока и мы. Не бросать же тебя одну.

— Ой, тетя Лия, тетя Лия! — Ева бурно обхватила ее, головой прижалась к Лииной груди. — Вы даже не представляете себе, как я вам благодарна!

— Перестань!.. Тише, разбудишь всех! — разжимая руки девушки, только для виду ворчала Лия. — Ох, молодежь, молодежь! Торопитесь раньше батьки забраться в пекло, а тетя Лия разрешай ваши загадки. Ну, спи, спи... Скоро уже светать будет, а нам на работу...

11

На станции Яворное от эшелона с сельхозмашинами и оборудованием, прибывшего из Заволжья, отцепили платформу с двумя стоявшими на ней тракторами, которые сопровождал Данька. Заждавшийся представитель удаленной от станции Привольненской МТС — ей предназначался один из этих тракторов, — пожилой мужчина с лиловым рваным шрамом на рябом шельмоватом лице, возбужденно расхаживал вокруг согнанных с платформы машин, словоохотливо и, как показалось Даньке, слегка заискивающе без умолку сыпал на украинско-русской мешанине:

— Ох и молодец же ты, хлопец! Добрых коняг пригнал, и вовремя! Мы уже ждем свой трактор целую неделю. Как позвонили из райкома, что аж с Волги нам идет подмога, так мы каждый день наведывались в Яворное. Хоть и путь неблизкий. Трактор ведь нужен нам сейчас позарез! Мы теперь и хлеба убираем, и зябь пашем — все, можно сказать, собственным паром.

— Что, на самом деле так туго с техникой? — цепляя к своему колеснику старенькую сеялку, простодушно поинтересовался Данька.

— Хэ! — разведя длинными руками, торчащими из рукавов линейной гимнастерки, дядька на миг даже замер от такого наивного вопроса. — Он еще сомневается! Да ты что, парубок, только вчера на свет народился? Хэ, техника... Да если бы я сейчас не мацал своими руками вот эти трактора, то подумал бы, что мне снится сон. Сказал тоже. Какая уж тут техника! Ее сейчас в каждой МТС столько, что все механизмы можно одним махом спрятать под хвостом у драной шкапы. Не поверишь, у нас на двадцать два колхоза только четыре трактора, один комбайн «Коммунар» ну и с десяток молотарок, лобогреек и сеялок. Плугов трактор-

ных, и тех нет. Все немец проклятый, хай ему гречь, или к себе в Германию утащил, или уничтожил.

— Как же вы работаете?

— Так я про то же толкую, то не работа, а муки. Почти все делается вручную. Вот ты доставил два трактора и, наверное, не совсем еще представляешь себе, какая великая польза от них будет и нашей, и вашей МТС. Ведь если подумать, то сейчас каждая машина дороже золота. Ой, хлопче, если бы можно было, так я бы тем людям, что послали нам вот этот подарок, трижды в ноги бы поклонился. Ей-богу!

— В чем же дело? Ступай на насыпь и кланяйся, — недовольный болтливостью дядьки, Данька, продолжая прикреплять к сеялке несколько легких боронок, сердито покосился в его сторону. — Что вы все заладили: кланяться да кланяться! Люди понимают, что здесь трудно, вот и помогли чем можно было.

— Ну, так и я то же самое говорю. Слухай, хлопец, — перестав восторгаться, мужчина вплотную подошел к Даньке и, хоть вокруг, кроме них, не было ни единой души, вдруг перешел на полусевер: — Давай на радостях пропустим по чарке? У меня и сало есть. А то можно и до моей кумы завернуть. Она тут рядышком живет, в Яворном. Если припозднимся, то у нее и заночуем. А по холодку поедем по домам, а?

— Вы, товарищ, что-то не туда поехали, — насмешливо отказался Данька. — Подпишите мне акт на приемку трактора, только чтоб с печатью, и поезжайте себе хоть до двух кум.

— Вот тебе акт, бери! Только почему ты не хочешь выпить? Лично для меня — этот колесник как бы обнова. А обнову надо обмыть. Так принято.

— А я вовсе не пью. Да и некогда мне. Домой तो роплюсь.

— Что, давно дома не был?

— Без малого три года...

— А-а, да я ж забыл... Ты же из еврейской слободы, из Трехкутной... Не торопись, хлопец. Сейчас там мало радости. Да и ехать тебе далеко. Так что давай подкрепипись на дорогу. За компанию со мной.

— Спасибо! Как-нибудь в другой раз.

— Ну, как знаешь.

Прикрепив наконец боронок, Данька ополоснул в луже руки, взял у дядьки акт приемки-передачи трактора, проверил, действительно ли на нем стоит печать

Привольненской МТС, есть ли нужные подписи, и, спрятав его в карман, завел свой колесник, залез на седелку.

— Ну, все. Я поехал. Будьте здоровы, товарищ! — и не удержался, улыбнулся: — Если что, привет куме!

Вырулив за пристанционные железнодорожные казармы, Данька, чтобы хоть немного сократить путь, покати не наезженным большаком, а запомнившимся ему степным проселком, которым он когда-то впервые ехал из колонии в Яворное. Он спешил, и чем больше удалялся от станции, тем все ниже опускал рычажок газа. Отрывая через выхлопную трубу синие кольца дыма, подпрыгивая на ухабах и рытвинах, поросших муравой и подорожником, трактор крошил и протрачивал шпорами задних колес застаревшую колею.

По обе стороны летника, упираясь в громоздящиеся у горизонта грудастые кипенные облака, широко разметалась одичавшая степь. Прокаливаемая жарким полуденным солнцем, она слегка уже теряла свои яркие летние краски. Смыкаясь, тянулись заросшие бурьяном и стареющим ковылем огромные целики и заброшенные поля. Чертополох и набравшие силу сорняки были так высоки и густы, так угрюмо-дремучи, что местами почти скрывали выбеленно-серые, измочаленные дождями и ветром давнишние, возможно еще довоенного урожая, будылья подсолнухов и кукурузы. Кое-где над пыльными, зеленовато-бурыми зарослями полыни и будяков сиротливо кособочились уцелевшие телеграфные столбы с завитушками оборванных, поржавевших проводов на белых чашечках. Кое-где, словно дозорные, на верхушках столбов сидели вороны. Вспугнутые тараканьем трактора, трусливой рысцой дорогу часто перебегали ожившие, не в меру расплодившиеся суслики и, столбиками замерев у своих норок, долго глядели вслед смраднему чудищу. Их тихий испуганный посвист странно сочетался с жизнерадостным пением купающихся в небе жаворонков.

Но Данька ничего этого не замечал и не слышал. Ему виделась только колония, какой она запомнилась ему в день их эвакуации. И снова, и снова всплывали перед глазами ее широкие улицы, дома с выбеленными зноом крышами, лица близких ему людей.

Данька невольно улыбнулся, когда его не в меру разыгравшееся воображение вылепило до мелочей четкую картину: вот он вырывает из крайнего проулка

в среднюю улицу и, немного проехав по ней, видит у палисадника дядю Мотю. Как всегда, на нем его любимая, вышитая по вороту рубашка, небрежно заправленная в потрепанные будничные штаны, а на ногах — разношенные шлепанцы. Поджидая Даньку, дядя огромной пятерней ерошит свои взлохмаченные седеющие волосы и ехидно улыбается.

— Ну, сморкач, так кто был прав, га? — торжествующе и в то же время снисходительно гудит он над самым Данькиным ухом. — Я же говорил, что все обойдется! Так нет, вы со своей мамой хотели быть умнее всех! Вот и намытарились!

Лицо у дяди будто бы сердитое и от этого багровое. Но глаза прижмуренные, улыбчивые. Он рад, хоть и пытается это скрыть. Он шумно обнимает Даньку и, обернувшись к дому, кричит на всю улицу:

— Рива! Где ты там копаешься? Кидай к чертовой матери все свои дела и беги скорее сюда! Иди посмотри, кто до нас заявился!..

...У Даньки перехватило дыхание, защипало глаза. Он судорожно потер горло, смахнул навернувшиеся слезы.

— Господи, — совсем как набожный старец, шепотом взмолился он, — сделай, чтобы так было на самом деле!

Хоть и медленно, мучительно, но все же трактор километр за километром одолевал дорогу. Время тоже бежало неумолимо, и вот уж незаметно стал подкрадываться вечер. Солнце все ниже скатывалось с линией крутизны, удлиняя на проселке жидковатые тени росших у обочины одиноких кустов дикого терна, будяков, синеголовника и репейника. Над ними кружили шмели, трепетно порхали какие-то поздние летние бабочки. Сомлевшая за долгий день полынь запахла острее, дуковее.

Незадолго до заката у дымчатой кромки горизонта наконец-то четко обрисовались стрельчатые верхушки карлсдорфских тополей. Данька облегченно вздохнул. Теперь и до Трехкутной было уже рукой подать.

На въезде в немецкую колонию, мельком взглянув на ее нетронутые войной каменные дома, белевшие сквозь начавшие уже редеть кусты сирени в палисадниках, Данька круто свернул с дороги и затравившим выгоном погнал трактор прямиком к железнодорожной колее. Теперь от родного села его отделяла уже самая

малость — надо было только спуститься в лог и затем перевалить косогор. Но тут он невольно замешкался. Невдалеке от железнодорожного переезда он увидел коров, тащивших в упряжке плуг. Даже издали было заметно, как от непосильной натуги горбатились их худые спины. «Вот оно что! Выходит, рябой дядька в Яворном не обманывал», — покусывая губу, подумал Данька и вдруг вместо того чтобы ехать дальше, в Трехкутную, непроизвольно крутнул руль. Едва не заваливаясь, подминая колесами опутанный повителем застаревший бурьян, трактор, словно ужаленный конь, резко забрал в сторону.

— Так недолго и скотину загубить, — проговорил он, правя к устало бредущим около упряжки женщинам-плугарям.

Женщин, от солнца и пыли укутавших платками лица, мудрено было распознать, хоть, подъезжая, Данька пытливо вглядывался в них. А вот поле, что они пахали, он вспомнил сразу же. Щедро обогреваемое солнцем, заслоненное косогором от ветров, нередко задувавших из степи, это песчанистое поле издавна отводилось колонистами под бахчу. Данька слышал рассказы пожилых трехкутновцев о том, что до организации в колонии колхоза на бахче, случалось, вспыхивали ожесточенные споры, нередко переходившие в потасовки. Люди препирались между собой, оскорбляли друг друга, пускали в ход кулаки из-за ничтожнейшего клочка земли, якобы отхваченного соседом. А получалось все просто: обронит какой-нибудь колонист семечко у самого края своего участка, вырастет из этого семечка резнolistая плеть, перемахнет через жиденькую межевую бороздку, переплетется на чужой полоске с другими огудинами, а потом поди, разберись, где чей арбуз. И не ладили между собой владельцы крохотных наделов, озлоблялись подчас из-за сущего пустяка. Все эти никчемные распри прекратились, когда пришел конец единоличным хозяйствам.

Данька, бывало, частенько заглядывал на колхозный баштан. Сторожил тут сосед Дудинских Микифор Яхник, и Данька любил приходить к деду послушать байки о его давнишних похождениях в русско-японскую войну, а главное, конечно, чтобы досыта полакомиться пахучей тавричанской дыней-качанкой или припрятанным в шалаше прохладным сочным арбузом.

И вот Данька снова у этого поля. Но оно так изме-

нилось, что пробуждало одни лишь грустные воспоминания. От былой бахчи тут и следа не осталось.казалось, будто это и не пашня вовсе, а многолетняя залежь, клеклая крепь, сплошь затянутая буйной помесью жабрея, татарника, конского щавеля, полыни и других трав. Даже из-под вывернутых пластов земли было видно, как густо и цепко ее прошили корни пырея и бриццы. Потому-то коровы с такой натугой волокли однолемешный плуг.

Плугари остановились, удивленно глядели на заглушенный у межи трактор и на соскочившего с него парня. Женщина, державшая чапиги плуга, выпустила их из рук и, не сводя с подошедшего Даньки широко раскрытых глаз, спросила со смешанным чувством изумления и радости:

— Откуда ты тут взялся, хлопец?

— Издалека, мамаша. Аж с самого Заволжья.

— Ого-го! И куда же ты теперь?

— А никуда. Я уже приехал.

— Правда?! Так ты что, здешний? Из слободы?

— Ага.

— Вот это добре! Значит, теперь и нам продых будет. А то мы замучились с такой пахотой. Больше на себе тягаем плуг, — обрадованно оглянувшись на напарницу, не выпускавшую из рук налыгач, сказала женщина и не то шутя, не то всерьез добавила: — А може, ты прямо сейчас и начнешь пахать?

— Буду, конечно, и пахать. Только не сегодня. Керосин в баке кончается. Вы уж потерпите.

— Если немного, то потерпим, — засмеялась женщина.

Вторая женщина, погоньч, почти утопив в рыхлой теплой почве маленькие загорелые ступни, стояла молча. Она была гораздо моложе своей напарницы и, по всему виду, большая чистюля. Коричневая юбка на ней — без единого пятнышка, старая выцветшая кофточка — в нескольких местах аккуратно заштопана, а кутавший лицо белый платок был так чист, будто взбиваемая копытами коров пыль пролетала мимо женщины.

Данька замечал, что, смуглой рукой машинально теребя распушившийся конец налыгача, она искоса, неотрывно глядела на него. Поворачиваясь в ее сторону, он ловил на себе этот пристальный любопытный взгляд, и ему казалось, что в углах губ женщины, почти скрытых платком, таится усмешка.

— А под что вы поле-то хоть готовите? — спросил Данька.

— Та черт его знает! — неохотно отозвалась пожилая женщина. — Про это тебе надо спросить Ивана Карповича. Он голова колхоза, ему все и знать. А наше дело телячье: скажут пахать — пашем, велют делать что-то другое — будем делать... Да что об этом гутарить! Ты лучше Расскажи о себе. Раз будешь у нас работать трактористом, то должны мы знать, кто ты?

— А что про себя рассказывать? — усмехнулся Данька. — Вам это безынтересно. Вы же видите меня в первый раз.

— А вот и нет! — бросив пушить налыгач, вступила в разговор молодая женщина. Голос у нее оказался глубокий, сочный, приятного мягкого тембра. — Думаешь, если во-он какой вымахал, так тебя и признать нельзя? А я вот узнала. Ты же Данька, тетки Лии Дудинской младший сын? Верно я говорю?

У Даньки как-то сразу потеплело в груди, лицо расплылось в широкой улыбке.

— А вы кто?

— Подумай, — ответно улыбнулась женщина.

— Нет, не припомню.

— В общем-то, верно... Откуда тебе всех помнить. Сколько тебе было, когда война началась? Лет двенадцать-тринадцать?

— Что вы! Мне тогда было почти четырнадцать.

— Ой, как много! — звонко воскликнула женщина и, блеснув на Даньку глазами, в которых прыгали рыжеватые искорки, она вдруг быстро, одним неуловимым движением сбросила платок. — Ну, а теперь вспомнил? Я же Дуся Эйдельман.

Она могла бы и не называть себя, потому что Данька и так сразу же узнал это заборное, круглое, красивое лицо, правда, немного постаревшее. Вспомнил и сильно нахмурившую однажды, связанную с Дусей, историю.

А произошло все весной сорокового года. Десятиклассница Дуся Фокина, красавица, одна из самых способных учениц трехкутновской средней школы, перед Первомайским праздником неожиданно бросила учебу и вышла замуж за Ефрема Эйдельмана. Незадолго до этого Ефрем вернулся с действительной службы в Красной Армии. Он участвовал в финской кампании, был на той войне легко ранен в шею и, возвратившись домой, целыми днями расхаживал по колонии, подробно рас-

сказывая слушавшим его с раскрытыми ртами односельчанам о глубоких северных снегах, сорокаградусных морозах и сосновых лесах, о притаившихся на деревьях снайперах-«кукушках», охотившихся за нашими бойцами, о минах-сюрпризах и о прочих хитростях коварных белофиннов. Чаще всего Ефрема видели в тесном кругу мужиков, любивших, как водится, порассуждать о мировой политике, повспоминать о тех войнах, участниками которых они в свое время были сами, или же сидящим в парикмахерской — этом средоточии всех сельских новостей. Вот поэтому-то трехкутновцев, а особенно досужих женщин, неотступно терзал один-единственный вопрос: где и когда Ефрем с Дусей все-таки успели снюхаться?

Как и все на свете, постепенно улегся и шум, колдобивший вокруг молодых супругов. Это казавшееся необычайным происшествие понемногу стало забываться, оттесненное другими делами и будними заботами. На следующий год, в первый день марта, Дуся родила мальчишку. Жизнь молодых потекла обычным руслом, уже не привлекая к себе внимания и не вызывая кривотолков. А когда началась война, Ефрем одним из первых в Трехкутний ушел на фронт.

И вот эта неожиданная встреча с Дусей. Она-то и стала тем первым человеком, который рассказал ему о трехкутновской трагедии. Правда, многих подробностей она не знала, так как во время оккупации вынуждена была из-за сына Мишки прятаться в Христофоровке у своего дяди Василия, брата матери.

Но и то, что она поведала, страшной своей сутью обрушилось на Даньку черной громадиной безмерного горя...

Сильно поредевшая тополиная роща у верхнего, или, как его называли колонисты, Старого кладбища, — вот что сразу бросилось в глаза Даньке, как только трактор, перевалив через железнодорожную насыпь, стал подыматься из лощины на косогор. Трудно было даже назвать теперь рощей несколько небольших кривоствольных деревьев, убого воткнувших свои верхушки в расцвеченное багровыми мазками предзакатное небо. А поднявшись на самый косогор, Данька не уви-

дел и крыш эмпезовских построек, некогда улыбавшихся солнцу каждым своим ослепительно белым гофрированным листом жести. На месте МТС теперь стояли обрушившиеся закопченные стены...

Громяхая сеялкой и прикрепленными к ней боронками, Данька один за другим проскочил два глухих, буквально захлестнутых высоченным бурьяном проулка, лежавшую почти в сплошных развалинах среднюю улицу и на всей скорости, какую только можно было выжать из его колесника, въехал на площадь. И снова сердце у него застучало быстро и остро, и он стал часто, как при удушье, глотать воздух. Ибо и тут перед ним были сплошные развалины, заросшие метровой лебедой и крапивой, — все, что осталось и от их дома, и от подворья соседей Рабинских, и от сельмага, построенного перед самой войной, и от амбулатории, почты, сапожной мастерской, конторы колхоза...

Заглушив трактор у обвалившейся стены палисадика, Данька, вспугивая припозднившихся кузнечиков, медленно обошел вокруг остатков своего дома, постоял над руинами отцовской кузницы, завернул в сад, пнул носком кирзового сапога несколько уже обомшелых пеньков груш, затем медленно побрел к развалинам сельмага. Там, ногой очистив место, он устало присел на одну из его продолговатых и прохладно-гладких, отличных из цемента ступеней.

Сидя с безвольно опущенными между колен руками, Данька вдруг вспомнил, как за две или три недели до начала войны сапожник Герш Загорский, весельчак и балагур, на этом самом месте устроил нечто вроде импровизированного концерта. В тот день Загорский вернулся из Одессы, с какого-то слета стахановцев и ударников. Не заходя домой — а жил он на самом краю нижней улицы, — Загорский завернул к сельмагу, где, еще не привыкнув к его новизне — просторным торговым залам, желтовато-розовому мозаичному полу и огромным, на весь фасад, стеклянным витринам, — всегда толклись любознательные трехкутновцы. Прямо на широком крыльце расстелив свой выходной пиджак, Герш поставил на него патефон, которым был премирован на слете, поднял крышку, положил на зеленый плюшевый диск одну из привезенных с собой пластинок, покрутил ручку. Из этого небольшого, обтянутого блестящим дерматином и инкрустированного никелем ящика сначала послышался шорох, легкое шипение, а затем — чистый

и звонкий женский голос радостно и задушевно запел о столбах, торопливо побежавших от избы и до избы. Песня была новой, во всяком случае, в колонии ее еще не слышали, но слова ее показались до того близкими и понятными каждому, кто в это время был в сельмаге, словно бы речь в ней шла именно о Трехкутной. Ведь и по ее улицам тоже совсем недавно от дома к дому пошлагали белоногие столбы, принесшие в каждое жилище яркий свет. Эту песню, как и песню о письме, где в каждой строчке только точки, записанную на обратной стороне пластинки, на другой день уже распевала вся колония...

Данька сидел с закрытыми глазами и как бы наяву видел тот далекий солнечный июньский день: и сбежавшихся к сельмагу ребятишек, и вышедших из-за прилавков продавцов, и плутоватое лицо Герша Загорского, крайне довольного своей выдумкой...

Поднявшись и сходя со ступеней, Данька с обстоятельной рассудительностью много испытывавшего человека думал о том, как нелегко будет все это опять восстановить. Трудно будет заново построить и сельмаг, и амбулаторию или десяток-другой хат. Не сразу и, наверное, не все разбегавшиеся колонисты вернутся назад в Трехкутную. Но пройдет год, другой, пятый, и с натугой, с недосыпанием и недоеданием, а село восстановят. Со временем все станет таким, как было, а возможно, еще и лучше. Он подумал, что людям, которые отныне будут жить в колонии, больше уже не придется когда-либо еще рыть противотанковые рвы, скитаться беженцами или быть убитыми в собственном доме. Все ужасное уже наверняка навсегда исчезнет из их жизни...

Снова вернувшись к своему двору, Данька у задней стены дома откатил в сторону небольшую сцементированную глыбу кирпичей, должно быть, вывернутую взрывом из фундамента, и, присев на нее, долго глядел то на сизо-красные обломки голландки с пятнами въевшейся в них сажи, то на тусклые, втолоченные в землю осколки оконного стекла, то на безудержно разросшийся повсюду бурьян.

В эти минуты он ни о чем определенном уже не думал. Он просто сидел и смотрел на развалины. А день потухал. Уже и солнце давно скатилось за Казачью могилу, и багряные лучи его истаяли, и стрекот вездесущих цикад становился плотнее. Улетели и угомони-

лись неизвестно под какой стрехой шумливые воробьи, попрятались гревшиеся на камнях юркие ящерицы. И ползли по земле прохладные синеватые сумерки. Вечер был тихий, не душный. Занявшийся было ветерок покружил по развалинам, пошебуршал бурьяном и, стреканув за околицу, вероятно, улегся на ночь в какой-то глубокой степной балке.

А Данька все сидел, отрешенно уставившись в землю. Вдруг он стремительно поднялся и подошел к тому месту, где когда-то было крыльцо. Опустившись на колени, он стал там быстро выдергивать с корнями заматеревшую лебеду и щерицу, расшвыривать в стороны камни, обломки кирпичей и черепицы, комья слежавшейся глины. Обдирая пальцы, он до тех пор разгребал и расчищал завал, пока из-под него не показался плоский, смахивающий на чечевичный боб, ноздреватый валун. Он вспомнил: мать говорила, что тогда, последней уходя из дому, она под этот камень положила ключ от двери. Даньке ключ был ни к чему, но именно теперь ему отчего-то захотелось отыскать его.

Ключ действительно лежал под камнем, и, взяв его, Данька подумал, что надежды матери не оправдались: ни отец, ни Илья им не воспользовались. Значит, дома им так и не удалось побывать. Не попользовались ключом и посторонние люди. А это означало одно из двух: либо дом был разрушен сразу же, как в Трехкутной появились немцы, либо жившие в нем чужаки прекрасно обходились без ключа.

Ключ был покрыт волгллой ржавчиной, он холодил ладонь, но Данька этого не чувствовал. Наоборот, ему чудилось, будто ключ еще теплый, что мать совсем недавно была здесь, но, куда-то ненадолго отлучаясь, привычно сунула его под камень.

Сзади послышался шорох бурьяна и чьи-то осторожные, крадущиеся шаги. Данька вздрогнул, побледнел, вытер испарину, мгновенно выступившую на лбу. Он быстро обернулся и одновременно разочарованно и оторопело стал подниматься на ноги. Ибо вместо помережившейся матери к нему, по-журавлиному выставляя вперед то одну ногу, то другую, старался незаметно подобраться невысокий худощавый паренек. На густовеснушчатом остроносом лице его сияла такая хитровато-радостная улыбка, что Данька, забыв о всех треволнениях сегодняшнего дня, сам ответно широко заулыбался. И тут-то до него дошло, кто перед ним.

— Фимка Геллер!.. Ты?!

— А кто же еще! Вот черт, а я хотел незаметно подкрасться!..

— Ах ты рыжик!

Обнимая своего школьного друга, Данька тискал его спину, узкие угловатые плечи, выпиравшие из-под старенькой сатиновой рубашки острые лопатки. Он словно бы желал лишний раз удостовериться, что происходящее не сон.

— Фимка, дорогой ты мой! Значит, живой!..

— Пока да, — стараясь высвободиться из Данькиных объятий, посмеивался Фимка. — Только ради бога, отпусти. Немцы меня не загубили, так ты хочешь это сделать? Ну, отпусти! Рад, что силы много, дурулом?

— Рад, ой как рад! — трудно выдохнул Данька и, разжав руки, отпуская Фимку, спросил: — Значит, вы все-таки уехали? Вслед за нами или как?

— Нет, — сразу как-то сник Фимка. — Никуда мы так и не поехали...

— Ничего не понимаю. Подожди, а как же ты?..

Они присели на глыбы кирпича.

— Ты хотел спросить, как я остался жив? — подобрав и тонкими пальцами ломая сухую былку, печальными глазами глядя куда-то в набухающую теменью даль, сказал Фимка. — Просто мне повезло. Конечно, в первую очередь благодаря моей маме, ну и добрым людям тоже. Мама в самый последний момент буквально силком вытолкала меня из дому. А люди — люди все это время ховали меня от полицаев и немцев.

— А как же твоя мама, сестренки?.. — спросил было Данька и осекся, заметив, как у друга, торопливо отвернувшего лицо, по-детски задрожал подбородок.

— Все один... там, — слатывая слезы, справляясь с волнением, выдавил из себя Фимка. — В противотанковом рву. Помнишь, что на косогоре за селом? Вот, вырыли тогда на свою голову... — тяжело вздохнув, он шмыгнул носом, вытер наворачнувшиеся слезы.

Спустя какое-то время, уже успокоившись, Фимка спросил:

— А ты один, что ли? А где ваши?

— Кто где... Мама с Люськой живут в Казахстане, они туда эвакуировались. Я написал им, чтобы тоже возвращались домой. Ну, а про папу с Ильей мы ничего не знаем... Как ушли тогда с дому, так с концом. Да,

Фима, ведь твой отец уходил на фронт вместе с моим. Ты о своем что-нибудь слышал?

— Не-е. Ничего.

— Да... Ну а где ты живешь? Ваш дом уцелел? Знаешь, я так быстро проскочил сюда, что толком даже не разглядел нижний край колонии.

— А-а, мало что осталось. Ведь наш дом был саманный, из вальков. Так от него осталась куча глины, еще меньше чем от вашего дома, — сказал Фимка. — А живу я пока у Дуси Эйдельман. Между прочим, это она сказала мне про тебя. Я собирался сегодня поработать еще и в ночную смену, ну, заглянул домой перекусить, а тут и она заявила с поля. Пришла и с порога крикнула: «Фимка, знаешь, кто приехал? Данька Дудинский!» Я и подумал, что ты поедешь сразу к своему дому, и — сюда. Вот, значит, у нее и живу. Правда, ее хата тоже разбита. Но когда немцы отсюда утекли, она заняла дом Хведька Домиховского. Помнишь такого? Да ты должен помнить его! Был у нас такой жердястый дядька. Он еще конюхом работал во второй бригаде и никогда не давал нам лошадей в ночное. Жил он на той же улице, что и твой дядя, только в самом конце ее.

— А-а, кажется, вспомнил! Это не тот ли злющий мужик, у которого мы из сада таскали яблоки? Он еще как-то заряд соли всадил в зад Додику Гуревичу.

— Во-во! Он самый, — засмеялся Фимка.

— А куда же он делся, что Дуся живет в его доме?

— А черт его знает, сволочугу! Успел сбежать вместе со своей зобастой кралей и всем выводком. Он же тут полицаем был.

— Немцам прислуживал, гадина? Ничего, Фима, придет время — и Хведька Домиховского, и других подлецов из-под земли достанут! Они свое получают.

— Хорошо бы! Дядька Мирон Стаценко, тот, что ховал меня, то же самое говорит. Но мне почему-то плохо верится. На земле найдется столько щелей, что их хватит на всех гадов. Они попрячутся в них, как тараканы, и попробуй найди их потом. Вот я одно не пойму: откуда у нас взялись такие злыдни? Ведь по одной земле ходили, и хлеб один ели, даже воду — и ту черпали из одного колодца. Так почему же среди одной и той же нации есть разные люди? Возьми, к примеру, Мирона Стаценко и Хведька Домиховского. Оба же украинцы, а будто день и ночь. Меня вот два немецких солдата поймали в саду возле Отрадного, но тут же отпустили.

Опять же рассказывают, что немец Рольф Кунерт из Карлсдорфа пришел к Ефиму Шахновскому, они были друзья, и вместе с ним отстреливался от немецких солдат и полицаев, пока не погиб.

— Не знаю, что тебе и сказать. Тут, наверное, дело не в национальности, а в самом человеке.

Они некоторое время помолчали, потом Данька попросил:

— Расскажи, что за люди сейчас в Трехкутной. Из колонистов, кроме тебя и Дуси Эйдельман, есть еще кто-нибудь?

— Есть. Как только прогнали немцев, из Яворного вернулись Капушенко и братья Щелинские. Из Херсона приехала тетка Настя Верба с детьми, а из эвакуации — Шулим Пищик и Петро Боровик. А большинство, конечно, пришлое. Немцы, оказывается, сохранили тут колхоз. Правда, на свой лад. Чтобы было кому работать в этом колхозе, они согнали сюда крестьян из разных мест. Есть даже из Привольного. Немцы заставляли пахать землю, сеять хлеб, а урожай вывозили в Германию. Они и этой весной принудили людей засеять все поля. Думали, что будут тут еще долго хозяйничать. Да вышло не по-ихнему.

— Да, не по-ихнему, — как эхо, повторил Данька. Потом перевел разговор на другое. — Значит, дядька Петро вернулся? Вот это новость! Вот у него я пока и поживу. Сейчас же и поедем.

— Не надо, Данька. Не тревожь старика лишним напоминанием.

— Какое напоминание? О чем ты говоришь?

— Понимаешь, он ведь сейчас один. Жена у него умерла.

— Что, тетка Килина умерла? Когда, где?

— Давно. Еще в сорок первом. Он как-то сказал, что где-то на Урале.

— Отчего?

— Говорит, от тифа.

— Мы же с ними ехали почти до самого Дона. Жаль тетку Килину. Хороший она была человек.

— Почему-то хорошие люди долго не живут, — со взрослой мудростью, вздохнув, изрек Фимка. — А вот такие, как Митька Фурман, пачкают землю до тех пор, пока голова с задом не срастутся. Да, чуть было не забыл! Ведь Ефим Фарбер тоже вернулся. Правда, он скачет теперь на одной ноге, но ничего, везде успевает.

Он опять командует МТС и, как раньше, носится, шумит...

— Вот с ним-то мне надо повидаться прямо сейчас!

— Ничего, завтра с утра тоже не опоздаешь.

— Почему завтра? Он мне нужен сейчас. Фима, где его можно найти? — спросил Данька и, поднявшись, пошел к трактору.

Не отвечая, Фимка пошел за ним. Он подождал, пока Данька завел мотор, затем, вслед за ним забравшись на колесник и присев на крыло, предложил:

— Давай сделаем так: утром ты поедешь в МТС и там найдешь Фарбера. А теперь не торопись туда. Стоит ему только увидеть тебя, и все. Он тут же накинёт на твою шею ярмо, и никакие отговорки не помогут! Так что не спеши. Поедем лучше ко мне. Ты же, наверное, и есть хочешь, да и с дороги устал?

— Ты так приглашаешь, будто сам не в гостях живешь, — усмехнулся Данька. — Конечно, я и голоден как волк, и с ног валяюсь от усталости, но все же неудобно вот так, без спроса, завалиться к чужому человеку в дом.

— Да брось ты! — отмахнулся Фимка. — Что ты, Дусю не знаешь? Она же какой была в школе, такой и осталась. Готова поделиться последним куском хлеба. Нечего раздумывать, поехали!

— Э-э, ладно, все равно уже ночь. Поехали, — согласился Данька.

Наискосок проехав площадь, трактор спустя минуту уже громыхал по проулку, ведущему в среднюю улицу колонии.

13

На исходе был август. Предпоследний день жатвы в трехкутновском колхозе, как и все предыдущие дни, выдался знойным и душным. В прожаренной выси — ни облачка. Лишь у самого горизонта, словно навьюженные бураном сугробы, неподвижно высились сахаристо-белые облака.

Степь исходила зноем. В слитном, душном гуде мешались татакающие скороговорки косилочных ножей, рокот трактора и от натуги осевшие, сильные окрики погоничей и скидальщиков. Копыта лошадей, впряженных в лобогрейки, толкли иссохшую землю, вздымали

клубы едкой и словно бы соленой пыли. Свистели потревоженные суслики, и яростно сверлили воздух ошалевшие от жары оводы и слепни. Их укусы были такие свирепые и болящие, будто уколы раскаленным шилом.

Всю страдную пору трехкутновцы дневали и ночевали в поле. С утра и до поздней ночи на жнивье пестрели согнутые фигуры вязальщиц снопов и почерневшие от загара спины косарей. На уборку вышли все, кто только мог работать. Помимо четырех лобогреек и трактора, выделенных МТС колхозу, колонисты пустили в ход и косы, и серпы.

На прицепе у Данькиного колесника были две косилки. Скидальщиками на них сидели два пожилых мужика: Иван Стаценко — коренастый рябой колхозник со смуглым усатым лицом и бельмом на правом глазе да Яков Сологуб, прозванный так за толстую, оттопыренную нижнюю губу. Пшеничное поле, что они докашивали, было гектаров на восемьдесят, гоны его протянулись почти на целый километр, и, хотя Данька работал с самого утра, они к полудню сделали лишь десяток кругов.

Данька ни разу не останавливал трактор, и Яков Сологуб, метавший валок с передней косилки, к обеду так вымотался, что стал все чаще цеплять зубьями вил рубчатый кожух передаточных шестерен. Из-под широких полей пропылившегося брыля* по его продубленному лицу беспрерывно струился пот. Он копился в глубоких морщинах лба, вокруг глаз и на щеках Сологуба, тек по коричневой жилистой шее и волосатой седой груди, блестел на плечах. Даньке тоже было нестерпимо душно и от солнечного зноя, и от жара перегретого двигателя, он то и дело вытирал пот, разъедающий окаймленные грязными ободками глаза, но все же решил не останавливаться до тех пор, пока мужики сами об этом не попросят. Те долго крепились и все же не выдержали. Первым сдался Сологуб. Дождавшись, когда Данька обернется, он, в одной руке держа короткие вилы, а другой утирая пот с лица, взмолился:

— Данька, годи! Ты что же, бисов сын, решил нас уморить? Прервись трохи, передохнем.

— Дядя Яков, потерпите еще чуть-чуть, — крикнул Данька в ответ, и на лице его, испятанном машинным маслом и пылью, мелькнула лукавая усмешка. — Дотянем во-он до той межи, видите, и перекурим. Я заодно воды залью в радиатор.

* Брыль — вид соломенной шляпы.

Сологуб с тоской глянул на водовозку, колышущуюся в серебристом мареве на краю гона, и, погрозив Даньке мослаковатым кулаком в грязных разводах, незлобно прохрипел:

— Выходит, если бы не вода твоему трактору, ты бы нас еще морил? Ну подожди, паршивец, доберусь я наконец до твоего загравка!

Иван Стаценко, сгребавший с задней лобогрейки, из-за шума не разбирал, о чем кричал Сологуб. Но по ухмылке раз за разом оглядывающегося Даньки догадывался, что уставший напарник костерит парня. Сам Стаценко помалкивал и лишь ежил в усмешке потрескавшиеся, почерневшие от жажды и пыли губы.

По другую сторону полевого шляха солидный еще клин пшеницы дожинали две конные косилки. Они шли с интервалом в три-четыре сажени. Переднюю упряжку погонял Сашко, старший сынишка Насти Вербы. Сашко был проворный, работающий парнишка, но великий выдумщик на всякие шалости. Изредка оглядываясь на бурое, сурово-замкнутое лицо своего скидальщика Петра Боровика, Сашко нет-нет да и щелкнет кнутом присосавшегося к коню овода. Если кончик кнута попадал коню в пах, самое чувствительное место, тот от боли шарахался, лобогрейку резко дергало, а Петра Боровика от неожиданности запрокидывало вбок. Скидальщик на чем свет стоит начинал бранить парнишку. Но к полудню духота до того доконала Боровика, что он и браниться перестал. Но по-прежнему продолжал сгребать и скидывать валок. Казалось, что, зажав отполированный до блеска черенок вил, туда-сюда сновали не его руки, а нечувствительные к усталости темно-бронзовые шатуны.

А Сашко все не унимался. Вот он вновь привстал над сиденьем, воровато покосился на скидальщика и, примерившись, хлестнул по низу живота шедшую праводышловой сытую каурую лошадь. Испуганно всхрапнув, лошадь круто заломила вправо, в некошенный хлеб. Дернулась лобогрейка, и ничего не подозревавший Боровик едва не вылетел с седушки. Терпение скидальщика лопнуло.

— Что ты вытворяешь, бисов сын! — намахиваясь вилами на Сашку, возмущенно крикнул он. — Сколько тебе можно говорить, чтобы ты не пугал коней! А ну остановись и иди отсюда, геть!

Но, снова усаживаясь на свое место, Боровик случайно глянул вбок и обомлел, увидев выколупнувшийся

из земли край черного диска и занесенное над ним потресканное конское копыто со стертой подковой. Матерное слово, готовое было сорваться у Петра с языка, прилипло к гортани. Малиновое от гнева лицо его вмиг посерело, покрылось крупными каплями холодного пота. «Ой, лишенько, то ж мина!» — вонзился в самое сердце буравчик. Губы скидальщика онемели от страха, и все же он через силу крикнул:

— Сашко, прыгай! Быстрее!

Но было уже поздно. Копыто всей тяжестью опустилось на черный диск. Оранжевый сноп огня, почти незаметный при ярком полуденном солнце, всплеснулся из-под лошади.

Пламя, мгновенно лизнувшее стенку несжатого хлеба, колхозники, вероятно, заметили бы нескоро, если бы не взметнувшийся в небо султан земли и черного дыма да не эхо оглушительного взрыва, докатившееся до самых дальних уголков поля. Лишь тогда и там догадались, что стряслась беда.

Ближе других к месту взрыва оказались скидальщик второй конной лобогрейки Шулим Пищик со своим сыном-погонычем, увальнем Семей, а также Данька, Яков Сологуб, Иван Стаценко и несколько женщин, вязавших неподалеку снопы. Они первыми и кинулись оказать помощь пострадавшим да тушить пожар. Между тем языки огня, быстро слившись, уже бушевали огромным пламенем. Трещало зерно, вышелушивавшееся из сухих обгоревших колосьев.

Из разметнувшегося уже на несколько метров огненного вала с диким, каким-то рыдающим ржанием вдруг выскочил уцелевший конь. Он был похож на огромный живой факел. Грива на шее коня и развевающийся хвост горели, казалось, каким-то странным, ослепляющим магнетитовым пламенем. На нем дымились шлея и оборванные болтающиеся постромки. Отбежав от огня, конь, не переставая неистово ржать, закружил на месте, потом повалился на стерню и начал кататься на спине, сильно ударя копытами по земле. Вскоре он трудно поднялся на подламывающиеся ноги и, сначала рысцой, а затем перейдя на бешеный галоп, кинулся напрямую вниз по жнивью к балке и дальше, вдоль нее, к речке.

Кто-то из мужиков, тушивших огонь, сожалеюще обронил:

— Надо бы его изловить. Не добежит до воды, пропадет...

Глядевший вслед ускакавшему коню Иван Стаценко, как эхо, повторил с горечью в голосе:

— Да, пропадет бедолага!.. Ни за что пропадет!.. — и, обернувшись, тараща бельмо, ни с того ни с сего вдруг сердито накричал на покатоплечую, круглолицую молодуху, кидавшую около него в огонь землю сложенными лодочкой ладонями. — Что ты ее гребешь, как та курица!.. Лучше уж сняла с себя юбку и сбивала б огонь!

— И сниму, тебя не испугаюсь! — сверкнув глазами, огрызнувшись распалившаяся молодуха. — Сама знаю, как тушить!

Она и на самом деле начала поспешно дергать и рвать завязку высоко подоткнутой юбки. В сердцах сплюнув, Иван Стаценко перебежал от взъярившейся женщины на другое место и тоже стал ожесточенно насккивать на огонь и топтать его ногами.

Данька, Шулим Пищик, Яков Сологуб и другие подбежавшие колхозники, стремясь пробиться к Петру Боровику и Сашку, яростно сбивали пламя вилами, рубашками, платками.

Со стороны тока наметом скакал на лошади председатель колхоза Требух. Размахивая над головой кепкой, он так кричал из всех сил, словно бы тушившие огонь люди могли его расслышать:

— Снопами-и-и сбивайте пламя-я! Берите из суслонов снопы и сбивайте-е-е!

Прорвавшись наконец через вал огня, Шулим Пищик и Иван Стаценко почти сразу же наткнулись на Петра Боровика. Прикрыв руками розовую лысину, он лежал на боку и тихо постанывал. Из видневшейся в лопнувшей штанине худой незагорелой икры, испещренной множеством синих прожилок, сочилась кровь. Рядом вылялась его наполовину обгоревшая соломенная шляпа.

— Ну что вы стоите, затылки чешете! — следом за мужиками проскочив через уже почти потушенный огонь, спешиваясь, сипло прикрикнул на них Требух. — Хватите его и уносите скорее отсюда!

Пищик и Стаценко за руки и ноги подхватили стонущего Боровика и рысью понесли его в сторонку, к пригнанной водовозке.

— Иван Карпович, — подойдя к Требуху, унимая дрожь помертвевших губ, сказал Данька. — Глядите, вон Сашко Верба лежит.

— Где? — как-то весь вскинулся председатель.

— Вон там, по ту сторону лобогрейки.

— Что же ты досе стоишь? — снизу вверх свирепо взглянув на Даньку, крикнул мелкорослый Требух. — Ладно, давай вместе понесем его!

У Даньки, то ли от волнения, то ли от слез, готовых вот-вот навернуться на глаза, в нервном тике задержалась щека. Не мигая, он мрачно поглядел на председателя:

— Не шумите! Это уже ни к чему...

— Что, убило?

— Да. Видно, сразу.

Они обошли опрокинутую лобогрейку с задраным вверх погнутым косоногом и замерли у большой, еще осыпающейся воронки. Возле нее лежала убитая каурая лошадь. Сухая голова коня с желтым оскалом крупных, будто каменных зубов была запрокинута. Задние ноги слегка присыпаны землей, прошитой обрывками уже теряющих влажный блеск корневищ, хвост опален. На истертой подкове вывернутой передней ноги искрился солнечный зайчик...

У мокрого крупа коня, скрючившись маленьким телом, словно бы прикорнул Сашко. Под страдальчески взметнувшимися выгоревшими на солнце бровями мальчишки тускло светились полусмеженные глаза. На припухлой, уже становящейся блекло-желтой щеке его засохла цевочка крови.

Когда Требух и Данька бережно подняли Сашку, чтобы снести на подогнанную кем-то подводку, подбежавшие люди в ужасе замерли — у мальчишки был разворочен весь правый бок.

В толпе колхозников, сгрудившихся вокруг телеги с лежащим Сашко, не сразу заметили юркий запыленный «виллис», тормознувший от нее в каких-нибудь десяти шагах. Люди начали оглядываться на машину лишь после того, как шофер, выбираясь из кабины, вроде бы невзначай сильно надавил локтем на сигнал. Затем, перенеся длинные ноги через низкий борт «виллиса», прыгнул на землю секретарь райкома партии Удовиченко. Одетый в полувоенного покроя френч и защитного цвета галифе, секретарь, как и несколько лет назад, был все такой же стройный, поджарый и подвижный. Но время не прошло бесследно и для Удовиченко. У него теперь густо серебрились аккуратно подстриженные виски, а две глубокие морщины пропахали аскетические щеки от мочек ушей до самого подбородка.

На ходу здороваясь с расступающимися колхозниками, Удовиченко подошел к стоящему у телеги Требуху. Увидев Сашку, до лица уже накрытого чистым мешком, он негромко спросил у председателя колхоза:

— Как это случилось?

— Мина, Афанасий Терентьевич.

— Опять эти проклятые немецкие мины... В нашем районе уже четвертый случай за один только месяц, — тихо промолвил Удовиченко. Лицо его заметно посуровело.

Секретарь райкома уже несколько дней мотался по колхозам. Он был утомлен дорогой, зноем, навалившимися на него бесчисленными хлопотами и заботами. А тут еще эти вот несчастья, отголоски отгремевших здесь весною кровопролитных боев.

Не все было благополучно, особенно с хлебосдачей, и в трехкутновском колхозе. По этому поводу Удовиченко и заехал объяснить с Требухом. Но после случившегося секретарь не мог, не хотел говорить о хозяйственных делах.

— Ты вот что, Иван Карпович, — направляясь к машине, говорил он идущему рядом Требуху. — Парнишку повезете в село, ты тоже поезжай туда. Побудь там с его родителями, не оставляй их одних. А жатву пока прекрати и убери с поля всех людей. Я еду в Батаншево и немедленно подошлю саперов. Пусть они тут поработают.

— Афанасий Терентьевич, так время же уйдет! Жалко.

— В первую очередь надо беречь людей, а время наверстаешь. Переключи всех пока на ток или найди им другое дело. Ну, будь! Через денек я загляну к тебе.

Вскоре после того, как Удовиченко уехал и все колхозники ушли на ток, Требух, вслед за телегой с Сашком, не спеша пылил в колонию. Размеренно покачиваясь в седле, он думал о том, что для крестьянина поле — как воздух. Сколько бы им ни дышал, не надышишься. Оно для земледельца — и печаль, и отрада. В поле вся его жизнь, в нем — и смерть...

После долгого, почти трехлетнего кошмара фашистской оккупации Трехкутная постепенно налаживала мирную жизнь. Понемногу, чаще всего вечерами да в

редкие ненастные дни, когда в поле нельзя было работать, колонисты расчищали завалы, ремонтировали дома и хозяйственные постройки. К осени к редким уцелевшим домам села прибавилось уже и несколько хат, свежо серевших восстановленными стенами. Оделись камышовыми крышами мастерские МТС, зерновой склад и один колхозный коровник. Начали колонисты потихоньку отстраивать почту и школу.

Трудно приходилось трехкутновцам: полевые работы отнимали у них почти все время и силы. Но с этим куда бы ни шло. Хуже было с другим — со строительным материалом. Не было гвоздей, досок, цемента, извести, оконного стекла. Однако люди упорно делали свое дело. В ту пору село походило на человека, выздоравливающего после затянувшейся тяжелой болезни. Поднявшись, такой человек не совсем еще уверенно переставляет ноги, ему не совсем послушны руки и зачастую у него кружится голова. Но ум его уже прояснился, час от часу наливаются животворной силой мышцы и все крепче становится весь организм.

В течение второй половины лета и всю осень коренные колонисты стали помаленьку возвращаться из эвакуации в Трехкутную. Из далекой Средней Азии, откуда-то из-под города Намангана, сразу большой группой заявили с семьями Бася Гурвич, Евсей Пассик, Ярина Стеньгач, Ханна Славина и Айзик Шор. Спустя несколько дней с не менее далекого Алтая приехали с детишками Генрих Коршун, Таня Шустер и Белла Мазанник. Затем, через две недели, вернулись из Оренбурга Марфа Костюченко, Ефим Клоц, Сима Клейнер, Лоба Шульман.

Как-то под вечер несколько трехкутновских мальчишек гнали домой с попаса телят. Небо заволокло тучами, сеял мелкий дождик. На старом, Нижнем кладбище надрывно кричали галки. За разговором мальчишки вдруг увидели на блестящей от дождя дороге обоз, вывернувшийся из-за Ногайской могилы. В гору груженные телеги поднимались медленно. По всему было видно, что обоз двигался издалека: и кони, и две коровы, привязанные к телегам, и шедшие сбоку люди брели неспешно, устало.

— Пацаны, побежали, а? Глянем, что то за люди. Може, цыгане? — предположил выделявшийся ростом среди ребят черноволосый мальчишка.

— Не-е, это не цыгане. Те ездят в крытых возках, —

осведомленно возразил другой мальчишка, белоголовый, с щербинкой в верхних зубах.

— Все равно интересно. Побежали, а?

— А они как же? — переводя круглые серые глазенки с обоза на бредущих кучно мокрых телят, босыми грязными пятками поочередно почесывая ноги, спросил самый маленький, лет шести мальчик.

— Нехай они еще попасутся.

— Ага, а если они в плавни убредут?

— Заладил! Ну и пусть убредут! Их там что, волки слопают? Тогда карауль, раз боишься. А мы побежали.

— Не-е, — передумал малец. — Тогда и я с вами.

— Ну, айда!

Рассыпавшись стайкой, скользя по мокрой траве, мальчишки шумно скатились с косогора наперерез обозу. Вскоре они любопытной группкой уже стояли у дороги. Первой с ними поравнялась широкая старая арба. Шедший сбоку приморенных лошадей коренастый сивоусый дядька в старых сапогах придержал шаг. Бросив вожжи жене, сидевшей в передке с накрытой от дождя головой, он подошел к детям. Дядька вытер ладонью мокрые щеки и, прихватив языком кончик уса, с минуту жмурил на них усталые глаза, затем спросил:

— Хлопчики, вы случайно не из колонии?

— Оттуда.

— А чьи вы? Ну вот ты, к примеру, чей? — дядька указал прокуренным пальцем на выделявшегося ростом черноволосого мальчишку.

— Я? — переспросил тот. — Я Рувка Левин.

— Какого Левина? Якова?

— Ага.

— Ася, ты слышала, что он сказал? — взволнованно-удивленно повернувшись к жене, молча глядевшей на них из-под приподнятого края мешка, каким-то плачущим баском произнес дядька. — Он говорит, что сын Якова Левина! Хе, ты только посмотри, как он попрос! Давно ли титьку сосал, и вот на тебе — уже человек! Ну, а ты чей?

— А я Васька Верба, — улыбаясь румяным ртом, бойко ответил сероглазый мальчишка, опасавшийся оставить без присмотра телят.

— Уж не Насти ли Вербы? Знаем мы твою мамку. Ты на нее похож. Такой же русоволосый и румяный. Ай-яй-яй! — покачивая головой, не переставал удивляться дядька. — Смотри только, как они все, тыфу-

тьфу, не сглазить бы, выросли! Как на опаре! Ну, а меня кто-нибудь из вас помнит?

— Не-е, — подумав, помявшись, вразнобой ответили ребята.

— Ну да, — сожалеюще промолвил дядька. — Откуда вам помнить старика Айзика Твердовского? Когда мы бежали из колонии, то вы все еще под стол пешком ходили. Но ничего, еще познакомимся.

Айзик Твердовский подошел к арбе, взяв коней за узду, причмокнул языком и, клонясь вперед корпусом, словно бы сам тоже впрягаясь в упряжку, повел их дальше в гору. За ним, еще на шести телегах, двинулись семьи других возвращающихся домой трехкутновцев. Мальчишки молча пропустили их мимо и потом глядели им вслед так долго, пока крайняя подвода, запряженная крупными, но сильно отощавшими быками, завернув за ползущий с косогора терновник, не скрылась с глаз.

В середине августа в колонию как-то тихо, неприметно появился Исая Заславский. Трехкутновцы жили трудно, суетливо. Они день и ночь надрывались на работе. Им некогда было перевести дух, оглянуться вокруг. Но приезд Исая взбудоражил всех старых колонистов. Ведь он был из той, первой большой группы трехкутновцев, в июне сорок первого ушедшей на фронт. Никто из тех односельчан до сих пор не давал о себе знать, и неудивительно, что в первый же день у Исая, нашедшего временный приют у Насти Вербы, перебивало много народу.

Исая пришел из госпиталя, он был желт, изможден, на впалых щеках его инеем серебрилась отросшая щетина. Правда, глаза его, большие, с выпуклыми шафранными яблоками, поблескивали неистребимым, слегка удивленным огоньком радости. Но людям, помнившим прежнего Исая — шустрого, гордого на выдумки, — плохо верилось в его улыбку: теплую и удивленно сияющую, как у заново родившегося. Колонистам казалось, что какая-то страшная хворь сидит в этом молодом еще мужике и, как ржа железо, день и ночь точит его изнутри. Ко всему еще Исая стал заикаться, и, когда он волновался, его совершенно невозможно было понять. От него-то, единственного уцелевшего во время бомбежки эшелона у станции Вознесенск, стала наконец известна судьба Наума Дудинского, Геллера, Шустера и других ехавших на фронт трехкутновцев.

Да, колонисты понемногу возвращались домой, подключались к полевым и восстановительным работам. И лишь небольшая часть эвакуированных трехкутновцев, в их числе и Лия Дудинская, все еще никак не могли прибиться к родному селу. Они приехали лишь в начале сентября, а недели за полторы до этого Данька, с помощью Фимки Геллера, вдруг начал спешно приводить в порядок подраббитый и запущенный дом своего дяди Моти. Вскоре, слегка подремонтировав одну комнату, он перешел туда жить. Бригадир своей тракторной бригады Алексею Юшину, знавшему, что Дуся Эйдельман обещала приютить на время всех Дудинских, Данька, каждый раз отпрашиваясь в колонию, так объяснял свое решение:

— Все верно, Дуся меня не гонит. Но жить-то там всем будет неспособно, очень тесно. Понимаете? Ведь с мамой и сестренкой приедут еще и две дочери нашего бывшего председателя колхоза. Что же, по-вашему, Дусе нужен такой кагал?

При случае он, нехотя и досадливо, то же самое говорил и другим излишне любопытствующим односельчанам. В действительности же все обстояло иначе.

До того как начать ремонт дядинного дома, Данька появлялся в селе от случая к случаю. На это у него просто не было времени. На его колесник да на «Универсал» второго механизатора Николая Демиденко, составлявших в ту пору все наличие тракторного парка трехкутновской бригады, пришлась, можно сказать, львиная доля полевых работ колхоза. Что только Данька и Николай не переделали за те два неполных месяца конца лета и начала осени! Убирали хлеб, косили подсолнухи и горох, перепаживали пары и поднимали зябь, сеяли озимые. Конечно, все это не в таких размерах, как до войны, но все-таки на больших площадях. Кроме того, они несколько раз — обычно ночами — ездили на станцию Яворное за прибывшим для МТС оборудованием, механизмами и строительными материалами. И хоть самые отдаленные поля колхоза лежали всего лишь в пяти-шести километрах от колонии и добежать туда было делом какого-нибудь часа, Даньке это редко удавалось. Отработав день-другой, а то и трое суток подряд, он поэтому при первой же возможности падал в подвернувшуюся копешку соломы и засыпал мертвецким сном, чтобы уже через пару часов снова усесться на жесткий стульчик трактора. Для Дань-

ки и Николая передышки в работе стали подлиннее лишь тогда, когда они немного поднатаскали управлять тракторами своих помощников, прицепщиков. Только после этого Юшин стал время от времени, и то по одному, отпускать их на ночь в село.

Как-то, передав трактор своему прицепщику Евсею Пассику, мужику довольно уже пожилому, поняливному и расторопному, Данька отправился в колонию. Держа узелок с нехитрыми пожитками: изопревшую от пота рубашку, грязное полотенце да флягу из-под воды — он шел в Трехкутную сперва напрямик через степь. Но затем, надумав искупаться, он на одном из развилков полевой дороги круто свернул к широкой балке и давнишней, утоптанной скотиной тропкой пошагал к реке. «Конечно, скопившуюся на мне грязь лучше всего бы соскрести мочалкой, мылом да горячей водой», — думал Данька. Но это было несбыточно. Ибо если с горячей водой было еще так-сяк, ее можно нагреть, то с мылом обстояло плохо. Во всей колонии днем с огнем было не сыскать даже обмылка.

Данька вспомнил, как однажды, таким же вот теплым вечером, Дуся вдруг стала помогать ему мыться. В тот раз, как только он появился с поля, она в большой оцинкованной лохани быстро согрела на плите воду и, выпроводив на улицу Фимку с сынишкой, пошучивая при этом, что они только путаются под ногами, принялась за Даньку. Сначала заставив его скинуть рубашку, а затем раздеться до трусов, она, посмеиваясь, как малому ребенку, помыла ему голову какой-то помесяю золы с жиром, после стала жесткой ворсистой тряпкой крепко тереть спину, грудь, руки.

От этого купания он тогда конфузливо морщился и, как вареный рак, не переставая краснел. Он несколько раз даже порывался вывернуться из ее рук, но Дуся, улыбаясь всем своим распалившимся лицом, как-то по-домашнему поцыкивала на него, и он невольно смирялся. Все бы ничего, но в какой-то миг Данька всем своим существом ощутил происшедшую в Дусе перемену. Поплещивая водою, она все еще терла ему спину и грудь, но теплые сильные руки ее, вдруг напрягшись, стали подрагивать и срываться, смешок стал нервным, беспокойным, дыхание прерывистым. Эта-то взбужденность Дуси как-то странно начала тревожить и его.

Данька вспомнил, как он тогда очень резко, даже грубо высвободился из Дусиных рук и, схватив приго-

товленное полотенце, быстро обтерся. Одеваясь, он старался не глядеть на нее. А она, наоборот, заговаривала с ним, все так же шутила и посмеивалась, будто ровным счетом ничего не произошло. Но, случайно встретившись с поигрывающим взглядом ее прищуренных глаз, увидев блуждавшую на чувственных Дусиных губах затаенную улыбку, он стремглав скрылся в комнатушке, где они с Фимкой жили.

После того вечера, чувствуя себя в Дусином присутствии очень скованно, смущаясь от каждого ее слова и взгляда, он стал бывать дома еще реже.

...Неторопливо шагая к реке, Данька теперь петлял в тенетах лезших в голову разных мыслей. Но о чем бы он ни размышлял: то ли о матери и Люське, то ли о работе и о скором уже уходе в армию, раздумья его, будто запряженная в ворот лошадь, почему то неизменно возвращались к Дусе, к ее ставшему странным отношению к нему. А еще — о том, как неумовимо быстро летит время и как оно, это самое время, меняет жизнь, людей, взаимоотношения между ними. Казалось бы, еще совсем недавно он убирал хлеба в далеком Заволжье и думать не думал о какой-то там Дусе Эйдельман. И вот он не только уже около двух месяцев живет в родном селе, но даже успел скосить почти половину хлебов в своем колхозе. Или взять, к примеру, те же поля. Всего лишь две недели назад они до поздней ночи полнились натужным рокотом трактора и скороговоркой лобогреечных косоногов, хриповатыми окриками погоничей, гомоном целиком подчиненного ненасытной молотбе колхозного тока — словом, были насыщены разногласицей звуков и шумов страды. Временами ему даже начинало казаться, что этому напряженному ритму, этой лихорадочной и вместе с тем счастливой гонке за хлеб не будет конца. И вот они, те же самые поля и гумна, только уже умиротворенные, погрузившиеся как бы в долгожданное отдохновение. Местами, вперемежку с сизо-зелеными клиньями уже взошедшей дружно озими, чернели запашки позднего августовского и сентябрьского пара и зяби. Гуртившиеся по яру кусты терна и ивняка хоть и хранили еще блеклую зелень листьев, но на их нижних ветках она уже заметно поредела. Коснулась осень и всей степи в целом. Степь колыхалась пожухлым уже ковылем и сизой полынью, разубралась засыхающими на корню шарами перекатипоя, была напоена какой-то дремой, чистой свежестью,

прояснившейся далью горизонта, и как бы грустной песней плыла над ней глубокая тишина.

Когда Данька спустился к Ингулу, и степь, и река, и опрокинувшееся в воду небо уже погружались в мягкую, бархатную наволочь надвигающейся ночи. Скинув одежду, покрываясь гусиными пупырышками, он ногою попробовал воду. Она была прохладной, но терпимой. Чуть остывнув, Данька, ухая и ежась от знобкой дрожи, тотчас же объявившей все тело, торопливо забрел в реку по грудь и, поколебавшись еще какое-то мгновение, шумно, спугнув с ближних веток тальника отдыхавшую стайку камышовок, плюхнулся в воду. Разорвав тишину, гулкий шлепок долго катился по тусклой глади реки, пока не завяз в густой осоке на другом берегу. Вынырнув, звучно сплевывая и отфыркиваясь, Данька большими саженками покругил на середине реки, затем повернулся на спину и, подгребая руками, несколько минут просто лежал на поверхности, отдыхал.

Угольно-черная темень уже окутала улицы, когда Данька вошел в колонию. От развалин бывшего клуба доносилась песня, сопровождаемая треньканьем балайки, слышалось повизгивание девчат и грубоватый смех парней. Однако редко уже в какой хате горел огонь. Хотя было не так уж и поздно, но, устав за долгий трудный день, люди то ли отдыхали, то ли, экономя дорогой керосин, просто сумерничали.

Синюшный глянец разлился и по окошкам Дусино дома. «Что-то рановато улеглась наша хозяйшкa», — подумал Данька, нашаривая в темных сенях ручку двери на кухню.

Но Дуся не спала.

— Кто там? — послышался из спальни ее бодрствующий голос. — Фима, ты? Все никак не привыкнешь до ручки?

— Нет, это я, — встав у порога, вдыхая теплые запахи жилья, негромко отозвался Данька.

— Во-он кто заявился! — со скрытой радостью, ласково протянула Дуся, и слышно было, как, торопливо поднимаясь с постели, она заскрипела кроватью. — Что так поздно? И голодный, должно? Сейчас покормлю, оденусь только.

— Не беспокойся, не надо. Дуся, не слышала, мои еще не заявили?

— Нет покуда, — шурша одеждой, отвечала она. — Заявись они, неужели я бы не дала тебе знать? Сразу

же! Да ты не переживай. Приедут, куда они денутся. Не на войне же.

— Скорей бы уж.

— Соскучился?

— А ты как думаешь?

Вскоре, раздув на загнетке огонь, Дуся засветила от него «лампу» — сплюснутую сверху гильзу зенитного патрона — отчего-то прозванную «катюшей». Красноватый чадающий язычок огня слабо высветил кухню, зашевелил на стенах ее изломанные тени.

— Проходи. Чего, как гость, встал у порога, — подвигая «лампу» на середину стола, сказала Дуся и, мельком взглянув на Даньку, спросила: — Мыться будешь? В печи стоит чугуны воды.

— Спасибо! Я прямо с речки. Даже волос еще не высох, — опустил глаза, покрываясь жарким румянцем, ответил Данька.

— Тю-ю, скаженный! Какое же теперь купание в речке? Холодной водой да еще без мыла разве смоешь грязюку? — простодушно удивилась она.

— Ничего, сойдет.

— Да ты хоть голову вымой горячей водой!

— Не, не надо.

— Ну, как знаешь, — суховато промолвила она и снова, теперь уже испытующе, взглянула ему в лицо. — А вечером будешь или тоже скажешь, что сыт?

— Нет, не скажу. Отказываться от еды грешно в любом случае. Тем более мне, голодному, что тот волк. Поем, конечно, если покормишь, — улыбнулся Данька.

— Тогда садись. Нечего подпирать притолоку.

Данька кинул в угол свой узелок, присел к столу и, поглаживая все еще мокрые волосы, обвел взглядом кухню.

— А Фимка, я понял, опять в мастерских?

— Все там, — Дуся безнадежно махнула рукой. — Он прямо днюет и ночует в этой мастерской! Я ему говорю, мол, сходил бы когда до клуба, а то ведь девчата скучают одни. Так где там! Все чего-то возится, все спешит. А когда и погулять, как не сейчас? Да что говорить, все вы теперь какие-то оглашенные!

— Ничего не поделаешь — надо! Сейчас каждая пара рук при деле.

— Господи, да какие там руки! Специальности-то у него никакой! Фимка все больше на побегушках: то подай да это принеси. Ну, я еще понимаю — днем надо

работать, что-нибудь да делать. А чего его там ночами-то держать? А все этот Фарбер ненасытный! Не, так нельзя. Работа работой, но иногда надо и до клуба сходить. Надо погулять, пока молод.

— Еще нагуляется. А что до побегушек, то и так можно делу научиться. Было бы желание. Я ведь тоже с прицепа да с этих самых побегушек начинал. Только я другое хочу сказать. Что-то ты, Дуся, ворчлива становишься. Бурчишь и бурчишь, ну прямо как бабка Потылиха.

— Правда? — на миг представив себя на месте Потылихи, жердястой, худой и злой на язык старухи, любившей затевать свары по любому поводу и без него, расхохоталась Дуся. — Ну, пусть и ворчу иногда, так ты бы промолчал. Нет, он режет прямо в глаза. Эх ты, простота!

Шлепая босыми ногами по полу, Дуся расторопно собирала ужин. Ладонью подперев щеку, Данька искоса наблюдал за ней. Дуся была без кофты, в слегка расклешенной будничной юбке, надетой поверх холстинной ночной сорочки. При каждом шаге широкий подол мягко обвивался вокруг ее полных загорелых икр. Стекая с гладкой красивой шеи, по статной спине ее катался тугий жгут темно-каштановых волос. Глядя на жаркую смуглоту ее налитых плеч, на обтянутую сорочкой высокую грудь, Данька, уже не впервые ощущая какое-то смутное волнение, думал: «Странное дело, ведь я уже не мальчик и никакая ей не родня, чтобы меня не стесняться. А она без смущения расхаживает при мне чуть ли не телешом».

С едой в ту осень все еще было туго, но Дуся поставилась хоть как-то покормить его. Поставив перед Данькой глиняную чашку с жиденькой затиркой, слегка приправленной молоком, да положив пару куцых, последней завязи огурцов с тонким ломтем ржаного хлеба, Дуся, чтоб не терять даром время, занялась починкой. Достав иголку и моточек серых ниток, надерганных из обрывка брезентовой постромки, она, пристроившись по другую сторону стола, принялась латать постиранные штанишки сына.

— Что же ты глаза себе портишь? — сказал Данька и поближе пододвинул к ней «лампу». — Так же виднее. А я мимо рта не пронесу, не бойся.

— А кто тебя знает, — блеснув глазами, улыбнулась она. — Как раз в ухо еще и попадешь.

Они помолчали. Тепло, растекавшееся от отопленной плиты, чуть колебало синеватый язычок «катуши», сплетало над ней цевку черного коптящего дыма. Из спальни слышалось посапывание набегавшего за день Дусяного сынишки. Изредка то ли от печки, то ли от порога размеренно пиликал сверчок. Думая о всякой всячине, Данька старательно черпал деревянной ложкой затирку.

Дуся первая нарушила затянувшуюся паузу. Быстро наложив заплату на штанишки, она, туго скатывая и раскатывая их на коленях, сказала, не глядя на него:

— Даня, поделился бы чем-нибудь новеньким. Что молчишь?

— А о чем рассказывать? В степи не очень-то разживешься новостями.

— Ну почему, ты же иногда едешь на станцию.

— Что же я там, новости собираю?

— Ну, рассказал бы тогда, как тебе работается. Озими много посеяли?

Встряхнув Мишкины штанишки, Дуся снова принялась их скатывать. На Даньку она по-прежнему не глядела, да и голос ее казался полусонным, лишенным какого бы то ни было интереса.

— Будто ты без меня не знаешь, как нам работается и сколько уже посеяно, — отодвигая опорожненную чашку, Данька поднялся, слегка потянулся. — Спасибо, Дуся, за ужин! Наелся.

— На здоровьице! Ну, може, и знаю... Но что-то же надо говорить. А то сидим, как два немтыря.

Данька еще потянулся, расправил плечи и ничего не сказал. Поднялась и Дуся. Проворно убрав со стола, она подошла к нему:

— Ну, если тебе не о чем говорить, тогда будем спать. Пойду постелю тебе.

— Не надо, я сам. А вообще-то, Дуся, я сегодня посплю в горнице, прямо на полу. Ты так нажарила плитку, что в нашей комнате задохнешься.

— Так уж и нажарила. Протопила немного, чтоб не пахло сыростью. Ну, ты кури, а я все-таки сама постелю.

Пока Дуся стлала ему постель, Данька, усевшись на пороге кухни, со вкусом, неторопливо курил. Напротив, в дверном проеме в горницу, он видел Дусю, ее нагибающийся к постели гибкий стан, то и дело высоко оголяющиеся стройные ноги, и снова волнующая дрожь про-

бежала по его телу. Но через несколько минут, разделившись и едва коснувшись головой подушки, он уже крепко спал.

Пробудился он оттого, что почувствовал кого-то около себя. Он не успел толком еще что-либо сообразить, лишь чуть пошевелился, как теплая мягкая ладонь легла ему на губы и приглушенный голос Дуси поспешно прошептал:

— Тс-с... Это я...

В первый миг Данька отодвинулся на край постели. И все равно он так дрожал, что вызванивали зубы.

— Чего ты трясешься? — придвинувшись, горячим шепотом спросила Дуся.

— Так... Я не...

— Испугался?

— Я! Не-ет... Как-то... Фимка пришел? — покрываясь испариной, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, Данька кое-как промямлил первое пришедшее на ум.

— Никого нет. Я на всякий случай и дверь заперла, — выдохнула Дуся.

Спустя полчаса Дуся умиротворенно заснула на его руке, а Данька долго еще глядел на неяркий свет народившегося месяца, косо вызеленившего подоконник и улегшегося на полу удлиненным лоскутом...

15

В один из прозрачных, пронизанных нежарким ласковым солнцем сентябрьских дней, проделав пешком весь нелегкий двадцатикилометровый путь от станции Яворное, в колонию наконец вернулась Лия Дудинская с детьми. Вместе с ней заявилились Абрам Бобрик и последние семьи из эвакуировавшихся трехкутновцев.

Данька в тот день был в селе. Зябь пахал его помощник Евсей Пассик, а он, в очередной раз отпросившись у бригадира, спешно приводил в порядок дядин дом, доканчивал внутреннюю побелку стен. Помогала ему Дуся. Размашисто вода самодельной рогожной щеткой по стене кухни, Данька, стоя на сложенной из обломков кирпичей пирамидке, неторопливо рассуждал:

— Хорошо бы после побелки заделать еще сегодня и доливку. Тогда внутри был бы полный порядок. А крышу я бы уж долатал в другой раз. Камышом я запасаю.

— Не стони! — весело успокаивала из горницы Дуся. — До вечера еще далеко, все успеем сделать. Вот кончу тут белить и сразу же примусь за пол.

— Даня, — спустя минуту зайдя на кухню, она вроде бы ненароком, мимолетно прижалась к нему. — Видишь, у тебя ведь сплошные полосы получаются. Не красиво. Поторопился ты, не дал куге как следует распариться, вот и получились не щетки, а черт те что — грабли какие-то.

— Ничего. Подсохнет, и все будет как надо.

— Это ты так говоришь, а я знаю другое. А-а, да что с тобой толковать! Вам, мужикам, абы как сляпать — и с плеч долой.

— Дуся, ты опять ворчишь?

— Ну в самом деле, что это за побелка? Срамота!

— Ладно, пока сойдет и так, — небрежно ответил он и губами потянулся к ее щеке.

— Эй, Данька! — вынудив их испуганно отпрянуть друг от друга, в распахнутые окна неожиданно впорхнул звонкий мальчишеский голос. — Ты дома? Там до тебя идут.

Данька повернулся к окну. За подоконник сначала ухватились загорелые до черноты ребячьи руки, а затем над ними показалась вихрастая голова вездесущего Рувка Сологуба.

— Что ты паникуешь на всю улицу? — сказал Данька. — Кто там до меня идет?

— Какие-то люди... тети. У них овцы...

— Какие тети, что за овцы? Что ты мелешь? Рувка, ты там на вальки встал, да? Вот обормот! Они же сырые еще, подавишь! — нарочито нахмурив брови, Данька слегка махнул щеткой.

Рассыпаясь веером, меловые брызги шлепнулись о стену, рябью легли на подоконник, испятнили Рувку. Мальчишка отшатнулся, запоздало юркнул вниз, но через секунду его голова вновь оказалась в окне.

— Что ты ляпаешься, дурной! — слезно крикнул он.

— А зачем в окно лезешь, вальки мне давишь? Через дверь входить тебя не учили? — посмеиваясь, сказал Данька и, как бы намереваясь вновь обмакнуть щетку, быстро нагнулся к ведру.

Рувка понял намек, голова его мгновенно исчезла. Отбежав от окна на безопасное расстояние, он, растирая по лицу и рубашке белые капли, обидчиво дисканил:

— Знал бы, что ты такой дурной, ни за что бы не сказал, что с тетями и твоя мама...

— Что! — метнулся Данька к окошку. — Эх, Рувка, Рувка! Ты уже такой большой, мужик, можно сказать, а ума ни вот на столечко! Сразу не мог сказать, что мама идет! А то несешь про каких-то тетей, овец...

— У них и вправду есть овцы! — настойчиво повторил Рувка.

— Ладно, разберемся... Ну вот, наконец-то заявились и мои! — он бегло оглядел кухню, сказал выглянувшей из горницы Дусе: — Знаешь что, ты пока это... передохни. Или брось совсем. А я побегу их встречать. Хорошо?

Ожидающий чего-то Рувка опять подал голос:

— А уже не надо. Они вон, уже сюда сворачивают.

Обтирая руки, то и дело взглядывая в окно, Данька суетливо заметался. Ведро с разведенным в нем мелом он отнес в один угол кухни, скамеечку из-под него — в другой. Он нагнулся было, чтобы убрать и пирамидку из ломаных кирпичей, с которой белил, но в распахнутую настежь дверь, радуясь и дивясь, с криком влетела Люська:

— Данечка, родненький! Ой, да какой ты большой стал!

Обхватив шею брата, быстро и невпопад целуя его в глаза и губы, Люська буквально повисла на нем. Так, с повисшей на нем сестренкой, Данька, взволнованно улыбаясь и спотыкаясь, шагнул навстречу Лие.

Целуя поседевшую голову матери, успокоенно прикишную к его груди, обнимая ее худенькие вздрагивающие плечи, он и сам часто и беспомощно моргал повлажневшими глазами.

А тем временем в распахнутую дверь, впереди рослых сестер Светлицких, которых Данька сразу узнал, как-то бочком, несмело вошла невысокая молодая женщина. Пересадив с одной руки на другую черноглазого мальчишку годиков двух, она, облизывая пересохшие губы и улыбаясь робкой, вежливо-стеснительной улыбкой, устало прислонилась к стене.

«Кто это?» — моментом охватив смуглое миловидное лицо женщины и всю ее небольшую ладную фигуру, глазами спросил Данька сестру, все еще не выпускавшую его руку. Но Лия, вымочив слезами рубашку сына, уже оторвалась от него и, счастливо сияя, стала суматошно подталкивать его к этой самой женщине.

— Иди, поздоровайся с Ганной! Ой, да он же ничего еще не знает! Это же Ганна, жена нашего Ильи! Ну, обнимитесь же!

«Жена Ильи? Откуда?.. Какая жена?.. Значит, Илюша жив?» — оторопело думал он.

А Лия нетерпеливо звенела радостью:

— Ну, что вы стоите, как чужие? Ганна, а ты что?

— Я сейчас... сейчас... — не в силах скинуть с себя оцепенение, еле вымолвила она.

Войдя в дом и увидев Даньку, Ганна с трудом удержала рванувшийся было крик. Ей показалось, что посреди кухни стоит Илья, до того они были похожи. Одинаковыми был у них высокий рост, черты овального лица, разрез глаз, голос. Даже в наклоне головы у них было что-то общее, характерное. Илья тоже, разговаривая, слегка клонил голову к правому плечу. Пораженная удивительным сходством братьев, она, чтобы устоять на ногах, и прислонилась к стене. И лишь немного уняв волнение, Ганна разглядела, что Данька тоньше и по-юношески угловатее Ильи, да, пожалуй, чуть пошире в плечах. И глаза у него не карие и слегка выпуклые, как у брата, а материны — большие, темносиние.

Вся зардевшись, смущенно опустив долу глаза, Ганна подошла к Даньке. Неловко чмокнув ее куда-то в щеку, он, смущенный и растерянный не меньше молодой женщины, поспешно взял у нее мальчишку, глазевшего на происходящее непонимающими округлившимися глазами, и, подняв его почти к потолку, спросил:

— Выходит, у меня объявился племянш? И как зовут этого молодца?

— Это — Ленечка! — уже не робко, а горделиво ответила Ганна.

— Ленька, значит? Хорошо! — раз за разом подбросив в руках мальчишку, радостно засмеялся Данька. — Ну, Дудинский-младший, здорово!

Когда улеглась счастливая суматошливость первых минут встречи, Лия, кивнув на молча улыбавшихся у двери сестер Светлицких, спросила Даньку:

— Ну, а их ты узнал?

— Сразу! Да и разве прошло так уж много времени, чтобы их не узнать?

Поздоровавшись с Евой и Симой, поглядывая то на них, то на Люську с Ганной, Данька вдруг вспомнил про Дусю. Прикусив губу, он, слегка покраснев, обернулся

к горнице и столкнулся взглядом с ее взглядом. Щекой прижимаясь к косяку, выглядывая как бы на кухню, Дуся понимающе опустила и быстро подняла веки. И тогда, чуть поспешнее, чем следовало бы, он сказал:

— Мама, это Дуся Эйдельман. Помнишь ее? Ева, ты тоже должна ее помнить. Знаешь, мама, если бы не она, я к вашему приезду ничего бы тут не успел сделать.

На кухне все, как по команде, повернулись к Дусе, внимательно взглянули на нее. Данька побоялся, что под этими пристальными взглядами Дуся как-то взволнуется, засмущается и этим невольно выдаст их отношения. Но, встав в дверях, та, ничуть не конфузясь, радужно улыбалась. И еще Данька ждал, что мать, как водится в подобных случаях, поблагодарит Дусю за помощь. Но Лия только холодно кивнула головой и отвернулась. И не понять было, то ли она поздоровалась с Дусей, то ли нехотя поблагодарила.

Дуся обиделась. Обычно живая, скорая на зазорное слово, она мгновенно как бы сменилась с лица — стояла растерянно и молчаливо, нервно покусывая побледневшие губы. Видно было, что она почувствовала себя если уж не оскорбленной, то лишней — наверняка. Выждав подходящий миг, она, сославшись на домашние дела, поспешно вышла из хаты.

На закате, загнав в уцелевшую клуню доставшиеся от казахского колхоза на долю матери и сестер Светлицких четыре овцы, Данька, запирая за ними дверь, подозрительно долго примащивал в железные скобы на косяках старую, из акации, перекладину. Кончив возиться, он, не оборачиваясь, вдруг спросил стоявшую около мать:

— Зачем ты обидела Дусю?

— О-о, вспомнил! — с какой-то бездумной легкостью отозвалась Лия. — И с чего ты взял, будто я ее обидела?

— А по-твоему, нет? Почему же ты с ней не поздоровалась, даже спасибо не сказала за помощь? Думаешь, она не сообразила? Ты же видала, она вышла из дома, как оплеванная. Нехорошо получилось!

— Подумаешь, какая обидчивая! — уже с явной примесью неприязни сказала Лия. — Ей, видите ли, руки не подали! А что она мне, родня? Если уж на то пошло, так я вообще не хочу ее знать! И зря ты позвал ее

в помощь. Мог бы и сам обойтись. А нет, так нас бы подождал.

— Ничего не понимаю! — изумился Данька. — Что она тебе сделала? За что ты ее сразу невзлюбила?

Отношение матери к Дусе и в самом деле было непонятно Даньке. Он подумал было, что мать, возможно, по каким-то ей одной заметным признакам с первой же минуты догадалась о его с Дусей связи и, не одобряя ее, сердится. Но тут же рассудил: «Ерунда, что она, провидица какая-то?»

— Лично мне эта Дуся ничего не сделала, — отвечая сыну, все так же жестко сказала Лия. — И слава богу, ничего сделать не сможет! Просто я не могу спокойно глядеть на людей, что остались жить в оккупации. Разве мало из них прислуживали немцам!

Данька слегка побледнел, что было первым признаком закипающей злости.

— Прости меня, мама, — сказал он твердым голосом. — Но сейчас ты говоришь ерунду! Верно, нашлись сволочи, служившие старостами и полициями. И в нашей колонии ими стали Фурман и Домиховский. Но при чем тут все люди? При чем Дуся? Если хочешь знать, так она сама ховалась от немцев и наших местных гадов аж в Христофоровке! Иначе расстреляли бы ее сынишку. Ты бы видела этого хлопчика — это же чистая копия Ефрема Эйдельмана!

— Не знаю, може, это и так, а може — нет. Но лично я таких людей знать не хочу! — упорствовала Лия.

— Мама, я тебя совершенно не узнаю! Нельзя жить с такими взглядами!

— Ладно, не учи меня! Я как-нибудь сама разберусь, кто из людей хороший, а кто плохой! — резко отрубил Лия.

Короткими грозами отшумел над Трехкутной июль, зеленоватыми сполохами ночных зарниц и пресным ароматом обмолоченных хлебов промелькнул август, пронизанный хрупкостью просветленных солнечной далью рассветов истаял ласковый сентябрь. Исчезли летние миражи, все дальше просматривался по-осеннему очерненный зябкой синью горизонт. Короче и умиротвореннее стали дни, прохладнее и глуше ночи, все чаще сопро-

вождаемые прощально-тоскливыми криками пролетающих птичьих стай. Пришел октябрь.

В первое воскресенье октября, словно бы прощаясь до будущего лета, над колонией неожиданно пробушевал скоротечный ливень. Поначалу ничто вроде бы не предвещало грозу. С утра, вызолотив верхушки изрядно уже оголившихся деревьев и гребни камышовых крыш, солнечные лучи по зябкому бисеру росы на стволах скользнули на землю и, не прельстившись мягким, напоенным яблочным ароматом ковром палой листвы, растеклись по улицам и подворьям Трехкутной. Наступивший день, как и все предыдущие, обещал быть безветренным, солнечным и теплым. Однако уже часам к девяти небосклон на юге начал быстро опоясываться лохматыми, дымчато-белесыми тучами. Тучи роились, набухали влагой и поднятой пылью и стремительно, прямо на глазах заволокли полнеба. Грозно нависшую мглу то и дело стали рассекать ветвистые молнии, все гуще и раскатистее погромыхивал гром. И вот уж впереди наступающей грозы побежал прохладный ветер. Куражась, он взвихривал на улицах столбы пыли и мусора, уносил все за околицу села и там, вырвавшись на степной простор, милосердно рвал на пашнях остатки поблекшей стерни, лохматил бока соломенных скирд, гнул травы, кружил, загоняя в балки, курай.

Уносясь все дальше в степь, ветер как бы на привязи волок за собою огрузневшую, грохочущую тучу. И вот змеистые молнии уже вспарывают небо над самой Трехкутной. Первые капли дождя, крупные и увесистые, поднимая фонтанчики пыли, забарабанили по земле. Где-то у Ногайской могилы о косогор с трескучим гулом ударил гром, и тотчас же, будто из тысяч опрокинутых бочек, на Ингул, на плавни, на дворы села хлынул сплошной поток воды.

Пробушевав с четверть часа, ливень перешел в частый спокойный дождик. Потом внезапно прекратился и он. Подсвечиваемые солнцем, уплыли на север тучи, в дивно заголубевшем небе цветисто заиграла радуга, и о пронесшейся грозе напоминали лишь раскисшая земля, бурливые ручьи, неистово устремившиеся к реке, да валявшиеся тут и там обломанные ветки деревьев.

Пробушевавшая гроза как бы умыкнула из села все звуки и гомон. После нее на улицах воцарилась необычная тишина. Казалось, что после изнуряющих тру-

дов люди наконец-то повсеместно предалися покою. На самом же деле все обстояло иначе.

В этот горестный день колонисты собрались почтить память своих односельчан, расстрелянных оккупантами, и советских воинов, погибших при освобождении Трехкутной.

Как только прошумела гроза, трехкутновцы и многие жители близлежащих хуторов и деревень густой толпой повалили за Нижнее кладбище, где незаживающим шрамом через весь косогор пролег размытый сверху дождями и вешними паводками, поросший бурьяном бывший противотанковый ров.

Могила колонистов находилась в самой середине этого рва. Земля над нею, когда-то примятая колесами грузовиков и ногами карателей, от времени просела и, как весь ров, тоже поросла редкостой сурепкой, пастушьей сумкой, сплюснутым пустоколосым овсюгом, исклеваным ржавчиной конским щавелем и вездесущей полынью.

Люди тесным кругом обступили место захоронения. Женщины горестно шушукались, вздыхали, всхлипывали; мужчины хмурились, чаще обычного смолчали самокрутки; детишки стояли непривычно тихо и лишь посапывали.

Когда на косогоре появились Фарбер, Требух и теperешний председатель сельсовета Волохов, колонисты стали рвать бурьян, уравнивать промоины, стараясь придать скорбному месту надлежащий вид. Люди говорили между собой о том, что весной надо будет посвятить на косогоре траву, высадить цветы и молодые деревца.

А к вечеру все пришли к развалинам клуба. Здесь была вырыта символическая братская могила. Трехкутновцы засыпали яму заранее привезенным песком и поставили в изголовье выросшего холма небольшой дощатый памятник с фанерной звездой...

Колонисты понуро разошлись по домам, унося в сердцах глубокую скорбь по своим близким, родным и знакомым.

А над косогором и опустевшим сквериком у бывшего клуба осталась висеть одна лишь рано взошедшая луна. То выныривая из-за небольших, гонимых ветром тушек, то прикрывая снова ими бледный свой лик, луна тоже как бы сопереживала людям, тоже скорбела и горюнилась.

Данька ушел одним из последних. Когда он не спеша подходил к своему дому, синие тени, поднимавшиеся от земли, уже сомкнулись с вечерним небом, стерли с него последнюю полоску багрянца. Но как бы в ответ на угасший отблеск вечерней зари, на кухне зажегся свет. На окошке не было еще занавески (не разжились пока), и Данька, войдя в палисадник, в желтом квадрате рамы увидел мать, возившуюся у плиты. После прошедшего утром ливня от земли все еще тянуло зябкой сыростью, на улице казалось как-то особенно неприветливо и одиноко, а в доме так маняще светил огонек лампы, что Данька, торопливее обычного докурил сигарку, поспешил в тепло и уют.

Домашние были все в сборе, но кроме них Данька, к своему удивлению, увидел и незнакомого мужчину. Поношенная шинелишка и выгоревшая на солнце пилотка вечернего гостя висели на гвозде у двери, а его старые костыли, попеременно с ухватами и кочергами, стояли прислоненными в углу у печи. Сам он, нещадно выбелив о стенку спину и слегка отставив раненую ногу с еще не снятым гипсом, сидел на табурете и беспрестанно курил. Клубы непривычно вонючего махорочного дыма колыхались у его худого носатого лица и над шишкастой, рано облысевшей головой.

— Данька, ну-ка, узнаешь ты его или нет? — спросила мать, кивнув на мужчину.

Данька отрицательно мотнул головой и неторопливо прошел к рукомоинику.

— Как же так! — явно раздосадованная равнодушием, с каким сын отнесся к гостю, возмутилась Лия. — Это же твой дядька, Иоська Кривошеев!

Тщательно вымыв руки, вместо мыла натирая их золой из пережженной пробки подсолнуховых стеблей, Данька, изредка взглядывая на фронтовика, лишь теперь сообразил, что это муж тетки Цили. Но он и в самом деле не помнил его, о чем, пожимая Иоське руку, к огорчению матери, прямодушно и сказал.

— Лия, чего ты к нему пристала? — оправдывая племянника, улыбаясь, сказал Кривошеев густым прокуранным басом. — Сколько ему было, когда мы с Цилей уехали на восток? Полгода или год? Аж целых полтора? Ува, как много! Ну так что же ты от него хочешь? Ясно, что он не помнит нас.

Поужинав, за разговорами незаметно засиделись до глубокой ночи, Кривошеев, покусывая губу и продолжая курить, скупно отвечал на расспросы хозяев. Щуря от табачного дыма глаза, он неохотно рассказывал о войне, о госпитале, где последнее время лежал. Но когда речь пошла о довоенной жизни на Дальнем Востоке, Кривошеев заметно оживился.

— Обычными словами разве все это передашь! — говорил он. — Это надо увидеть собственными глазами! Понимаешь, Лия, хоть там повсюду и торчит много сопок, по-здешнему горы, но это такой простор, такая вольница, что куда там здешней степи! У нас один Амур чего стоит! Я видел Лену, Енисей, другие сибирские реки, видел Волгу у Сталинграда — это большие реки, что зря говорить. Но наш Амур — это что-то особое! Даю голову на отсечение, что в мире нет больше таких рек! А какая у нас там рыба! Таймени, сазаны, толстолоб, кета!.. Для дальневосточника какой-то карась — это просто смехота. Да что говорить? Может, вы когда-нибудь побываете у нас, тогда сами во всем убедитесь.

Мог ли тогда подумать Данька, что этот осенний вечер и разговор с Кривошеевым в корне изменит жизнь близких и, стало быть, его жизнь тоже. Да, их семья переедет на Дальний Восток. Но это произойдет еще не скоро. А пока события шли своим чередом.

В тот год осень всюю завластвовала, начиная уже со второй половины октября. Каждодневно над Ингулом, над плавнями и Трехкутной висело непривычно низкое небо, сплошь затканное сизой дымкой. И с равными, будто по часам выверенными промежутками, накрапывал мелкий холодный дождь. Деревья уже стряхнули с себя желтовато-пожухлую листву, почернели, и все больше клонились к сырой земле выхолощенные кисточки полыни. Темнели непросыхающие крыши хат и построек, и, налетая из плавней, гулял по подворьям, скребся в окна, гудел и завывал под стрехами влажный, промозглый ветер.

В добрые былые времена к этой поре уже завершались все полевые работы и начинались шумные празднества — освященные многолетними обычаями и традициями свадьбы. Для Трехкутной октябрь сорок чет-

вертого, слякотный, зябкий и полуголодный, с чадающими каганцами, как и в годы оккупации, оставался глухим. До веселья было еще далеко. Селу было пока не до свадеб.

В хате Дудинских тепло, пахнет мятой, полыном и свежими хмелинами. Грудью наваясь на загнеток, Лия длинной кочергой пошуровала в печи. Сгрудив в кучку золотящиеся угли, она поставила в угол кочергу и взяла широкую деревянную лопату на слегка укороченном черенке.

— Люська! — вытирая фартуком потное лицо, позвала она дочку. — Где ты? Ну-ка, сбегай мне за кураем!

Из горницы вышла Люська. Накрыв голову старой фуфайкой, девочка выскочила во двор и быстро вернулась, принеся небольшую охапку сухого курая. Кинув его к ногам матери, она поклацала зубами, зябко поежилась:

— Бр-р, на улице так холодно!

— Принесла, и все? — достав из печи нагретую сковороду, Лия повернулась к ней. — А ну, быстренько сполосни руки и скатай пару подпалыков! Шевелись, шевелись! Вот-вот подойдут наши, а их еще нечем покормить.

— Сейчас. Я только колючки вытащу. Этот курай так колетса...

Ополоснув руки, Люська прошла в закуток, к стоявшей на скамье небольшой деревянной лохани, и, завернув край чистой мешковины, ухватила из нее шмат расползающегося пузырчатого теста. Шмякнув тесто на притрушенный мукой угол стола, она разделила его на два куска и, раскатав, один из них подала матери.

Положив лепешку на сковороду, Лия лопатой сунула ее в печь. Затем она подбросила в цело немного курая и подгрела к нему несколько угольков. Курай почти мгновенно воспламенился, выветив изнутри часть свода и раскаленный под. Через несколько минут, достав назад сковороду, она сняла с нее пышную подрумяненную лепешку и, перекинув ее с ладони на ладонь, передала Люське.

— Давай второй подпалык, — сказала Лия дочке и, когда та, нетерпеливо уцепив кусочек лепешки, чуть замешкалась, прикрикнула на нее: — Не трогай,

все хотят есть! И поворачивайся быстрее, а то печь остывает!

— Вечно ты, мама, ворчишь! — недовольно огрызнулась Люська.

— Уже и ворчу, значит. Ну-ну. Я ворчу потому, что хочу тебя чему-то научить. Но толку, видно, нет... Ладно, иди уж, позови Ганну.

— Будете хлебы катать? Я тоже хочу! Давай, лучше я тебе помогу.

— Иди уж, помощница! От твоей помощи только сердце надсадишь.

Но Ганна сама вышла на кухню. Видно, она вздремнула — на румяной смуглой щеке ее явственно отпечатались рубчатый след смятой наволочки.

— Погода такая, что сон как-то незаметно сморил, — прикрывая ладонью зевот, сказала она. — Что, уже пора?

— Да. Неси, пожалуйста, лохань.

Раструсив по столешнице две небольшие, экономные горстки муки, Ганна, слегка нутужась, поднесла лохань к столу и, наклонив, вывалила из нее все тесто. Тем временем, вынув из печи вторую лепешку и быстро вымыв руки, к ней присоединилась Лия. Тихо переговариваясь, они расторопно раскатали тесто и разложили его по формам, предварительно слегка смазанным постным маслом. Глянув в печь, Лия снова взялась за лопату.

— Пора сажать, дочка, — сказала она. — Давай, подноси.

Быстро и ловко рассадив по поду формы, Лия закрыла заслонкой печь и, привстав на носки, опустила выюшку в трубу.

— Все, — промолвила она и устало опустилась на табурет. Вытирая низом фартука лицо, она добавила с горькой усмешкой: — Уморила. Видно, отвыкла хлеб печь.

Она вдруг закрыла фартуком лицо, но, чувствуя на себе взгляд Ганны, поднялась, вытерла навернувшиеся слезы.

— Где же все-таки наши хлопцы? — со вздохом произнесла она. — Что-то долго их нет.

Однако вскоре под окнами рассыпался короткий смех, в сенях протопали скорые шаги, и, по-мальчишески резвясь, толкая один другого, на кухню ввалились мокрые Данька и Фимка. Из горницы вышли тоже давно уже проголодавшиеся Ева, Сима и Люська с Лень-

кой на закорках. На кухне сразу стало тесно и шумно.

— Ух, как у вас тут тепло! И пахнет вкусно! — отряхивая с кепки капли дождя и потягивая носом воздух, заулыбался Данька. — Прямо слюнки текут!

— Хорошо проголодались, а? Ну, раздевайтесь быстрее, сейчас будем обедать, — гремя мисками и ложками, засуетилась Лия. От стола взглядывая на сына, она спросила: — Ну, что там у вас слышно?

— Все по-старому. Через два часа сбор, и трогаемся. Требух выделил подводу, так что до райвоенкомата наши шмутки повезет Сологуб. Вот и все новости.

Из сказанного до Лии дошло только то, что через два часа сын уйдет...

— Уже? Так скоро? — вроде бы спокойно переспросила она.

И все же ей пришлось опереться о стол, чтобы удержаться на ногах. Лицо ее стало заметно бледнеть, лоб покрылся мелкими капельками холодного пота.

— Ну что ты, мама! Ей-богу, тебе хоть ничего не говори! — стянув с себя телогрейку и вешая ее на гвоздь у двери, досадливо поморщился Данька. — Ну что ты из-за всего расстраиваешься? Для тебя новость, что я уйду в армию? Пора было уж привыкнуть.

— Я привыкла... Разве у меня есть иной выбор? — вытирая лоб, через силу улыбнулась Лия. — Ну, садись за стол. Фима, а ты что стоишь гостем? Садись. Остатний раз хоть дома поедите...

Данька снова метнул на мать недовольный взгляд, но промолчал. А у Лии не переставали дрожать губы. Вот он сидит за столом, ее младшенький, с удовольствием уплетает горячий постный борщ, ест подрумяненную картошку фальшивого жаркого, весело чокаясь со всеми, пьет маленькими глотками самогон, смешит то Ганну с Люськой, то подмаргивает Симе, то смущает Еву и, наверное, совсем не догадывается, что в то же самое время ей, матери, кусок не лезет в горло. Нет уже Наума, нет Илюши... Из дому уходит Данька, и один только бог знает, какая судьба уготована ему... А тут два коротких часа... Господи, будь во веки веков проклята война!.. Только два часа. Ох, как по-разному измеряются подчас одни и те же минуты у матери и у ее повзрослевших детей...

Вскоре, в окружении родственников, к слегка подремонтной конторе колхоза потянулись призывники. Мужчин среди провожающих все еще было мало.

Изредка мелькнет засаленная, потерханная от времени кепка какого-нибудь пожилого колхозника или солдатская шапка уволенного из армии по тяжелому ранению фронтовика и тут же затеряется в скопище женских платков и полусалтиков.

Невеселы лица провожающих матерей, сестер, невест, друзей. Хмуры, подернуты заботой глаза Фарбера, Требуха и Волохова. Шутка ли — из колонии убывает почти два десятка парней...

Сопровождаемый несколькими призывниками, к группе девушек и молодых женщин подошел Михайла Капюшенко, недавно прибывший из госпиталя. С первых дней войны Михайла ходил на тральщике по Баренцеву морю и в студёных водах его вместе с пролитой горячей кровью оставил и свой веселый карий глаз. Вернувшись в село, Михайла иной раз под двухрядку русского лада пел о боях и людском горе, о моряках и матерях, напрасно ждущих своих героически погибших сыновей. Он знал и много веселых песен, но пел их редко, если кто-нибудь уж очень его попросит.

По случаю проводов призывников Михайла был изрядно под хмельком, и из-под его сильных гибких пальцев, неуловимо бегавших по перламутровым пуговкам гармонки, срывались теперь лишь сумбурные обрывки каких-то старых, уже позабытых маршей. Но вот, склонив к плечу лобастую голову, искоса взглядывая на девчат, подмигивая им уцелевшим глазом, он бодро командовал:

— Не грустить! Что нам, впервой провожать? А ну-ка, держать хвост морковкой!

Михайла вдруг растянул мех и, улыбаясь, сыпанул чистым звучным голосом:

Эх, да не стони, моя гармошка,
Не заставишь нас страдать!
Эх, да мы, девчоночки, уходим,
Будете ли вы нас ждать?

Пропев, Михайла шутливо раскланялся, помахал перед собой сдернутой с головы мичманкой и отступил на шаг, как бы приглашая девушек откликнуться частушкой. Однако те подталкивали одна другую, смущенно мялись, перешептывались. Но вот кому-то из них удалось вытолкнуть в сам по себе образовавшийся круг Верку Волохову, славившуюся и звонким голосом, и неистощимым запасом частушек. Зардевшись, как маков цвет, Верка попыталась было юркнуть из круга, но ее

не выпускали, настойчиво упрашивали спеть, и она уступила. Гордо вскинув голову, сверкнув черно-синими глазами, она подошла к Михайле, взяла его под руку и запела:

Ох, провожая вас, мы просим
Крепко с фрицем воевать!
А за нас вы не волнуйтесь,
Мы умеем верно ждать!

Она многозначительно взглянула на ребят-призывников и, выпустив руку Михайлы, отошла к Дусе Эйдельман.

— Ну и девка, язви ее! На ходу сочинила, а в точку! Молодчага! — воскликнул Михайла и от избытка чувств легонько ткнул кулаком в бок стоявшего с разинутым ртом увальня Семку Пищика. — Слыхал, салага? Вот это по-нашему, по-флотски!

— Ответ, конечно, добрый, но слишком уж обидный, — пробасил, протискиваясь в круг, подошедший от конторы Николай Демиденко.

Высокий, крутогрудый и не по годам возмужалый парень, он ласково взял за плечи Верку и повернул к себе.

— Ну а мне что-нибудь споешь? — заглядывая девушке в глаза, необычайно мягко спросил он.

Верка снова густо покраснела. Выгибая голову, стыдливо отстраняясь от Николая, она пугливо зыркнула на крыльцо конторы, где, высаясь над Фарбером и Требухом, стоял ее отец.

— А, нехай смотрит, — продолжая цепко держать ее, отмахнулся тот. — Это что, новость для него?

— Все одно пусти! — глядя на парня влюбленными глазами, она руками все же упруго упиралась ему в грудь.

Тогда Николай подмигнул девушке и спросил частушкой:

Ты неплохо тут пропела,
А теперь скажи лишь мне:
Если долго служить буду,
Не забудешь по весне?

Уже не смущаясь ни отца, ни стоящих вокруг парней и девчат, Верка сама положила руки на плечи Николаю и, глядя на него по-прежнему преданными, горячо блестящими глазами, ответила тихо, только ему одному:

Без тебя весны не будет,
Вот о чем хочу сказать.
Знай, мой любимый, если надо,
Буду тридцать весен ждать!

— Везет же некоторым! — притворно-завистливо воскликнул Михайла Капюшенко и снова растянул было мехи гармоники.

Но, перебив ее переливчатую трель, в это время раздался зычный начальственный бас Волохова:

— Эй, вы! Молодежь! Кончай художественную самодетельность!

— Есть кончать, товарищ капитан-лейтенант! — ответно гаркнул Михайла и, пьяно качнувшись, круто обернулся, замер, прижав к бушлату жалобно пискнувшую двухрядку.

Волохов в недалеком прошлом действительно был морским офицером. Скупно улыбнувшись Михайле из-под кустистых смоляных бровей, он посмотрел на большие карманные часы, затем строгим взглядом окинул толпившихся вокруг Капюшенко ребят.

— Призывники, а ну, подойдите все сюда и разберитесь в два ряда! Уже время.

— Ну, влипли! Сейчас он заведет антимию на целый час! — следом за Данькой двигая к конторе, бубнил ему в спину Фимка Геллер, намекая на слабость председателя сельсовета всласть потолковать по любому поводу и даже без него.

Толкаясь и посмеиваясь, ребята кое-как встали у крыльца двумя ломаными шеренгами.

Густо откашлявшись и взволнованно дергая пальцами пуговицы брезентовой куртки, натянутой поверх телогрейки, Волохов, шагнув на край крыльца, заговорил:

— Вот поглядел я на вас, хлопцы, и подумал: это хорошо, что вы веселы и даже поете частушки вместе с девчатами. О чем говорит этот факт? А говорит он о том, что вы знаете, в какое великое время живете. А время это такое, дорогие мои призывники, что уже не за горами наша победа над заклятым врагом...

— Ну, оседлал председатель любимого конька! — кривя губы, снова саркастически начал было ворчать Фимка, но на него дружно зашикали, и он умолк.

Рукою энергично рассекая воздух, Волохов еще долго распространялся о великой значимости текущего момента и, наконец, закончил:

— Служите отлично! Ну, и ясное дело, мы вас будем ждать и надеяться, что все вы, живые, здоровые и такие же вот бодрые, вернетесь домой! Счастливой дороги вам, хлопцы!

Потом, от имени учеников школы, сбивающимся, смущенным голосом напутствовала призывников Люська Дудинская. За ней какая-то неведомая сила вытолкнула на крыльцо конторы Фимку Геллера. Сдернув со своей буйной рыжей шевелюры кепку, немилосердно терзая ее, он обвел взглядом сгрудившихся вокруг односельчан и тоже взволнованным, непривычным к публичным выступлениям голосом сказал:

— Спасибо вам, Илларион Корнеевич, за добрые слова! И тебе, Люська, мы благодарны! Что же касается моих товарищей и меня лично, то заверяю всех: вам не придется краснеть за нас! Ну а если мы еще и на войну попадем, тогда, не знаю кто как, а я с фашистами расквитаться!.. За все спрошу...

Зазвенев на высокой ноте, голос Фимки оборвался, и он, махнув рукой, торопливо сбежал с крыльца.

— Ну, как говорится, с богом! — повернув круглую голову, Волохов через всю толпу крикнул Сологубу, сгорбленно сидевшему на пароконной телеге: — Яков, трогай!

Призывники тотчас же обступили подводу, побросали в нее свои сумки со скудным харчем, и мокрый, продрогший Сологуб, причмокнув посиневшими толстыми губами, тронул понуро стоявших лошадей. Обходя крытые рябью стылые лужи, за телегой медленно двинулись колонисты. Дождик, накрапывающий с самого утра, сыпал гуще. Не ослабевая, из плавней все поддувал сырой, промозглый ветер. Было слякотно, зябко, и почти сразу же за околицей села люди стали прощаться.

По очереди перецеловав Люську, Ганну, Ленку и сестер Светлицких, Данька, поддерживая мать, неторопливо пошел за вихляющей по грязи телегой. Пройдя несколько десятков шагов, он остановился, огляделся по сторонам и вдруг увидел Дусю. Она ступала мелкими шажками по другую сторону шляха и неотступно, ждуще глядела на него. У Даньки вмиг пересохла губы, сильно заколотилось сердце. Он повернул к ней.

С просиявшим от радости лицом Дуся шагнула ему навстречу. Счастливыми глазами улыбаясь Даньке, она прижалась к нему, словно бы не дыша, постояла так долгую минуту. Затем, жарко поцеловав его, она, ото-

рвавшись, что-то прошептала припухлыми губами, повернулась и, ни разу не оглянувшись, пошла назад в колонию.

На самой верхушке косогора Данька с матерью остановились. Шершавой холодной рукой глядя лицо сына, Лия что-то говорила. Он слушал и не слышал ее, вспоминая, как три с лишним года назад они на этом же самом месте прощались с отцом. Тот далекий уж теперь июньский день вдруг всплыл в его сознании до того ярко, что Даньке даже почудилось, будто стоит ему лишь чуть обернуться, и он увидит отца. Он и в самом деле повернул голову, но под изволок спускалась лишь пароконка с покачивающимся, нахохлившимся в ней Сологубом, а за нею, понемногу сбираясь в кучу, брели ребята.

— Мама, ну мне пора, — вздохнув, тихо сказал Данька.

— Иди... и береги себя, сынок!

Данька поцеловал заплаканные глаза матери, поднес к своему лицу ее руки и, как в детстве, ласково потерся о них щекой.

— Ну, все, до свидания! Берегите себя, Леньку!.. Жди письма...

Спустившись немного по склону, Данька оглянулся: чуть наклоня голову к плечу, мать стояла недвижно, скорбно прижав руки к груди...

Конец первой книги